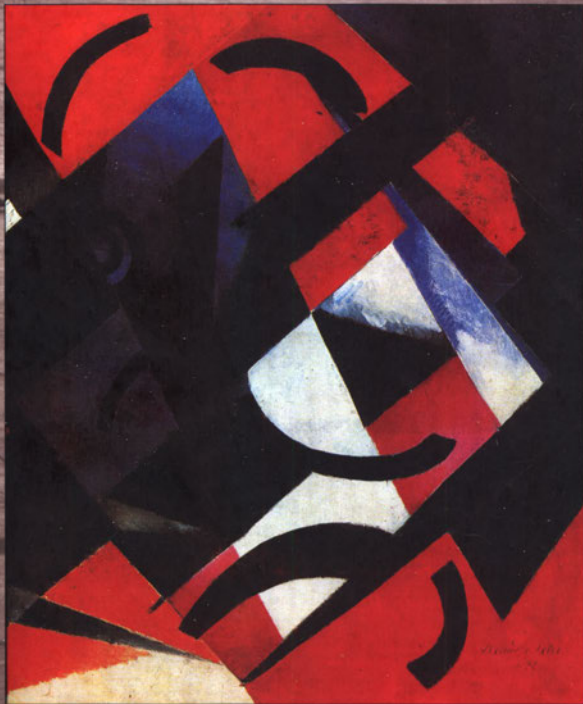


Светлана Оболенская ДЕТИ БОЛЬШОГО ТЕРРОРА

Светлана Оболенская

Светлана Оболенская

ДЕТИ БОЛЬШОГО ТЕРРОРА





«...Там теперь жил Бухарин с молодой женой. Он любил животных, и в доме у него всегда жили какие-нибудь зверюшки.

Итак: Крестинского расстреляли, моего отца и Диму расстреляли, Орджоникидзе застрелился, Андрей Свердлов закончил свою позорную жизнь спокойно, погубив десятки друзей. И – Сталин, наш сосед, о котором мне нечего сказать».



*Дед
Валериан Егорович Оболенский*



*Бабушка
Надежда Павловна Оболенская (Петриченко)*



*Дед Михаил Георгиевич Смирнов
рис. его жены Е.К. Смирновой*



*Бабушка
Екатерина Нарциссовна
Смирнова (Жураковская).
Автопортрет*



*Екатерина Нарциссо
Смирнова (Жураковская). 193*



*Отец
Валериан Оболенский
(впоследствии Осинский),
гимназист. Москва, 1902 г.*



*Валериан Валерианович
Осинский (Оболенский)*



*Родители незадолго до свадьбы.
Кунцево, 1912 г.*

Мама
Екатерина Михайловна
Осинская-Оболенская (Смирнова). 1913 г.



Мама с первым сыном Вадимом.
1922 г.



Дети Осинских на прогулке в Кремле
у Царь-колокола – Света, Валя и Рем
Смирнов (в центре). 1930 г.



Света, Валя и Рем. 1931 г.



Мама с внучкой Леной. Западная Двина, 1954 г.



Брат Валя
Валериан Валерианович Осинский –
студент ЛГУ. Ленинград, 1940 г.



Альберт Захарович Манфред

Светлана Оболенская

ДЕТИ БОЛЬШОГО ТЕРРОРА

Воспоминания

Москва
АГРАФ
2013

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
021

Оформление *Л. Митич*

021 **Светлана Оболенская. Дети Большого Террора. — М.: Аграф, 2013. — 240 с. — ISBN 978-5-7784-0433-5**

Автор книги — Светлана Валериановна Оболенская — историк по образованию, дочь видного партийного и государственного деятеля Валериана Валериановича Оболенского (Осинского), репрессированного в 1937 году и расстрелянного в 1938-ом.

В книге два раздела — Воспоминания. Рассказы и эссе, — но все тексты по сути тесно связаны между собой. Это горестная история сначала девочки, потом девушки и наконец зрелой женщины, оставшейся в детстве без родителей (мать Светланы Оболенской тоже арестовали, но она осталась жива и через много лет вышла на волю). В детстве у Светланы Оболенской комфортная и сверхблагополучная жизнь в Кремле, а после ареста родителей детский дом, скитания, невозможность поступить в аспирантуру, работа в глуши, отчуждение от матери, без которой она выросла. В общем, это одна из множества подобных историй, знаменовавших Сталинскую эпоху. Но написана она литературно одаренным человеком и читается на одном дыхании, с сердечным трепетом.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-7784-0433-5

©Оболенская С.В., 2012
©Издательство «Аграф», 2013

От автора

Я — историк, историк по образованию и по занятиям, которым отдала больше пятидесяти лет: четырнадцать лет была учительницей истории в школе, а затем долгие годы занималась научными исследованиями в области истории Германии и России. Но когда меня спрашивают, кем хотела бы я стать, если бы жизнь повторилась, я отвечаю — писателем, настоящим писателем.

В этой жизни Бог не дал мне таланта. В детстве я сочиняла устные рассказы, которыми мучила братьев. В подростковом возрасте пробовала писать стихи, но очень быстро поняла, что делать этого не стоит. Потом иногда... но это были никому не нужные и не интересные опыты.

А в шестьдесят лет я решила написать воспоминания о моей семье, погибшей в годы сталинского кровавого режима. Это было связано с не покидавшим меня ощущением вины перед близкими — они погибли, а я жива. Мне хотелось рассказать и о моей собственной судьбе, и о судьбах других детей «врагов народа», о том, как были исковерканы беспощадной машиной сталинского террора наши жизни.

Воспоминания стали для меня словно выполнением долга. Однако, поставив последнюю точку, я почувствовала, что, с одной стороны, в памяти сохранилось еще многое, о чем стоило бы рассказать, а с другой — сладкая работа сочинительства продолжает притягивать меня. И я стала писать рассказы и странные небольшие тексты, которые я не могу назвать иначе, как не любимым мною термином «эссе», — размышления о жизни и смерти, об отношениях между людьми, миниатюры о преследующих меня снах. Как это чаще всего бывает, мои рас-

сказы основаны на опыте собственной жизни, но они в ткань воспоминаний уже не укладывались. И теперь я решаюсь поместить их рядом с воспоминаниями.

Эта книжка не увидела бы света, если бы не заинтересованная, самоотверженная помощь Елены Михайловны Мухиной. Ее инициативность, уверенность в успехе были для меня постоянной моральной поддержкой. Ей принадлежит идея относительно состава книжки и ее построения. Ею проделана большая работа по литературному и техническому редактированию текста. Я приношу ей глубокую, сердечную благодарность.

Июль 2012

Из воспоминаний

Прошлое — это колодец глубины несказанной. Не вернее ли будет назвать его просто бездонным? Так вернее будет даже в том случае, если речь идет о прошлом всего только человека, о том загадочном бытии, в которое входит наша собственная, полная естественных радостей и сверхъестественных горестей жизнь, о бытии, тайна которого, являясь, что вполне понятно, альфой и омегой всех наших речей и вопросов, делает нашу речь такой пылкой и сбивчивой, а наши вопросы такими настойчивыми.

Томас Манн

Прошлое имеет над душой особенную силу и притом все в прошлом обладает этой силой, даже несомненные страдания.

В.Г. Короленко

Детство

Мои первые детские впечатления. Совсем маленькой девочкой, лет трех-пяти, на подмосковной даче в Гильтищеве, я стою в залитой солнцем лощине. Впечатление роскоши природы: зелень, солнце, птицы поют, в воздухе разлита просто сладость какая-то. Но мне страшно: брата Валью укусила собака, льется кровь. Больше ничего. Другое: там же, на берегу маленькой заросшей речки, я упустила в воду голубенькую лейку; медленно наполнившись водой, она утонула у меня на глазах. Еще: там же, в Гильтищеве, мы гуляем в большом цветущем яблоневом

саду. Тогда же: учительница немецкого языка Беатриса Германовна по вечерам (заходит солнце) зовет нас: Kinder, Schuhe putzen! И мы, гуськом — братья Валя, Рем (они старше меня на 2 и 3 года) и я — идем чистить обувь. Только какая же летом обувь? Летом мы ходили босиком. Лет до шести-семи летом мне стригли волосы под машинку, наголо.

Там же, на даче, в нас усиленно впахивали Диккенса, а также дочка маминой подруги Вера Большакова читала нам вслух книжку «Маленький Диккенс». Рем сочинил стихи:

Маленький Диккенс-балдикинс!
Балда ты иванович рикинс.
Балда ты балдою родился
Балдою ты с неба свалился.

Очень уж надоела нам эта книжка.

На чердаке, сухом, желтом, жарком, пропахшем чем-то сухим и вкусным, куда мы взбирались по скрипучим ступеням крутой желтой винтовой лестницы с перилами, мы рассматривали необычайно, казалось, красивые маленькие картинки гармошкой, привезенные отцом из Америки.

Еще помню: глубокая ночь, я просыпаюсь; в дверях что-то происходит, няня Анна Петровна выходит с керосиновой лампой. Я вскакиваю, но она меня успокаивает и велит ложиться, говорит, что это приехал Валя. А Вале всего шесть лет, и он один добрался сюда из нашей московской квартиры, из Кремля (мы жили тогда в Кремле, о чем ниже), Гильтищево же — на станции Первомайская, теперь Планерная Ленинградской железной дороги. Играя, он по неосторожности поджег занавеску на окне. Мама, вызывая пожарных, сказала ему: «Уйди, не мешай». И он ушел, с кем-то прошмыгнул мимо часовых в Троицких воротах, долго блуждал по Москве, нашел Ленинградский вокзал и один отправился на дачу. Ночью от станции шел минут тридцать! В Москве его уже искали с милицией.

Ни матери, ни отца в этих воспоминаниях еще нет. Первое мое воспоминание о маме такое. Я больна и в настоящем бреду. Мне чудится, что со всех сторон ко мне ползут змеи, тянутся, свиваются в клубки. Мама держит меня на коленях, пытается успокоить. Потом она несет меня через огромный коридор, на стенах канделябры, и я с ужасом вижу, что и на этих канделябрах — змеи. Стоит вспомнить об этой квартире, где на стенах коридора были канделябры со свечами (в наше время, понятно, это были уже электрические светильники в виде свечей).

В Кремле

Я родилась в 1925 году, когда наша семья — отец, мать, старшие братья Вадим (Дима) и Валерьян (Валя) — жила в Кремле. Через два года после моего рождения семья еще выросла: появился четырехлетний Рем, мой двоюродный брат, мамин племянник. Его родителей арестовали в 1927 году, и с тех пор он жил с нами. Папа не усыновил его, говорил: «Не буду усыновлять: Володька вернется». Володька, В.М Смирнов — отец Рема, брат моей мамы. Он не вернулся, его расстреляли в 37-м, а мать Рема умерла в тюрьме гораздо раньше. Рем вырос вместе с нами и, конечно, стал родным.

Первая наша кремлевская квартира была расположена в так называемой Детской половине Большого Кремлевского дворца. Сегодня, когда посетители Кремля входят через Боровицкие ворота, слева от них — Оружейная палата, дальше влево — высокая решетка, за которую не пускают, в глубине, за этой решеткой, между Дворцом и тем зданием, где Оружейная палата, — надземный переход, где когда-то был зимний сад, а в глубине направо — высокое крыльцо и вход во дворец — не парадный вход, конечно. Тут и была Детская половина. 7 ноября и 1 мая по утрам на небольшую площадь перед нашими окнами выводили парадно украшенную лошадь Ворошилова, на которой он вскоре ехал принимать парад на Красной площади. Маршал жил напротив, в том здании, где Оружейная палата.

В наше время в Детской половине располагалась, так сказать, роскошная коммуналка. Коридор с канделябрами был длинный и широкий, перегороженный высокой белой дверью, всегда настежь открытой. На двери, как и на всех дверях, — большие сверкающие медные ручки. По этому коридору можно было на велосипедах кататься.

В глубине огромного коридора — квартира Н.Н. Крестинского, в то время — зам. наркома иностранных дел. В высшей степени достойным человеком был наш сосед Николай Николаевич Крестинский! Через много лет, весной 1938 года, он будет проходить по тому же бухаринскому процессу, что и наш отец (только Крестинский был среди подсудимых, а отец — одним из немногих свидетелей, что, впрочем, нисколько ему не помогло). На этом процессе Крестинский был единственным, кто отказался признать себя виновным. 2 марта 1938 года на

первом заседании этого так называемого суда произошло невиданное.

Из протокола суда: «После оглашения обвинительного заключения председательствующий тов. Ульрих опрашивает каждого в отдельности подсудимого, признает ли он себя виновным в предъявленных ему обвинениях.

Председательствующий В.В.Ульрих: Подсудимый Крестинский, вы признаете себя виновным в предъявленных вам обвинениях?

Крестинский: Я не признаю себя виновным. Я не троцкист. Я никогда не был участником «правотроцкистского блока», о существовании которого я не знал. Я не совершал также ни одного из тех преступлений, которые вменяются лично мне, в частности, я не признаю себя виновным в связях с германской разведкой». Это был звездный час Николая Николаевича! Никто из обвиняемых не решился на такой поступок.

На вечернем заседании следующего, второго дня процесса, 3 марта 1938 года Крестинский сказал: «Я целиком и полностью признаю себя виновным по всем обвинениям, предъявленным лично мне...» Мы никогда не узнаем, кто и как заставил Крестинского сделать это заявление. Но оно не зачеркивает мужественный поступок предыдущего дня.

Рядом с Крестинскими — квартира Орджоникидзе. Здесь живет дядя Серго с женой Зинаидой Гавриловной и дочерью Этери, одноклассницей нашего Вали. Этери, Тера — не родная дочка Орджоникидзе. Говорили, что он подобрал Этери где-то на дорогах гражданской войны.

Знаю, все знаю об Орджоникидзе, о его делах на Кавказе. Но не могу вспомнить о нем иначе, как с симпатией. Большое, мягкое лицо с прекрасными черными глазами. Он сажал меня на колени; пряча конфету за спиной, ласково спрашивал: «А что у мэня есть?», учил каким-то песенкам и стишкам: «Огуречик, огуречик, не ходи на тот конечик, там бабки живут, тебе ножки оторвут...»

Помню встречу с дядей Серго в кремлевской парикмахерской. Главными ее посетителями были молодые ребята — кремлевские курсанты, слушатели высшего военного командного училища. Их присылали стричься целыми подразделениями. Однажды я пришла в парикмахерскую. Ожидали своей очереди человек десять молодых людей в военной форме. Входит Орджоникидзе. Все курсанты встают. Он садится в угол и раскрывает газету. Минута молчания, из зала выходит парикмахер:

— Григорий Константинович, пожалуйста! (Серго была его партийная кличка.) Орджоникидзе не двигается, закрывшись газетой.

— Григорий Константинович, прошу вас!

Орджоникидзе с хрустом сминает газету, гневно:

— Нэ видишь — очэредь?

Парикмахер удаляется, Орджоникидзе ждет своей очереди, курсанты потихоньку уходят.

В 1935 или 1936 году мы с Валеи и Ремом в день рождения Этери были в гостях у нее на даче. Сидели за столом, хозяина дома не было. Он появился только к концу вечера, усталый, хмурым, грустный. Когда стали вставать из-за стола, я почему-то оказалась одна на террасе, куда вышел и он, а за ним несколько агентов, как мы называли лиц известной профессии. Вдруг он как-то выпрямился и крикнул с сильным кавказским акцентом: «Оставьте меня в покое!» — и те моментально сгнули.

В 1937 году Орджоникидзе внезапно умер. Официальное сообщение гласило: сердечный приступ. Но тогда, я помню, у нас дома говорили, что он застрелился. До сих пор не выяснена точно причина его смерти — то ли покончил с собой, то ли его убили. Если покончил с собой — что ж, может быть, помимо осознания ужаса того, что творилось в том 37-м году, он вспомнил свои дела на Кавказе в годы Гражданской войны?

Напротив Орджоникидзе — квартира Свердловых. Клавдия Тимофеевна, вдова Я.М. Свердлова, молчаливая, равнодушная, сухая, бесцветная, не запомнившаяся ничем, и ее взрослые дети — дочь и сын. Андрея Свердлова, Адьку, мы, дети, ужасно не любили, всячески дразнили и допекали — стучали в дверь и убегали, кричали под дверью какие-то дразнилки. Он был близким другом и однокашником нашего Димы, оба слушатели Академии механизации и моторизации РККА — так называлась тогда нынешняя бронетанковая академия.

Андрей Свердлов — предатель, гнусная тварь, завербованный НКВД, закладывавший, допрашивавший и губивший своих друзей, всех, кого прикажут. В качестве следователя НКВД он вел дела Ариадны Эфрон, Анны Лариной-Бухариной, Елизаветы Драбкиной. Хана Ганецкая, дочь известного революционера Я.Ганецкого, из той же компании, что и Андрей с нашим Димой, была арестована. Когда ее ввели в кабинет следователя и она увидела Андрея, с криком радости бросилась к нему, уверенная, что сейчас-то все и разъяснится — они с Андреем хорошо

знали друг друга. А тот отбросил ее с криком: «троцкистская сволочь!»

По-видимому, он был завербован Лубянкой еще в 1935 году, когда его и нашего Диму арестовали по доносу одного из участников вечеринки, где звучали крамольные речи, и кто-то сказал: «Кобу надо убрать!»

Трудные времена настали для Андрея, когда после смерти Сталина и потом, особенно после 1956 года, стали возвращаться реабилитированные, и его роль в годы репрессий была раскрыта. Лев Разгон рассказывал мне: Андрей пришел на юбилей бронетанковой академии. Никто не подал ему руки. Никто не хотел сидеть рядом с ним за столом.

В конце концов друзья чекисты пристроили его в Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Последнее, что я о нем знаю, — он был одним из инициаторов и организаторов вылившегося в травлю автора обсуждения в ИМЛ книги А.М. Некрича «1941. 22 июня», в которой впервые историк выступил с правдивым объяснением обстоятельств начала Отечественной войны 1941—45 годов.

В 1969 году Андрей Свердлов умер, и на его могиле на Новодевичьем кладбище — высокий торжественный памятник! Ему — памятник, а его другу, нашему Диме, — яма близ совхоза «Коммунарка»...

А еще нашим соседом некоторое время был товарищ Сталин! Это уже не коммуналка была. В связи с реконструкцией Большого Кремлевского дворца всех жильцов описанной коммуналки оттуда переселили, наша семья получила квартиру в Потешном дворце (между прочим, во второй половине XIX века там была квартира дворцового врача А.Берса, отца супруги Л.Н. Толстого, Софьи Андреевны Берс). Туда же перебрались Орджоникидзе и Свердловы. В нашу квартиру входили с улицы, которая, кажется, называлась Коммунистической. А почти рядом с нашей дверью красовалось высокое, украшенное лепниной крыльцо — здесь был вход в квартиру Сталина и всегда стоял часовой. Недавно видела по телевизору фотографию: Сталин открывает дверь своей квартиры, на снимке видна и не очень заметная дверь рядом со сталинским крыльцом — это вход к нам.

Каким-то не понятным мне образом из нашей квартиры (кажется, из кухни) можно было пройти в квартиру Сталина. Никаких контактов у нас не было. Но однажды мой брат Рем встретил

на улице у дверей сына вождя Василия Сталина, и тот пригласил Рема к себе. Он был старше Рема на год и некоторое время учился в нашей школе № 32 им. Лепешинского (был исключен из школы за хулиганство). Рем пришел к Василию через внутренний переход, там его встретил «дядька» Василий — воспитатель, губернёр... не знаю, как назвать, присутствовавший при их свидании. Василий показал Рему свою рабочую комнату — там стоял верстак и лежали столярные инструменты. Визит Рема был недолгим, а когда он вернулся домой, мама, по его воспоминанию, испуганная случившимся знакомством, строго-настрого запретила ему всякое общение с Васей Сталиным. Дочку Сталина Светлану я видела один раз в Тайницком саду. Она сидела на скамейке с няней, тихая девочка, наблюдавшая за нашими шумными играми.

Сталин уехал из той квартиры в 1932 году, после так и не разгаданной смерти его жены, Надежды Аллилуевой.

А в окне его квартиры, видимом из окон нашей столовой (дома под углом стояли), появилось проволочное колесо, в котором совершала свое бесконечное движение белка. Иногда там появлялась лисица. Там теперь жил Бухарин с молодой женой. Он любил животных, и в доме у него всегда жили какие-нибудь зверюшки.

Итак: Крестинского расстреляли, моего отца и Диму расстреляли, Орджоникидзе застрелился, Андрей Свердлов закончил свою позорную жизнь спокойно, погубив десятки друзей. И — Сталин, наш сосед, о котором мне нечего сказать.

Отец

И вот я приступаю к тому, с чего, вероятно, следовало бы начать рассказ о моей семье. Но я откладываю — боюсь. Боюсь, что выйдет неправда, боюсь и правду сказать, как я ее понимаю. Боюсь и объективности, и необъективности, да и просто уж очень трагична судьба моего отца.

Мой дед, Валерьян Егорович Оболенский, был сыном мелкого помещика Орловской губернии, обедневшего и ничего не оставившего детям. Но дедушка все-таки выбился в люди, кончил в Харькове ветеринарный институт и стал довольно известным специалистом. У меня хранится его многократно переиздававшаяся книга «Коннозаводство и лечебник лошади».

Его знали в кругах народников; хотя сам он в движении не участвовал, но, будучи человеком общительным, хлебосольным и, конечно, демократического образа мыслей, устраивал собрания народников у себя на квартире в Харькове. Старший его брат, Леонид, был известным в свое время журналистом и литератором, в течение ряда лет издававшим журнал «Русское богатство».

У Валерьяна Егоровича было шестеро детей, которых он очень любил, заботился о них, внимательно относился к их образованию. Благодаря его заботам мой отец с детства говорил по-немецки и по-французски (потом знал — в разной степени, конечно — шесть языков). Умер дедушка в начале 20-х годов, еще до моего рождения. Сохранилась размытая пожелтевшая фотография: дедушка, большой, полный, в белом летнем костюме, нежно прижимает к себе крошечного первого своего внука — это мой старший брат Дима.

Бабушка Надежда Павловна была дочерью военного инженера Петриченко, сына военнопоселенца из Чугуева. Она была учительницей пения, пела и сама. В противоположность своему мужу — величественная, властная, суровая. Мой отец был вторым ее ребенком. По не понятным мне причинам она отдала его, еще грудного младенца, своей сестре, и он жил у нее почти до семи лет, не общаясь с родной семьей.

Мне кажется, что и по возвращении в семью папа не был счастлив. Одна из теток рассказывала мне как нечто забавное такой эпизод. Когда отец был уже подростком, ему отвели проходную комнату, через которую то и дело пробегали сестры, забывая затворить за собой двери. А он сидел за столом и пытался заниматься. «Türe zu!» — в бешенстве кричал он по-немецки, а девочки только хохотали.

Мне помнится, что к воспитавшей его тетушке папа относился с почтением и теплотой. Прасковья Павловна, баба Паша, как мы ее звали, часто приходила к нам — высокая старая женщина с короткой, почти мужской стрижкой седых волос, в длинном, до полу платье, скрывавшем больную ногу с высоким ортопедическим башмаком. Но детские и юношеские обиды наложили, вероятно, отпечаток на папин характер: очень вспыльчивый, он бывал резок и гневлив. В то же время была в нем некоторая холодность и рационалистичность. Поразил меня как-то рассказ мамы: в юности две женщины были в него влюблены, сестры его друзей (одна из них — моя мать). По его

признанию, он выбрал в жены ту, что была более здоровой и жизнерадостной — лучшую мать для своих детей... Он почти не общался со своим братом и с сестрами, долгие годы был в ссоре со своей матерью и даже не пришел на ее похороны.

От бабушки Надежды Павловны пошла, похоже, главные черты нашего «оболенского» характера. Это люди сильные, работоспособные, упорные, резкие и прямые, порой подавляющие близких своей энергией и желанием действовать, действовать... В отношениях с людьми нет мягкости, терпимости, а есть зато уверенность, что надо поступать так, как поступают они.

Отец родился в 1887 году в селе Быки Льговского уезда Курской губернии, где дедушка был тогда управляющим конным заводом. Позднее, чтобы дать детям хорошее образование, семья переехала в Москву. Здесь дедушка долгие годы служил главным врачом на московском ипподроме.

Отец учился в седьмой мужской гимназии. Он был членом литературного кружка, участвовал в выпуске гимназического журнала. Помню, как он говорил о своем первом рассказе, заканчивавшемся словами «О, проклятые деньги!». Осенью 1905 года поступил на юридический факультет Московского университета (экономическое его отделение). Но активное участие в революционной борьбе привело к тому, что учиться ему пришлось урывками, бросая учебу и снова восстанавливаясь в университете после арестов, ссылок и вынужденной эмиграции. Впоследствии он сдал университетский курс экстерном.

Во время декабрьского восстания 1905 года отец был летучим репортером «Известий Московского совета депутатов трудящихся». Потом, по-видимому спасаясь от ареста, он уехал на год в Германию. По возвращении в Москву вступил в РСДРП (б). В качестве партийной клички он взял фамилию погибшего на виселице во времена Александра II народника Валериана Осинского, и с тех пор больше был известен именно как Осинский, а Н.Осинский — это был его литературный псевдоним.

Осенью 1907 года отец был арестован и отправлен в ссылку в Тверь. Туда он уехал уже с молодой женой, моей матерью, Екатериной Михайловной Смирновой, сестрой его близкого друга Владимира Михайловича Смирнова. Здесь они прожили до 1913 года, здесь у них родился их первый сын Вадим. Вернулись в Москву, но вскоре отца опять арестовали и отправили в ссылку в Харьков. Когда началась Первая мировая война, отец

был мобилизован, но на фронте не был: благодаря сильной близорукости он был определен в писари, затем, как он говорил, в «зауряд-военные чиновники».

Февральская революция застала его в Каменец-Подольске. Во время октябрьских событий в Москве имя отца встречается среди руководителей вооруженного восстания, затем он оказывается в Харькове, стремится снова в Москву, но, к большому его сожалению, возвращается туда, «когда пушки уже перестали стрелять».

После Октябрьской революции отец занимал последовательно много разных государственных постов. Чем определялись его бесконечные передвижения и назначения, я не знаю. Вот главное. После победы большевиков в Петрограде он был назначен комиссаром государственного банка и сыграл в овладении им важную роль. Затем был первым председателем ВСНХ, заместителем наркома земледелия, потом отправлен был полпредом в Швецию, в конце 20-х годов возглавлял ЦСУ, был первым директором Института народного хозяйства. Дважды ездил в Америку, изучая там сельское хозяйство и автомобилестроение. Вообще автомобильным делом горячо увлекался. «Американский автомобиль или российская телега» — так называлась одна из его книг. Большое участие принимал в строительстве Горьковского автозавода, в одном из писем он с гордостью называет его «мой завод». Он был председателем общества «Автодор», первым редактором журнала «За рулем», написал много статей о строительстве автодорог, о правилах уличного движения. Сам отлично водил машину и не раз участвовал в автомобильных пробегах 20—30-х годов. По слухам, когда он уезжал из Нью-Йорка после второй поездки в Америку (он изучал автостроение на заводах Форда), сам Генри Форд приехал его проводить, вышел из машины и подарил ее отцу.

Я не чувствую себя готовой к тому, чтобы описать и объяснить ту сторону жизни отца, которая, исключая, вероятно, последние годы его жизни, была для него главной — его деятельность и борьбу в партии большевиков. Я не только не готова к этому, но и не могу этим по-настоящему заинтересоваться, хотя, по-видимому, именно в этом следовало бы искать объяснения многого в его жизни. Но я и жизни-то его почти не знаю, поэтому ограничусь лишь тем, что сохранила моя несовершенная память, и тем немногим документальным материалом, который стал мне доступен в последнее время.

В 1993 году я получила возможность прочитать следственное дело отца. Я читала его, сидя в очень тесном помещении на Кузнецком мосту, куда полвека назад мы, дети, приходили в надежде что-нибудь узнать о его судьбе после бухаринского процесса и где мы не узнали правды, да и вообще ничего почти не узнали. Теперь в маленькой комнате вокруг большого стола сидели несколько человек, занятые тем же, что и я. Душно и не очень светло, дела дают на два-три часа, делать выписки можно беспрепятственно. Человек, выдававший мне эти дела, любезно предложил сделать копию фотографий на дипломатическом паспорте, приложенном к делу. Фотографии отца, сделанной при аресте, в деле не оказалось.

Кроме текста приговора и справки о приведении его в исполнение, лежит лишь один протокол допроса от 16 ноября 1937 года (прошел месяц после ареста). Разумеется, этот допрос был не единственным, и вся драматическая история следствия, не говоря уже о его палаческой сущности, остается скрытой. В основном протокол содержит длинную историю признаний обвиняемого, носящих тот характер, который так ярко выразил герой фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние» (удивительно — для нас этот фильм так много значил, а теперь почти забыт!), сообщающий следствию, что он рыл туннель от Бомбея до Лондона. Лев Разгон объяснил мне, что, конечно же, в протокол включены фрагменты многих допросов, и содержащиеся в нем ответы на вопросы следователей — отнюдь не плод живой беседы, а результат предварительной обработки допрашиваемого. Но есть в этом протоколе одно пронзительное место, поразившее меня прорвавшейся правдой. Оно звучит как живой диалог.

Вопрос: Вы изобличены, Осинский, в том, что являетесь врагом народа. Признаете себя виновным?

Ответ: Мне даже странно слушать такие обвинения. Откуда взялись такие чудовищные обвинения против меня. Это просто недоразумение. Я честный человек, долгие годы боролся за Советскую власть.

Вопрос: Советуем вам, Осинский, не жонглировать здесь выражением «честный человек» — оно к вам неприменимо. Прямо скажите: вы намерены сегодня дать искренние показания о своих преступлениях?

Ответ: Я хотел бы говорить с вами. Все-таки я Осинский,

меня знают и внутри страны, и за границей. Я думаю, по одному только подозрению меня бы не арестовали.

Вопрос: Хорошо, что вы начинаете это понимать.

Ответ: Я много раз ошибался, но об измене партии в прямом смысле слова не может быть и речи. Я своеобразный человек, и это многое значит. Я интеллигент старой закваски, со свойственным людям этой категории индивидуализмом. Я, возможно, со многим, что делается в нашей стране, не согласен, но я это несогласие вынашивал в себе самом. Можно ли считать мои личные мировоззрения изменой... Большевиком в полном смысле этого слова я никогда не был. Я всегда шатался из одного оппозиционного лагеря в другой. Были у меня в последние годы и сокровенные мысли непартийного характера, но это еще не борьба. Я занимался научной работой, ушел в себя. Я хотел уйти от политической работы.

Вопрос: Слушайте, Осинский, перестаньте рисоваться. Уверяем вас, советская разведка сумеет заставить вас, врага народа, рассказать о тех преступлениях, которые вы совершили. Предлагаем вам прекратить запирательство.

Ответ: Хорошо, я буду давать правдивые показания о своей работе против партии.

И дальше — складный и явно заранее подготовленный рассказ о том, как он по поручению некоего правого центра, возглавлявшегося Бухариным, устанавливал связи с заграницей для осуществления злодейских планов в пользу фашистской Германии: в США вел переговоры относительно подготовки поражения СССР в возможной войне с Германией, во Франции — о действиях по развалу Народного фронта и борьбе против французских коммунистов. И еще — о своей вредительской деятельности в то время, когда он был начальником Центрального статистического управления (ЦСУ).

Мне кажется, что в этом документе звучит последняя, может быть, надежда: «Я хотел бы говорить с вами...» И какая верная и даже совпадающая с моими детскими впечатлениями характеристика: «Я своеобразный человек... Интеллигент старой закваски со свойственным людям этой категории индивидуализмом... ушел в себя... хотел уйти от политической работы». И в ответ на зловещие уверения палачей, что они заставят его сделать все, что им требуется, убийственный в своей простоте переход: «Хорошо, я буду давать правдивые показания». И дальше:

Вопрос: Вы, Осинский, являетесь изменником родины?

Ответ: Да, это так. Я признаю себя виновным в этом.

Вопрос: Вы использовали доверие партии и Советского правительства для предательских целей?

Ответ: И это верно. Я действовал как участник политической группировки, ставившей своей задачей захват власти в Советской стране.

Вопрос: Не как участник политической группировки вы действовали, а как предатель и провокатор.

Ответ: Ну, это уж чересчур. Ведь вы должны согласиться, что я человек определенного политического мировоззрения. Вот я как эмиссар центра правых и осуществлял поручения моих единомышленников.

Вопрос: Вы, Осинский, эмиссар банды убийц. Не вы ли хотели потопить в крови трудящихся нашей страны, не вы ли продавали оптом и в розницу наши республики и богатства нашей страны?

С любовью и жалостью...

Папа был убежденным марксистом-ленинцем, называл себя рыцарем революции, активно участвовал в ней и в 20—30-х годах занимал ряд видных государственных постов. Разумеется, на нем, как и на всех идеологах и практических деятелях советской власти, лежит ответственность за ее преступления, за неисчислимые бедствия, которые она принесла нашей стране, нашему народу. Но я не могу не задуматься над мерой его личной ответственности и его личного участия в тех или иных делах советской власти.

Он не принадлежал к той части большевиков, которые стали приспешниками Сталина и были идеологами и организаторами террора. Его активнейшее участие в делах советской власти определялось уверенностью в том, что он делает благое дело, участвует в построении справедливого социалистического общества. Мне кажется, однако, что ненавидимая им железная диктатура Сталина не могла не породить в отце сомнений относительно сущности, характера и направления развития страны.

Я далека от того, чтобы считать своего отца членом шайки

бандитов. Пусть думают и говорят, что хотят, я вспоминаю о своем отце с любовью и глубокой жалостью.

В 2008 году в электронном журнале «Демоскоп weekly» к 70-летию гибели В.В. Осинского была опубликована большая статья «Валериан Осинский. Штрихи к портрету», посвященная в основном его деятельности как одного из главных организаторов статистики в СССР. В этой статье есть материал, характеризующий личность моего отца и его отношения со Сталиным. Вот фрагмент из этой статьи:

«В письме Сталину 1 января 1928 года Осинский попытался заступиться за репрессированного В.М. Смирнова. *«В свое время, — писал он, — Ленин выпроводил Мартова за границу со всеми удобствами... Все это потому, что Мартов когда-то был революционером. Высылаемые теперь бывшие наши товарищи по партии — люди, политически грубо ошибающиеся, но они не перестали быть революционерами — этого отрицать нельзя... Спрашивается поэтому, нужно ли загонять их на север и фактически вести линию на их духовное и физическое уничтожение? По-моему, нет.... Высылки такого рода создают только лишнее озлобление среди людей, которых пропащими считать еще нельзя и к которым партия и в прошлом частенько была мачехой, а не матерью. Они усиливают шушуканья о сходстве нынешнего нашего режима и старой полицейщины, а также о том, что «те, кто делал революцию, в тюрьме и ссылке, а правят другие»...»*

Ответ Сталина последовал через день, 3 января:

«Тов. Осинский! Если подумаете, то поймете, должно быть, что Вы не имеете никакого основания, ни морального, ни какого-то ни было, хулить партию или брать на себя роль супера между партией и оппозицией. Письмо Ваше возвращаю Вам как оскорбительное для партии. Что касается заботы о Смирнове и других оппозиционерах, то Вы не имеете оснований сомневаться в том, что партия сделает в этом отношении все возможное и необходимое. И. Сталин».

Осинский не смолчал и на следующий же день ответил:

«Товарищ Сталин, мне не нужно ни много, ни мало раздумывать над тем, могу ли я быть арбитром между партией и оппозицией или кем бы то ни было. Вы мою точку зрения и психологию понимаете в корне неверно... Моя психология состоит в том, что я считаю себя вправе иметь самостоятельное мнение по отдельным вопросам и это мнение высказывать (иногда — в самых острых случаях — только лично Вам, или Вам и Рыкову, как Вы помните, — во время съезда).

За последнее время я получил по этой части два урока. Насчет хлебозаготовок Рыков сказал, что мне надо «залить горло свинцом». Вы мне возвратили письмо. Ну что ж, если и этого нельзя, буду с этим считаться.

А ведь чего проще: отпустите меня за границу поработать год над книжкой — и совсем от меня не будет докуки...»

Это была, кстати, не первая попытка В.Осинского вступить за репрессированного. Так еще в 1922 году он обращался к Сталину с ходатайством об избавлении от высылки из страны знаменитого экономиста Н.Д. Кондратьева.

То, что я привожу эти документы, выглядит, наверное, как попытка реабилитировать отца в глазах сегодняшних критиков в адрес коммунистов. Пусть так. Я разделяю эту критику, но считаю, что невозможно, нельзя, ошибочно стричь всех под одну гребенку.

Даже я помню, как радовался отец своей последней должности — директора Института истории науки и техники. Наверное, понимал, что тут скрыто изуверство (он сменил арестованного Бухарина), наверное, чувствовал, что всему приходит конец, и все-таки радовался, и — чего раньше никогда не бывало — мы, дети, не раз бывали у него на новой работе, в здании на Воздвиженке. Радовался, что получит квартиру в доме Академии наук на Калужской улице, радовался своим успехам в занятиях высшей математикой, почти что радовался, когда в июне 1937 года по распоряжению Сталина ему пришлось внезапно уйти с заседания ЦК, потому что, не объясняя причин, его исключили из кандидатов в члены ЦК ВКП(б). В этот день он тотчас поехал на дачу, а там Лева Разгон, бывший в гостях у Димы, спросил его, что же все это значит. «Ну что же, — ответил отец, — это хорошо. Спокойно займусь своей высшей математикой». Сталина он никогда не боялся, в последние годы ненавидел и презирал. В протоколе допроса записано его показание о замысле заговора против Сталина: подобрать человек пять-семь с крепкими кулаками, задержать машину вождя, когда тот ночью поедет с дачи в Зубалове в город, оглушить шофера и сопровождающего, отвезти Сталина и Молотова на глухую дачу и задержать их там на два месяца, а за эти два месяца удастся изменить то, что происходит в стране. Я не исключаю, что такая мысль — неоформленная и несерьезная, действительно бродила у него в голове: сказал же он как-то маме, что хорошо

бы как-нибудь исхитриться и бросить на Сталина тифозную вошь!

Мне безумно жаль моего отца... Думать о том, что могли с ним сделать в подвалах Лубянки, невыносимо, но и не думать невозможно. Один человек, сидевший с ним в камере в конце 1937 года, рассказал мне, как отец вернулся с допроса, лег на свое место и накрыл глаза мокрым носовым платком, некоторое время лежал молча, а потом вдруг закричал: «Что они делают с моими глазами! Чего они хотят от моих глаз!» Наверное, это была обычная и еще не самая страшная пытка — направлять в глаза свет сильной лампы.

Но это было до процесса, на котором ему было суждено выполнить предусмотренную для него роль свидетеля (и он ее выполнил, давая показания против друга своей молодости Бухарина). А после процесса Р. Панюшкин сидел в одной камере с ним и Бессоновым. Он рассказал, как их выводили в прогулочный дворик на крыше Лубянки. Отцу разрешали брать с собой табуретку, потому что он был так измучен и слаб, что почти не мог стоять. Однажды они разговаривали о том, что же теперь им делать. «Что делать? — сказал папа, — достойно ждать смерти».

Отец был расстрелян 1 сентября 1938 года и, по сведениям «Мемориала», захоронен на полигоне НКВД близ совхоза «Коммунарка».

Когда я представляю себе, как его били, высокого, стройного, в пенсне с золотой дужкой, всегда подтянутого и чисто выбритого, любившего светлые костюмы... Конечно, всем больно, когда бьют, но это ведь был мой отец. О чем он думал в последние часы и минуты жизни? Верил ли еще в свою партию, в свои идеалы? И, наконец, что довелось ему испытать, и как он умер, как встретил смерть? Никогда не узнаю, никогда и ничего...

Отец и мы

Что помню я об отце в раннем моем детстве? Всегда занят, всегда нет времени, работает в своем кабинете, где у него на столе стоят на длинных ножках два флажка — наш и шведский. Здесь же огромная многоязычная библиотека, всегда он весь в книгах. Папа работает, и ему нельзя мешать — вот главное,

что мы, дети, знали о нем. Он требует абсолютной тишины, потому-то во второй кремлевской квартире его комнаты на другой стороне лестничной площадки, отдельно от нас. На даче его комнаты — на втором этаже, тоже чтобы никто не мешал. Очень вспыльчив. Все немного его боятся.

Папа выходил по утрам в столовую, читал газету, разговаривал с нами, но всегда был далек. Не помню, чтобы был ласков; со мной — никогда. С явной нежностью и нескрываемой любовью относился только к Вале, составлявшему все его надежды. Он специально занимался его воспитанием, следил за его чтением, учил его составлять конспекты, писать сочинения, мечтал о том, что будет вместе с ним читать Маркса, называл его «Н.О. 2-й». Впрочем, еще он любил компанию своего старшего сына Димы, охотно сживал с его друзьями за столом, разговаривал, шутил и любил петь с ними хором. Он дирижировал этим хором, когда они пели песни его революционной молодости — «Колодники», «Замучен тяжелой неволей». Он и нас, младших, учил этим песням:

Спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль,
Колодников звонкие цепи взметают дорожную пыль...
Динь-бом, динь-бом, слышен звон кандалный,
Динь-бом, динь-бом, путь сибирский дальний,
Динь-бом, динь-бом, слышно там и тут —
Нашего товарища на каторгу ведут!

Папа хорошо играл на рояле. Играл, помню, Патетическую сонату Бетховена и Лунную тоже, полонез, вальсы и мазурки Шопена. Звуки этих произведений, запомнившиеся в раннем детстве, но сохранявшие характер неоткрытого воспоминания, долго терзали меня в детском доме напоминанием о прежней жизни.

Вот незабываемое впечатление, связанное с отцом. Не так часто, но и не так уж редко он читал нам вслух. Был разработан ритуал. Мы усаживались на диване, по очереди кто-то из нас троих сидел рядом с ним. Он сам заготавливал для нас какое-то питье, которое мы называли вином (думаю, что это был разбавленный фруктовый сироп), каждому давал стаканчик. Открывал книгу, и начиналось бесконечное наслаждение; в конце неизменно просили: «Папа, еще!» И папа не оставался глухим к нашим просьбам.

Что он нам читал? Детские книги, может быть, читала нам мама, читали, конечно, и сами (я выучилась читать в три года,

чем вызывала всеобщее удивление. Однажды при гостях мне дали газету, и, сильно картавя, я бойко прочла: «Новости рынка» — Маршака, Чуковского, позже — Кассиля, Гайдара. А с папой? Помню, как читали Жюль Верна. Открывались огромные, в кожаных переплетах, тяжелые атласы, по которым следили путь кораблей и разыскивали места, где находился Таинственный остров или высаживались дети капитана Гранта. Папа читал нам Диккенса, особенно мы любили «Большие ожидания». Слова «То-то будит веселó», обращенные Джо Гарджери к маленькому Пипу, стали нашими домашними, и Валя, уже студент, писал их маме в лагерь, надеясь приехать к ней на свидание. «Песнь о Гайавате» местами я знала наизусть с папиных слов. Гоголь — «Страшная месть», «Заколдованное место», «Майская ночь», «Иван Иванович и Иван Никифорович», а потом и «Мертвые души», Некрасов, которого он очень любил, Тургенев, особенно «Записки охотника», рассказы и «Степь» Чехова, Короленко, «Записки из мертвого дома» Достоевского, «Детство» Толстого, Оскар Уайльд, Гюго, Доде, Гофман, Гейне (и на немецком языке тоже), Киплинг. Пушкина читали мало — «Капитанскую дочку», «Кирджали», «Песни западных славян». Пушкина он только собирался нам читать, очень его любил. В феврале 1937 года на юбилейной пушкинской сессии Академии наук он сделал доклад о нем, который слушали — не помню где — и мы, дети. Говорил он прекрасно. Доклад этот нигде не сохранился, хотя в газетах я нашла сообщение о нем.

Папа придавал большое значение нашему воспитанию, он очень хотел обучить нас языкам. По тогдашнему обычаю начали с немецкого. Он сам придирчиво выбирал учительницу, из соседней комнаты слушал ее произношение. К десяти годам я говорила по-немецки совершенно свободно, читала, конечно, и даже писала фантастический роман на немецком языке. В мои двенадцать лет начались — и кончились — уроки английского.

Что еще об отце? Когда я начинала писать эти воспоминания, я напряженно размышляла над вопросом, который сформулировала себе так: был ли отец подвержен перерождению, нравственному или, может быть, бытовому, захватившему сильных мира сего, в том числе и бывших аскетов?

В одном знакомом доме, как мне помнится из слышанных тогда разговоров, подвыпившие молодые люди, веселясь, по-

ливали цветы шампанским. У нас такое было немыслимым. Я не помню особых изысков в еде или одежде, не только у детей, но и у взрослых. Нет, впрочем, в самые последние перед 1937 годом времена для поездки в Париж маме сшила два-три платья знаменитая Ламанова. Мебель вся казенная, довольно простая; ну, рояль, очень много книг. Но ведь все это в условиях всеобщего полуголодного, а порой и голодного быта. Думал ли кто об этом в нашей семье? Нет, жизнь была совершенно барская, и никакая интеллигентность этого не смягчала! При постройке дачи в Барвихе (государственной, конечно) отец распорядился обнести огромный участок высоким забором — это чтобы никто и ничто не мешало. На участке устроили теннисный корт, волейбольную и крокетную площадки, гимнастическую площадку для детей. По высокому обрыву к Москва-реке построили длинную-длинную лестницу. Насаживали целое поле клубники, фруктовые деревья, ягодные кусты. На участке был небольшой лесок, где произрастали грибы; овраг, масса укромных мест; в отдалении от главного здания стояла, как ее называли, беседка, а на деле — маленький деревянный домик для занятий отца. А каков был главный дом! Деревянный, в два этажа, десять комнат, открытая и закрытая террасы, водопровод, канализация, ванная. Рояль в большой столовой. И все это было возведено в середине 30-х годов!

А вторая кремлевская квартира? Девять комнат, три ванных комнаты, три туалета... А Настина знаменитая готовка? Она литрами лила в кушанье сметану или масло, а если оказывалось слишком много, наклоняла кастрюлю и с вопросительным восклицанием «Ай много?» сливала лишнее в помойное ведро!

Но я отвлеклась от мыслей об отце. Были ли у него друзья? По-моему, не было. Мне кажется, это объяснялось, во-первых, какой-то особостью его положения, человека, как бы случайно попавшего в круг людей, близких к власти. К ближнему кругу Сталина он, разумеется, не принадлежал и, полагаю, его презирал и не был дружен ни с кем из этого круга. С Бухариным их разделяли давние разногласия, приведшие в конце 20-х годов к разрыву. Не помню, чтобы у нас бывал и кто-то из тех, кто позже погиб в годы репрессий. А во-вторых, нелегкий характер отца, вероятно, делал его довольно одиноким. Помню, что мама, приглашая своих друзей, всегда опасалась, не выйдет ли какой-нибудь неловкости, если они ему не понравятся. Думаю,

что папа дружески общался главным образом с приятелями Димы; они были ему приятны и интересны.

Большой театр

Счастливая пора моего детства была украшена благами, которые давало отцу его положение. Вот, например, наши посещения Большого театра — одно из самых сильных впечатлений детских лет. Меня брали туда лет с пяти. Почти всегда мы сидели в роскошной ложе, справа от сцены, прямо над оркестром. Я сетовала, что «наша» ложа располагалась не слева, над арфами, а над барабанами, оглушительных звуков которых вместе с литаврами я боялась. Там, за пространством ложи, была еще маленькая, без окон, нарядная, красная с золотом, как весь театр, аванложа, куда в антрактах приносили большую вазу с пирожными, чай, напитки — крем-соду или крушон. Там же мы и раздевались, минуя общий гардероб.

Боже, какое счастье охватывало меня, когда после гудения наполняющегося зала и негромких звуков настраивавшегося оркестра, гас свет, сквозь оркестр проходил дирижер, по мановению его палочки все затихало, и после увертюры я видела совсем рядом медленно раздвигающийся тяжелый занавес. Будто порыв ветра достигал ложи — свежий запах с легкой примесью пыли, но какой-то особенной, театральной. Всё так близко, певцы и балерины совсем рядом.

Однажды мы сидели в партере, слушая уже не в первый раз мамину любимую оперу «Садко». Во втором действии произошла катастрофа. Из-за левой кулисы, как полагалось по ходу действия, на сцену выехал огромный бутафорский корабль с хором на борту. Когда он выдвинулся целиком, заняв собой немногим меньше половины сцены, раздался негромкий треск, корабль накренился и рухнул в сторону зрительного зала, так что высокие мачты накрыли оркестр, и дирижер оказался лишь чуть правее этих мачт. На сцене раздался шум, крики, занавес быстро задернули; испуганные музыканты спешили к выходу из своей оркестровой ямы.

Я ничего не понимала и ожидала только возобновления спектакля. Прошло довольно много времени, корабль убрали. Садко, стоя на деревянной дощечке в волнах, спел свою арию и погрузился на дно, и я, как всегда, томила сомнением: прав-

да ли то, что говорит Дима, будто певец действительно тонет, а дальше петь будет другой артист. Я совсем не думала о том, что могли пострадать хористы на корабле. Спектакль все же дошел до конца. В газетах потом появилось маленькое сообщение об этом несчастном случае, но были ли при этом серьезно пострадавшие — об этом я так и не узнала.

В Большом театре в детстве я видела и слышала «Садко», «Снегурочку», «Князя Игоря», «Евгения Онегина», «Сказку о царе Салтане», «Кармен», «Лебединое озеро», «Красный мак», «Пламя Парижа», «Щелкунчика». Всё казалось таким необыкновенным, всё блестит, сверкает, искрится, балерины такие красивые. А между тем из нашей ложи я видела однажды, как поскользнулась и тяжело упала балерина, а в любимой маминной «Снегурочке» певица, исполнявшая Весну, просила и ждала подсказки от суфлера. Но почему-то это не нарушало магии театра.

На даче

Наша жизнь на даче. Мы жили там летом, ездили туда и зимой, когда к нашему приезду натапливали печи, и становилось особенно уютно. Катались на лыжах с высоких гор и уходили далеко в лес. Летом — счастливые долгие дни. Иногда утром выйдешь рано, когда все еще спят, в воздухе свежо, но день обещает быть прекрасным. Благоухают цветы, окружающие весь дом. Стою у маленькой скамеечки у входа в лесок и думаю: куда бежать? К реке, вниз по крутой лестнице, или за беседку, к дальнему концу участка, где отлично можно играть в песке на обрыве. Сознание, что впереди долгий день с играми, в которых я неизменно вместе с братьями и их товарищами, рождает яркое ощущение счастья.

Встает и выходит наша немецкая учительница Лиза, она тоже живет на даче. Молодая, спортивная, вместе с нами качается на кольцах и ездит на лодке, ходит за грибами. С ней говорим только по-немецки, но это нисколько не обременительно: летом уроков нет, от общения с ней одна только радость. Лиза и ее муж Эрнст были политэмигрантами. В 1937 году они были арестованы чуть ли не раньше наших. Во время войны, когда я пыталась разыскать их в том доме, куда в последний год наших

занятий мы к ней ходили, соседи испуганно шептали из-за полужакрытой двери, что их тут нет давным-давно.

Приезжал на дачу и жил в беседке вместе со своим роскошным котом учитель музыки Михаил Федорович Одегов, который после ареста родителей посылал мне в детдом ноты.

Мы уходили к нашим друзьям в так называемый Фанерный поселок, около станции Раздоры. Собирались большой компанией, набирали сосновых шишек и играли в войну, швыряясь и больно поражая противника (я, впрочем, этой игры боялась), в двенадцать палочек, в прятки. Или же проводили время втроем, нам вполне хватало общества друг друга. Катались на велосипедах, шли в огромный овраг за забором и там играли в песке на откосе, строили не то что замки, а целые города. По воскресеньям гуляли в лесу с мамой, любившей собирать большие букеты цветов, ей все казалось мало. Лазили на высокие сосны, играли в индейцев, Валя вырезал из сосновой коры лодочки и еще какие-то маленькие фигурки. Но всему он предпочитал чтение, и чаще всего его можно было видеть поглощающим книгу где-нибудь в укромном углу. Чуть-чуть толстоватый, с милым добрым лицом, на даче он ходил в трусиках и косоворотке, а на голову надевал привезенную ему папой из Америки сетку для волос, надеясь таким образом укротить распадавшиеся на две стороны прямые русые волосы — почему-то это его раздражало, хотя вообще-то к своей внешности он был совершенно равнодушен. Он довольно часто уезжал — отец брал его с собой во время поездок по стране.

Дима Осинский

Дима, мой самый старший брат, старше меня на 13 лет, был совершенно далек от нас. В сущности, я его совсем не знала. Его ушедшие черты не воскресит уже никто. Невысокого роста, с правильными чертами лица, светлыми густыми волосами, в сильных очках, всегда в военной форме — он кончил Военную академию механизации и моторизации РККА. Говорят, что он был благородный и добрый человек, товарищи просили его быть судьей в их спорах. Они его любили и в большом числе у нас бывали, некоторые отдельно дружили с мамой. Папа охотно и с интересом (что в других случаях бывало очень редко) сидел с ними за столом. Дима был очень способным; по

слухам, его и после ареста в 1937 году возили в секретное конструкторское бюро, где он работал после окончания Академии; речь шла о важном военном изобретении. Думаю, впрочем, что слуху этому не стоит верить: его расстреляли гораздо раньше отца, уже в декабре 1937 года, через два месяца после ареста. Дима кончил шоферские курсы, что тогда было еще редкостью, и прекрасно водил машину. Хорошо играл на рояле. Очень любил маму и был особенно дружен с ней. А сама я почти ничего не помню о Диме. Разве только, что он полушутя полусерьезно называл меня буржуйкой, качал на ноге, и я чувствовала вкусный запах его военного сапога, да пугал рассказом о том, что вот я люблю в Большом театре бывать, а там однажды люстра упала прямо в зрительный зал и опять, наверное, упадет.

А я действительно была «буржуйкой» да и могла ли ею не быть, если с ранних лет полагала, например, что все люди передвигаются на машинах, а общественный транспорт существует для развлечения. Сладкоежка, любила дорогие игрушки. Мне приходилось встречать отпор у одноклассниц и у Димы, но мама не всегда умела осадить меня да и не хотела: на поверхности лежал тот факт, что родители больше всех любили Валю, невольно выделяли его, и мама, зная, что я это понимаю, и чувствуя собственную несправедливость, старалась компенсировать ее тем, что давала мне все, что я хочу.

Московская школа

Мы учились в опытно-показательной школе № 32 им. Лепешинского. Организатором ее был известный педагог Пестрак. Она была преобразована из детской школы-коммуны, и в ней училось множество ребят с Остоженки и Пречистенки. Но учились там и дети многих крупных работников, а раньше нас учился Василий Сталин, исключенный в начале 30-х годов за хулиганство. Вот какие еще были нравы! При нас учились дочка Радека Соня, сын Пятакова Юра — замечательный мальчик, погибший потом на войне, все дети Микояна (один из них, Алеша, в одном классе со мной), дети многих актеров Вахтанговского театра, чей дом находился поблизости. Школа помещалась во 2-м Обыденском переулке, напротив маленькой церкви XVII века, которую однажды кликнули клич ломать, и старшеклассники кинулись уже это осуществлять, а мы высыпали во двор

и смотрели. К счастью, кто-то поднял скандал, прекрасная эта церковь стоит и действует и сейчас.

Братья очень хвалили своих учителей, но я успела в этой школе кончить всего четыре класса. В школу меня принимали педологи, у них был свой кабинет, и они предлагали поступающим тесты. Помню, что мне предложили на ощупь определить, какие монеты я держу в руке. Этот экзамен я выдержала, и меня направили сразу во 2-й класс; когда я вошла на урок, учительница объясняла счет времени, учила узнавать время по часам. Я ничего не поняла, заплакала, и меня тотчас отправили в 1-й класс.

Наша учительница, Капитолина Георгиевна Шешина, памятная всем ее ученикам, была очень строгая, ее боялись, но любили. Однажды на классном собрании она ругала какую-то ученицу за то, что та ничего не хочет делать дома. «На днях, — сказала Капитолина Георгиевна, — мы возьмем ведра и тряпки и отправимся к ней с плакатом: “Мы идем к пионерке такой-то мыть пол”». Помню мой острый невысказанный страх: ведь я не умею мыть пол, понятия не имею, как это делается, а вместе со всеми голосую и должна буду пойти. Я никогда и ничего не делала по дому. Прошло несколько лет, и я горько пожалела об этом.

А учиться мы все любили и делали это с удовольствием и легкостью. Я, как писал Валя в одном из писем к маме в лагерь, сроду была отличницей, действительно, все десять классов школы училась на пятерки, хотя в начальной школе пропустила целый год по болезни (мама всегда боялась, что у меня будет туберкулез, как у отца в молодости) — весь третий класс я провела на даче и только осенью, перед началом учебного года, сдала все испытания.

Одно из памятных впечатлений школьных лет — так называемый хор-класс, который вел Виктор Иванович Потоцкий. Наш руководитель был одет в бархатную куртку с бантом и был не просто учитель пения, но артист. Недаром его дополнительные (но обязательные для всех) занятия по пению именно так и назывались — хор-класс. Пели мы и классические произведения и новые песни. К праздникам готовили выступления, в которых пение соединялось с декламацией. Отлично помню, как мы репетировали дурацкое стихотворение Безыменского на смерть Ленина. «Весь мир грабастают рабочие ручищи, — громким шепотом произносил хор, — всю землю шупают —

в руках чего-то нет». Раздавался одинокий замогильный голос: «Скажи мне, партия, скажи, чего ты ищешь! И голос скорбный мне ответил: ПАРТБИЛЕТ!» (это говорил хор, олицетворявший партию). И дальше хор: «Один лишь, маленький, но сердце задрожало, и в сердце дрогнула последняя струна. Вчера еще в руках его держала, но смерть ударила, и партбилет упал». И затем — «Замучен тяжелой неволей».

Очень хорош был наш учитель физкультуры, бывший офицер Тихон Николаевич Красовский, стройный, сильный, одетый всегда в грубый серый свитер. С ним, уже после ареста родителей, я впервые ходила с другими ребятами на лыжную вылазку; помню, что в этот день он был внимателен и ласков со мной, хотя раньше просто не замечал.

Выпускники 32-й школы встречаются до сих пор, на их встречи стекается множество народу, среди выпускников первых лет — уже совсем старые люди, с восторгом вспоминающие обычаи и порядки своей школы в 20-х годах. Собирается и наш класс, где, как ни странно, помнят меня, хотя я и покинула его в конце пятого года учебы.

Осенью, когда начинался учебный год, мы еще некоторое время обычно жили на даче. Перед первым сентября на участке ломали охапки огненных осиновых веток и везли в школу. Сквозь роскошные осенние леса — где они теперь? — наша казенная машина, линкольн, возила нас в школу и обратно. Кончалась ранняя осень, мы перебирались в Москву и ходили в школу из Кремля пешком, вдоль Александровского сада с гротом, таинственность которого была подпорчена дурными запахами, из него доносившимися, а дальше по Волхонке вдоль деревянного забора, который, казалось, был здесь всегда и будет вечно. За забором скрывалось строительство задуманного Сталиным Дворца Советов; у забора было множество киосков, где продавались мороженое, папиросы, газировка, на углу из больших корзин продавали поштучно конфеты — шоколадные бутылочки с ромом. В последние годы мы садились в метро у библиотеки им. Ленина и ехали одну остановку до Кропоткинской — да нет, не до Кропоткинской вовсе, а до станции Дворец Советов, о которой говорили, что это лучшая станция. Там было чудо новой техники — автоматы, которые за гроши выдавали маленькие вкусные шоколадки. А оттуда по Остоженке вверх, до нашего Обыденского переулка.

В школе у меня не было настоящих друзей. Думаю, мешало

и то, что все внешкольные интересы были связаны с братьями и с домом вообще, а также и то, что все отлично знали, кто мой отец (большинство ребят вовсе не принадлежали к элите), и относились ко мне часто с недоверием. Помню, однажды я притащила в школу привезенные отцом из-за границы необычайно богатые краски и открыла их на уроке рисования. Таня П., милая девочка, с презрением обернулась ко мне и сказала, чтобы я их сейчас же спрятала, не выставлялась бы со своими богатствами, и неужели я не вижу, что стыдно хвалиться тем, чего у других быть не может. Кажется, я что-то поняла и даже задумалась над тем, все ли ездят на машинах, как мы. Впрочем, многие из тех ребят тоже ездили на машинах.

* * *

О детстве большинство людей вспоминают с теплым чувством, и я могла бы писать о нем без конца. Оно было украшено и всеми возможными удовольствиями, и теплом большой семьи, о драмах которой мы ничего не успели узнать. Но живописание этих радостей — не аморально ли? Не может быть, чтобы родители наши не знали о голодоморе на Украине (отец по должности, конечно же, знал, хотя, может быть, не догадывался о настоящих причинах?) и не только на Украине; мне вспоминается, что дома, в Кремле, в уборной, в мешочке для бумаги всегда лежали разорванные пополам желтоватые листы с надписью наверху большими красными буквами: НЕ ПОДЛЕЖИТ ОГЛАШЕНИЮ. Почему папа отдавал эти не подлежащие оглашению бумаги для такого использования, я не понимаю. В этих бумагах, вероятно, немало можно было найти сведений об истинном положении вещей. А может быть и нет?

Как взрослые относились к тому, что происходило вокруг, в стране, к Сталину? Не хотелось бы осмысливать это, исходя из недавно полученных мною сведений. А по воспоминаниям? Про маму я определенно знаю, что к Сталину она относилась резко отрицательно. Одно время она работала в редакции «Правды» вместе с женой Сталина Н.Аллилуевой. Когда Аллилуева умерла, в их парторганизации не знали, как поступить. Откуда-то сверху позвонили, сказали, что надо провести собрание и осудить самоубийцу. Собрание провели, а тут снова позвонили и сказали, что это было ошибкой, ничего не надо обсуждать, а надо послать делегацию на похороны. Мама была

в этой делегации и видела, как в зал, где стоял гроб, вошел Сталин, поднялся на возвышение, обеими руками взялся за гроб и почти тряхнул его, наклонившись к лицу покойницы с лицом мрачным, гневным. Мама рассказывала об этом с брезгливостью.

Прощание с отцом

А отец? Говорят, что Сталина он ненавидел и совершенно не боялся. С отвращением рассказывал маме, что на заседаниях политбюро царит матерщина, и это заведено Сталиным. Вместе с мамой они в Барвихе, в лесу, зарыли в землю жестяную коробку с текстом «Завещания» Ленина. Неужели лежит еще где-то в земле старая заржавленная коробка, или давно уже всяческие бури унесли ее неизвестно куда? В середине 30-х годов папа всеми силами старался отойти от партийной и государственной работы.

Но ничто не могло спасти его от расправы, которая была уже совсем близка. Думаю, что, ненавидя и презирая Сталина, советской власти отец был глубоко предан и до самого конца был, как он себя называл, рыцарем революции. А каким бы он стал, если бы остался в живых? Кто знает...

На этих страницах воспоминаний я прощаюсь со своим отцом, но прощаюсь вовсе не с легким чувством. Смею ли я судить его с расстояния 60-ти лет и не изменяю ли я принципу исторического подхода к событиям и к людям? И да, и нет. Но так или иначе, прощаясь с ним, вспомню о том времени, которое остановило его для нас как бы в стоп-кадре, и о том, каким он мне запомнился в этом стоп-кадре, в самые последние месяцы перед концом.

Как-то, уже после этого конца, мы, дети, рассуждали о том, кто как любит родителей (все было кончено, а мы все еще говорили не любили, а любим). И я сказала, что больше люблю папу. Это не соответствовало действительности, но мне хотелось так сказать и значит это имело какие-то подсознательные основания. В то последнее лето, в 1937 году, двенадцати лет, я по-новому взглянула на отца, с близкого расстояния разглядела его — нет, не разглядела, а почувствовала.

Мы ездили на озеро Валдай, где сестра отца тетя Галя с мужем проводили уже не первое лето и сняли помещение и для

нас. Дивное было место. Из города Валдая мы приехали туда на подводе, и последние куски нашего пути к хутору, расположенному почти на самом берегу, лошадь шла по узкой полuzаросшей дороге, так что ветки деревьев и кустов несильно хлестали по лицу. Озеро было огромное и разнообразное. Около хутора суша вдавалась в него острым мысом, там много было огромных валунов, на которые мы любили взбираться. Тут были мои места, сюда по утрам я часто приходила одна. С другой стороны хутора две части озера соединяла узкая «копка», в которой ловили рыбу на спиннинг, иногда и мы сидели здесь с удочками. Левее «копки» озеро было суровым и в плохую погоду даже бурным, а правее на много километров шли тихие-тихие плесы, по вечерам утопавшие в красных закатах. Туда мы ездили на лодке, это было далекое путешествие. У тети Гали была байдарка, и всем, даже мне, давали погрести забавным длинным веслом с лопатками на обоих концах. Димина жена Дина подарила мне красный шерстяной купальный костюм (слово купальник тогда не употреблялось), и я впервые плавала не просто в трусиках. Кругом были грибы, заросли малины. Мама, как всегда, набирала охапки цветов. О туристах тогда и слухом не слыхали, вокруг царила тишина. Иногда мы спали в огромном сарае, на высоком сеновале, раскидывая там простыни, и хотя сено нещадно кололось, ничего лучше нельзя было придумать.

Но у меня осталось отчетливое впечатление, что взрослым в то лето было невесело. Поздними вечерами, когда мы, дети, уже лежали в постелях, мама и тетя Галя о чем-то подолгу говорили, тихо и тревожно. Тревога жила в них постоянно. Мне казалось, что это потому, что мы уезжаем из Кремля, а новой квартиры еще нет.

Вот туда, на Валдай, приехал папа. Это было событие. Приехал с работой, со своей высшей математикой. Все засуетились: где же он будет работать и где спать? Спал он тоже на сеновале, а днем, как ни странно, почти не работал, а гулял с нами. Сохранилась маленькая любительская фотография, где запечатлены папа и я во время поездки на остров, где еще сохранялся тогда действующий монастырь. Мы оба сидим, подняв колени, я босиком, обхватила колени руками и, прищурившись от яркого солнца, смотрю на снимающего. На голове у меня шляпа с широкими полями, купленная на Валдайском рынке. Папа, как всегда летом, во всем белом, на ногах белые туфли. У него была мучительно нежная кожа, и к тому же он страдал экзе-

мой. Тоже шурится в своем пенсне, уши чуть оттопыренные, маленькие усики, руки сцеплены под коленями. Он не обнял меня, я не придвинулась к нему, каждый сам по себе. Я так хорошо помню эту минуту! Я была счастлива, что фотографируюсь с ним, с этим далеким, не очень-то доступным отцом, который снизошел до того, чтобы поехать с нами на остров и даже снялся не с Вaley, а со мной! Я чувствовала себя уже большой и приближающейся к нему. Я совсем не помню содержания наших разговоров в то лето. Но ощущение, что он впервые обратил на меня внимание, чувство только-только зарождающейся дружбы между нами осталось навсегда. Может быть, он оказался бы мне ближе, чем мама? Нет, этого я не знаю. Думаю все же, что нет.

Папу арестовали в ночь на 14 октября 1937 года, в ту же ночь вместе с ним увели и Диму. В последний раз я видела его вечером накануне ареста, когда он вместе с мамой зашел к нам в комнату попрощаться на ночь. Помню, я стала просить купить мне какие-то носки до коленок, какие были у кого-то из девочек в школе. Папа, присевший у стола, рассеянно слушал с иронической улыбкой, совершенно не относившейся к делу. Больше я его не видела.

Но через несколько месяцев мы еще раз вошли в его кабинет. Незадолго до процесса, по которому проходил и он — в качестве свидетеля (великие были сценаристы!), — к нам домой пришли «агенты», несколько человек. Им нужно было взять костюм для отца и книги для него. Список книг — русских и иностранных — был написан его рукой. Пришедшие попытались найти то, что им было нужно, но не смогли. По телефону, висевшему у нас в коридоре, они позвонили куда-то, и на том конце провода с ними говорил сам папа! Объяснил, где искать книги. Но все же им пришлось позвать нас на помощь. Мы с Вaley вошли в ту большую комнату, где четыре месяца назад сидели рядом с папой на огромном диване, и он читал нам «Накануне» Тургенева, где как-то вечером я потихоньку со страхом разглядывала иллюстрации Дорэ к «Божественной комедии», а папа, застав меня за этим занятием, не рассердился (хотя нам и было запрещено трогать его книги без разрешения) и сказал, что придет время и мы будем читать Данте.

Мы полезли на книжные полки, расположенные не только по стенам, но и поперек комнаты, как в настоящей библиотеке. Стоя в полутьме между полок, можно было тайком спрятать

книгу и потом ее унести. Мы захватили и несколько фотографий, в том числе и мою, в возрасте 6-7 лет, стоявшую там. А «агенты» расположились за большим письменным столом и, совершенно не стесняясь нашим присутствием, шарили по поверхности, лазили в его недра. Они заводили патефон. Пластинок было множество, отец привозил их из-за границы. Они лежали горкой и в аккуратных альбомах. Шалапин запел:

Во Францию два гренadera
Из русского плена брели
И оба душой приуныли,
Дойдя до немецкой земли.

Но что же в это время было с отцом? То, что пришли за его вещами почти накануне процесса, свидетельствовало, вероятно, не только о том, что он должен был быть прилично одетым в зале заседаний, но, может быть, и о том, что он все же не так легко на все согласился — иначе зачем было исполнять его желание относительно книг!

Мы довольно быстро нашли его след в тюрьме и, как и маме, и Диме, регулярно передавали ему деньги — раз в месяц, кажется. И мы все время верили в то, что он вернется! После бухаринского процесса мы, дети, отправились втроем в контору на Кузнецком мосту. Помню, в небольшой приемной мы сидим среди других посетителей. Все передвигаются со стула на стул вдоль стен, по очереди приближаясь к заветной двери. Старушка, сидевшая рядом, наклонилась ко мне и тихо сказала: «Мы двигаемся, как в какой-то вашей игре, кажется, “холодно-горячо”? Только тут печальная игра». В этот день нам сообщили приговор — 10 лет без права переписки. Мы были ошеломлены — ведь он был свидетелем. Разве свидетелям выносят приговоры, как обвиняемым? Потом стали себя утешать: десять лет — еще не вся жизнь! В 1956 году вернувшиеся из лагерей объяснили, что такова была формула расстрела. Его расстреляли немедленно после вынесения приговора, 1 сентября 1938 года.

Обвинительное заключение было такое:

«Осинский-Оболенский Валериан Валерианович, р. 1887 г., уроженец бывш. Курской губ., служащий, с высшим образованием, гражданин СССР, женат, бывший член ВКП(б) с 1907 г., исключен из ВКП(б) за антисоветскую деятельность, до момента ареста директор института истории науки и техники

- а) является активным участником контрреволюционной организации правых, проводившей борьбу против партии и Советской власти
- б) разделял установки правых на поражение СССР в войне с фашистскими государствами
- в) являлся эмиссаром правых по связи с руководящими деятелями буржуазных правительств
- г) являлся сторонником совершения террористических актов против руководителей партии и Советского правительства
- д) руководил вредительской деятельностью в аппарате ЦУНХУ и комиссии по урожайности,

то есть виновен в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58-8, 58-11 УК РСФСР. Вследствие изложенного Осинский-Оболенский В.В. подлежит преданию суду Военной коллегии Верховного суда Союза ССР с применением закона от 1 декабря 1934 г.»

Этот закон предусматривал немедленное приведение в исполнение приговора.

На суде, который не мог продолжаться более десяти минут, председательствовал «арм-военюрист Ульрих». Следователи, которые вели дело отца — Герзон и Коган, — были расстреляны в 1938 и 1939 годах; как говорится в материалах о реабилитации отца, оба за фальсификацию следственных дел и применение недозволенных методов в ходе следствия.

Никогда никто не узнает о его конце. О чем он думал в последние часы и минуты жизни? Тосковал ли о близких, жалел ли их? Проклинал ли свое прошлое, своих мучителей, вселенского изверга Сталина? Испытывал ли угрызения совести? Стали ли для него друзьями его тюремные товарищи, поддерживали ли они друг друга? И каковы были для него ужасы суда, где он свидетельствовал против друга своей молодости Бухарина и говорил, что знал о плане убийства Ленина, его любимого Ильича, знал и не попытался помешать, не донес. Верил ли еще в свою партию, в свои прежние идеалы? И, наконец, что довелось ему испытать и как он умер, как встретил смерть? А хочу ли я получить ответы на эти вопросы? Не знаю, ответы могли бы разорвать душу. Нет, никогда не узнаю, никогда и ничего...

Эпилог детства

И вот наступили последние для нашей семьи времена. Летом 1937 года, когда отца вывели из состава кандидатов в члены ЦК, нас выселили из Кремля в дом правительства на улице Серафимовича. Он был построен в начале 30-х годов XX века для работников СНК и ВЦИК по интересному, обгонявшему свое время проекту архитектора Б.М.Иофана. Впоследствии Юрий Трифонов даст ему имя Дома на Набережной, а тогда его называли домом правительства. Предполагалось, что это будет прообраз будущего социалистического жилого комплекса. В орбите этого дома было все, что необходимо для культурной повседневной жизни, — универмаг, столовая, где могли пообедать жильцы или взять продукты «сухим пайком», парикмахерская, клуб (там, где теперь театр Эстрады), кинотеатр («Ударник»), отделение связи, сберкасса, детский сад, ясли. Увы! В прекрасно задуманном Доме, прообразе счастливого социалистического будущего, нашли свое воплощение страшные его черты. В 30 — 40-е годы из двух тысяч жильцов Дома на Набережной семьсот были репрессированы, из них больше двухсот мужчин и женщин расстреляны. Таковы сведения, которые приводит музей Дома на Набережной.

Мрачная серая громада, будто специально для того построенная, чтобы предупредить здесь живущих, что им несдобровать. Невеселые сумрачные дворы, где мы никогда не играли. Скандитерской фабрики «Красный Октябрь» доносились сладкие запахи, во дворе продавали новое мороженое, двухслойные брикеты в вафлях. В кино мы смотрели первые фильмы 30-х годов — «Чапаев», «Аэроград», «Веселые ребята», «Цирк», «Дети капитана Гранта», «Новый Гулливер», «Пятнадцатилетний капитан». Все насвистывали и напевали: «Капитан, капитан, улыбнитесь...» или «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер!» А все равно было невесело и тревожно.

Сначала мы въехали в квартиру № 18, уже тесную для нашей большой и еще выросшей с женьбой Димы семьи. Это была квартира арестованного комкора Корка. Мама положила меня спать на кровать самого комкора. Кровать — красного дерева. До сих пор мы спали на железных никелированных кроватях. Но эта, красного дерева, пленила мое воображение. И когда очень скоро нас переселили в другую, более просторную квартиру, то по моей просьбе и просьбе Насти, считавшей

своим долгом потакать всем моим прихотям, мама распорядилась взять эту кровать для меня и туда! Так она у нас и называлась кроватью комкора Корка. Я, конечно, решительно не понимала того, что творилось вокруг, однако, «буржуйство» было налицо. Не могу спокойно вспоминать это! Не помню, знал ли об этом папа. А мама сделала это, зная судьбу владельца кровати, предчувствуя, может быть, и свою судьбу.

Здесь самое время сказать то, что мне хочется сказать с самого начала, что я обдумала и сформулировала давно, а когда — не помню. Это жестоко, ибо то, что случилось, стоило жизни моим любимым близким, стоило больших страданий и мне, искалечило мою жизнь, но я счастлива, что судьба грубо, с корнем вырвала меня и братьев из этой жизни и бросила в совсем иной мир.

Из квартиры Корка нас переселили в квартиру недавно арестованного А.И. Рыкова. Когда вошли на кухню, на столе стояла неубранная чайная посуда, а на большом заварном чайнике красовалась надпись:

*Дорогому Алексею Ивановичу Рыкову
от рабочих Лысьвы*

Кабинет бывшего хозяина был опечатан; сургучную печать на его двери мы как-то раз чуть не сорвали в беготне по коридору.

До ареста родителей и брата Димы оставалось четыре с половиной месяца. Я не могу себе представить, что испытывали родители, обитая в квартире сначала Корка, затем — Рыкова. Трудно понять, как согласились они вселяться туда. Аресты валили валом. Отец не мог не понимать, что Сталин не обойдет его своим вниманием. Ему удалось отойти от партийно-государственной работы. В 1934 году одновременно с Бухариным он был избран академиком по экономическому отделению АН и в 1937 году стал директором Института истории науки и техники АН СССР. Но как это произошло! В директорском кресле он сменил Бухарина, потому что Бухарин был арестован! Кольцо сжималось. Усатый играл с ними в кошки-мышки.

В музее Дома на Набережной сказали, что в нашей квартире вряд ли жила после нас какая-либо семья. Ее, кажется, обратили в подобие общежития для сотрудников НКВД. Может быть, они отдыхали там от своей славной работы? Работы было много...

Квартира была на десятом этаже с видом на реку. Весной

хорошо было наблюдать ледоход — он тогда был самый настоящий — большие льдины сталкивались, громоздились друг на друга, ломались с глухим треском. Мы валились животами на подоконники, следили за нескончаемым движением. Окна были во всю стену.

Даже сейчас, когда я еду на троллейбусе мимо этого дома, я поднимаю глаза: светится ли в этих окнах огонь, открыты ли рамы? Мне так хочется туда войти! Подняться на десятый этаж, позвонить: «Я когда-то здесь жила, позвольте мне войти в комнаты». Неужели ничего не осталось там от прошлой жизни? Вдруг цел еще мой маленький письменный стол или наш высокий книжный шкаф и в углу под окнами стоит диван, на который поздно ночью укладывалась Настя? Вдруг в папином кабинете по-прежнему стоят поперек комнаты книжные полки и по стенам книги выстроены до потолка? Вдруг я найду среди них любимое английское издание «Песни о Гайавате» с тонкими акварельными иллюстрациями, скрытыми шелковой папиросной бумагой! Вдруг стены оклеены пленявшими меня обоями под шелк, бледно-бежевыми с рисунком, изображавшим камыш! А сколько раз мне снился один и тот же сон, будто я приезжаю на дачу в Барвиху, вхожу в дом, то пустой, то возвращенный нам, то принадлежащий другим людям; можно взять любимые вещи, я их ищу, не нахожу, и все там другое...

Арест

В ночь на 14 октября 1937 года (все последующие, теперь уже 60 лет никогда не пропускала в памяти этот день!) я проснулась оттого, что мама села ко мне на кровать и положила руку мне на плечо. В комнате горел свет, казавшийся необычно ярким и голым, братья сидели в постелях и с непроизвольным тупым вниманием следили за действиями двух-трех человек, рывшихся в наших детских книгах. «Тихо, — сказала мне мама, — лежи тихо, папу и Диму арестовали». Я замерла, подавленная полупонятными словами, тоже села и принялась следить за обыском. «Агенты» вели его тщательно, не торопясь; пролистывали или перетряхивали каждую книгу и с удовлетворением разглаживали и складывали на столе попадавшие в книги бумажки — записки, должно быть. Находки вызывали у них радость. Потом стали выдвигать ящики наших столов, перерыли

в них все и завершили обыск тем, что, не предлагая нам встать, подняли на каждой кровати матрац с двух сторон — в головах и в ногах, проверяя, очевидно, не спрятано ли что-то и здесь. Мама сидела с каменно-презрительным выражением и, когда они вышли, встала, потушила свет и вышла из комнаты. Мы молчали немо. Я заснула.

В ту же ночь у Диминой жены Дины, три недели тому назад родившей сына, пропало молоко, утром она бродила по комнатам полуодетая, непричесанная, в слезах. Помню, мы с ней стоим в ванной, и она, еле сдерживая рыдания, говорит: «Как я любила песню “Широка страна моя родная!” Помнишь: “Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек?” А теперь...»

Дина рассказала мне: ночью мама, спавшая в своей комнате, на противоположном от папиного кабинета конце коридора, проснулась от вспыхнувшего в прихожей яркого света. Она выбежала туда полуодетая, не понимая, что происходит. К дверям вели отца. «Прощай! — крикнул он, — продавай книги, продавай все!» Некому было продавать, да и нечего. Маму арестовали через три дня, отцовский кабинет опечатали в момент ареста, выносить что-либо из квартиры запрещалось. Те, кто пришел за отцом, вошли в квартиру без звонка, открыв дверь своим инструментом. Теперь они спешили увести его к лифту. Диму уже увели. Мама вошла в его комнату. Дина держала на руках малыша. «Екатерина Михайловна, — зарыдала она, — ведь Валериан Валерианович поможет Диме?» Она не знала, что арестовали обоих...

Вот что было записано в протоколе обыска, подписанном мамой и сохранившемся в деле отца:

Изъяты 5 американских долларов, иностранные монеты, револьвер и патроны, мелкокалиберная винтовка, мелкокалиберный карабин, ружье-однотоволка, две пишущих машинки, бумаги разные, дипломатические паспорта.

А у Димы в комнате разворачивали конфеты в вазочке, рассчитывая, вероятно, найти в бумажках секретную информацию.

Наутро после ареста отца мама лежала с тяжелой головной болью и вставала только к телефону. Ответы ее были короткими, впрочем, телефон звонил все реже, реже и, наконец, умолк. Пришла бабушка Екатерина Нарциссовна, мамина мать, и Вера

Михайловна, мать Дины. Жизнью руководила Настя. В школу мы в этот день не пошли.

Через три дня, в ночь на 17 октября 1937 года, арестовали маму. Обыска не было. Она поцеловала нас, я ее никак не отпускала. «Вы же знаете, что я ни в чем не виновата, — громко сказала мама, когда с трудом расцепила мои руки на своей шее, — все выяснится. Я скоро вернусь!» Я плакала навзрыд, мальчишки, как и три дня назад, молча сидели на кроватях. Прощаясь с Ремом, она сказала ему, что меня и Валю заберут к себе наши тетки — сестры отца, а ему придется отправиться в детский дом. Все повернулось иначе.

Мама еще не раз появится на страницах моих воспоминаний, но я прощаюсь с ней сейчас, ибо никогда уж не суждено мне было любить ее непосредственно, не размышляя, так, как любят в детские годы, и в знак прощания я сделаю отступление о ней. Я не могу написать о маме иначе, чем это вылилось из души в дни двадцатилетия ее смерти, в 1984 году.

ПЕРВОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

О МОЕЙ МАТЕРИ

Ах, Марина, давно уже время
Да и труд не такой уж ахти
Твой заброшенный прах в реквиеме
Из Елабуги перенести...

Хотелось бы мне достойно сделать то, о чем так пронзительно написал Пастернак. Кроме меня, кто же воскресит навек ушедшие черты моей матери? Но и я не могу этого сделать по-настоящему — хотя бы потому, что для этого, наверное, я должна была бы любить маму гораздо больше. А мне теперь, когда я гляжу в прошлое, думается, что я не любила свою мать. В детстве? В последнем детстве — лет восьми-двенадцати — не могу вспомнить по-настоящему теплого чувства, а скорее напряженное внимание к тому, как она относится ко мне, интерес к ней и часто — мое отталкивание. Но отчасти все это, наверное, позднейшие искажения. В юности — не любила точно, но полагаю, что это оттого, что восемь лет прошли без нее

и под большим влиянием других, горячо любимых мною людей. Преодолеть влияние разлуки при всем желании – моем и мамином – оказалось невозможным. Такова судьба многих близких людей, разлученных в то беспощадное время.

Юность моей матери, Екатерины Михайловны Смирновой, в замужестве – Оболенской-Осинской, была нелегкой. Отец мамин был прожектор и неудачник. Участие в каком-то акционерном обществе разорило его, в конце жизни он был мелким чиновником. Мать ее умерла очень рано, а отец женился трижды – на сестрах. Третья, младшая сестра – сдержанная, суховатая, но верная и заботливая, не ведавшая страха женщина воспитала всех детей – одного своего и четверых от предыдущих браков.

Мама была красивой женщиной – об этом говорили все, кто ее знал. Высокого роста, прямая (до самой смерти, когда уже почти не могла передвигаться самостоятельно, сидела в кресле прямо, не сгибая спины никогда), полная в средние свои годы, но стройная. Правильные черты, темные каштановые волосы на прямой пробор и сзади низкий мягкий узел, темные глаза. Она была очень быстрая, живая, легкая, остроумная, выдумщица.

А между тем детство и юность ее не были безоблачно счастливыми. Отец был далек, мачеха строгая. Мама очень дружна была со своим братом Владимиром, родным и по отцу и по матери. Рассказывала, как в ранней юности они, когда мачеха казалась слишком уж нематерью, вдвоем уходили с собакой далеко за город, в излюбленное пустынное место (а загород был – Кунцево!) и до поздней ночи сидели там, обнимая пса. Мама всячески помогала Володе в его трудные годы. Когда в 1927 году Володю и его жену арестовали и отправили в ссылку, мои мама и папа взяли к себе его сына Рема, который у нас и вырос.

Мама не была счастлива в любви. Влюбившись в моего будущего отца, у которого была уже невеста, отбила его, вышла замуж, родила четверых детей (один умер в младенчестве) и всю жизнь мучилась от его неверности. Отец любил мою маму, но не скрывал, что полюбил и долгие годы любил и другую женщину, не покидал ни одну, ни

другую. Мама не раз пыталась расстаться с ним. Один раз ушла от него, уехала со старшим сыном, но потом – вновь примирение, и все опять по-старому. Муж с годами становился довольно тяжелым человеком: все туже сжималось кольцо страха – всех арестовывали, и когда в Доме на Набережной нас вселили в квартиру Рыкова с опечатанным кабинетом, маме, я думаю, было ясно, что скоро здесь опечатают еще одну.

Но в зрелую пору жизни мама не была, конечно, по-настоящему несчастливой. Она любила свою семью, детей. Дима, взрослый сын, очень любил и радовал ее. Она дружила с его друзьями. Безумно любила она, как и отец, среднего сына Валерьяна, а меня – меньше. Сама рассказывала мне: ждали девочку, красивую – в уверенности, что от красивых родителей дочь будет красавица, а родилась почти уродка (в раннем детстве уж очень, говорят, я была нехороша собой), характер скверный, в отличие от братьев, капризная, «буржуйка». Валя был совсем не такой. В нем был органический демократизм, который счастливо проявился и помог ему в детском доме, где для меня первое время было пыткой.

Мама была очень увлечена своей работой в последние годы. Она окончила гимназию, а в советское время – Институт красной профессуры. Знала французский и немецкий языки и обладала широкой общей культурой, отличным литературным вкусом и знанием литературы – прозы и поэзии. После революции она работала в советских учреждениях, в комиссии помощи голодающим, одно время – в редакции «Правды», а в последние годы была заведующей дошкольным отделом Детиздата. Основала серию «Книга за книгой», в которой вышли одни из первых в советское время изданий классиков русской литературы для малышей. Она дружила с Маршаком, Чуковским, Гайдаром, Фраерманом, Германом, Роскиным.

Однажды Чуковский провел у нас целый летний день на даче, с увлечением читал вслух «Страну Муравию» Твардовского, восторженно восклицая, что это родился новый поэт, а потом вместе с нами, детьми, отправился купаться на речку и долго лежал на берегу, рассказывая нам содержание будущего своего «Серебряного герба» и спрашивая, интересно ли это нам. Он был удивитель-

но свой, можно было говорить решительно обо всем с полной легкостью. Правда, лет десять спустя, в 1947 году, когда я, студентка, пришла в редакцию журнала «Знамя» к С.Д. Разумовской и в комнату вошел Чуковский, и Софья Дмитриевна дважды громко сказала ему, указывая на меня: «Корней Иванович, а это дочка Екатерины Михайловны Оболенской», он не обернулся, сделав вид, что не расслышал!

Мама была страстной театралкой. У нас бывал Рубен Симонов. Новый, 1937 год у нас встречали Николай Олейников и совсем еще молодой Ираклий Андроников, с которыми мама познакомилась и подружилась в Детиздате. Нет, исключительной горестности в тогдашней ее жизни не было.

Была ли мама подвержена перерождению, охватившему всех, кто в условиях общей нужды жил безбедно? Отчасти да, отчасти нет. Нет – в силу свойств натуры: была она безалаберная, беспорядочная, материальными благами по-настоящему не дорожила (может быть, впрочем, потому, что они у нее были в избытке). Именно поэтому никакого крепкого богатого дома у нас быть не могло. Вечно не хватало простыней и у кого-нибудь оказывались рваные трусики. В окружавшем ее великолепии она ценила, я думаю, главным образом то, что можно было без труда приобщаться к духовным благам. Но было и да: к роскоши она все же была равнодушна. Устройство дачи на широкую ногу – в значительной мере ее дело. Привычка к прислуге странным образом влияла на ее поведение в старости, когда она, больная и совсем беспомощная, делала грубоватые замечания домработнице, выдвигала неисполнимые требования и говорила: «Вы у меня служите...»

Маму арестовали, когда ей было 48 лет. Она почти ничего не рассказывала о тюрьме и лагере, не хотела рассказывать ни мне, ни другим. Кажется, многие испытали гораздо больше, чем она, ей повезло. Но восемь лет, проведенные там, сломили ее, она вернулась совершенно иной, чем знали ее до ареста, и только бледные отблески прежнего блеска виделись в ней. Те, кто ждал ее возвращения к прежней живой жизни, были разочарованы –

не было в ней жизни, а только желание как-нибудь прожить. «Раз живем, надо жить», – говорила она часто, и в этих словах звучали горечь и безнадежность.

Вот что я помню из ее очень скупых рассказов о тюрьме. В Бутырках, в камере, женщины лежали ночью на полу так тесно, что поворачиваться с боку на бок можно было только всем вместе. Рассказывала о женщине, которая, войдя в камеру, сторонилась всех, как прокаженных, и без конца повторяла, что она – не то, что все остальные здесь, – ни в чем не виновата. А вернувшись после первого же допроса, без единого слова забилась в угол и молчала, глядя в пространство стеклянными глазами.

Знаю от мамы еще вот что. В 1938 году, незадолго до бухаринского процесса, ее вызвал следователь и предложил ей помочь следствию по делу Бухарина и его сообщников. Пусть она уговорит мужа выступить на процессе, как надо. Ее повезут к нему, переодев в вольное платье. Она скажет ему, что свободна и дети с ней. Следователь обещал ей за это сведения о детях, обещал привезти письма и фотографии детей и внука. Действительно, в эти дни к нам пришли очередные агенты, взяли наши фотографии, каждому разрешили написать маме письмо, что мы и сделали. Но мама знала аналогичный случай – женщину, полубезумную от муки, от необходимости, перебивая себя, лгать, много раз возили таким образом на свидания к мужу, каждый раз переодевая и заставляя притворяться свободной. Мама отказалась. Тогда следователь предложил ей написать мужу нужное письмо – и он отдаст ей фотографии и письма детей. Она написала, но не сказала прямо того, что требовалось, и следователь в негодовании порвал ее письмо. Другого она не написала. Увы, из памяти моей изгладилось, показал ли он ей наши письма, и хоть велико искушение написать, что нет, не показал, не погрешу против возможной истины, не помню.

Это были единственные вызовы мамы к следователю. Без всякого дела и без суда ей как ч.с.и.р. (для тех, кто не знает, – член семьи изменника родины) дали срок восемь лет лагерей и отправили сначала в Мордовию, в Потьму, в лагерь, где поначалу она занималась не только шитьем, но даже вышивкой – среди привилегированных жен.

Там, в этом лагере, ее и нашло наше письмо. По чьему-то совету мы послали письмо и посылку по известному другим адресу лагеря в Потье, на имя мамы. И все это дошло! Тогда мама узнала, что мы в детдоме (Дина, вероятно, из осторожности, не сделала этого сама, а наказала сделать нам), и стала нам писать – каждому отдельно, и мы тоже отвечали ей – каждый отдельно. Как я ждала ее писем! И в детдоме в Шуе, и потом в Ардатове, у родственников, и потом в Москве. Долго хранила эти письма большой мятой стопкой. А потом все сожгла! В этих письмах мало было сведений о лагерной жизни; мама рассказывала только о людях, с которыми свела ее лагерная судьба, и то очень скупое. Но письма были большие. Они состояли из вопросов, советов, беспокойства, и это были беседы обо всем. Письма были отчасти и литературные. Множество стихов посылала она мне в поздних своих письмах, когда я выросла и осталась единственной ее корреспонденткой. Это были стихи Тютчева, Брюсова, А.К. Толстого, Блока, особенно любимого ею Бунина, Ахматовой, Гумилева, Саши Черного.

Мы двое, брошенные в трюм,
В оковах на полу простертые.
Едва доходит в глубь мертвые
Далеких волн неровный шум.
Прошли мы ужасы суда,
И приговоры нам прочитаны.
И нас влечет корабль испытанный
Из мира жизни навсегда.
Зачем же ты, лицом упав
На доски жесткие, холодные,
Твердишь про области свободные,
Про воздух гор и запах трав...

«Прошли мы ужасы суда... – мама часто повторяла эти строки Брюсова и тогда, когда уже вернулась, – и приговоры нам прочитаны...» А я узнала это стихотворение из ее письма, и стихи Гумилева я знаю на память по ее письмам. И Саша Черный:

В жизни так мало красивых минут,
В жизни так много безверья и черной работы...

Так ли воспроизвожу эти стихи? Не хочу проверять.

Я не люблю ни Гумилева, ни Сашу Черного, ни Брюсова. Но меня охватывает волнение: я снова погружаюсь в далекий мир моей горькой и бездомной юности. Почему мама писала именно эти стихи? Стихи ее молодости? Или она знала, что мне негде их прочесть? Или же там, в лагере, эти стихи читали вслух?

В Потье мама пробыла недолго. Привилегированные эти лагеря ликвидировали, а ее отправили в Карелию, в пушхоз, где она попала уже на общие работы. Правда, это был не лесоповал, а работа в поле. Здесь, прямо в поле, у нее началось однажды ужасное кровотечение, и ее увезли в лазарет, а там по выздоровлении врачи уговорили ее сдать экзамен на медсестру, помогли это сделать и тем, наверное, спасли. Она осталась в лазарете и вместе с ним ушла на этап, когда их по реке, на барках, отправили на Урал, в Соликамск. Там, в 20-ти километрах от города в лагере Нижне-Мошево, она и пробыла большую часть своего срока, работая в лазарете. Подружилась с другими сестрами, с врачами, которые, как могли, поддерживали их. И до самой ее смерти продолжалась ее тесная и сердечная дружба с одной из лагерных подруг.

В 1944 году я приехала к маме на свидание, осуществляя намерение погибшего брата Вали. Когда глубокой осенью 1941 года я написала маме, что от Вали с фронта нет больше писем и что на мой запрос ответили, что в списках убитых, умерших от ран и пропавших без вести он не числится, она ответила не сразу. Потом прислала короткое письмо – жалела меня за то, что мне суждено сообщать ей тяжкие вести. Потеря Вали, я думаю, нанесла ей непоправимый удар. Именно от него она, наверное, не смогла оправиться душой.

Как я добралась в Соликамск одна, девятнадцати лет, во время войны? До Перми ехала даже с комфортом, на второй полке, по соседству с симпатичными женщинами. В Перми пересадка на Соликамск. Я ее не помню, но думаю, что это было похоже на все посадки в поезд того времени: ад! Давятся не на жизнь, а на смерть – не в переносном, а в прямом смысле слова. Наличие билета вовсе не гарантирует, что поедешь, а если поедешь, то в проходе, сидя или лежа на полу, меж чужих чемоданов и

узлов, а через тебя ступают. От Перми до Соликамска – в тамбуре вагона, по милости каких-то солдат, которых я совершенно не боялась, в голову не приходило, что может что-нибудь случиться, а раз мне не приходило, то, может быть, и им тоже, а может быть – жалели.

И вот я в неуютном Соликамске. Лето уже, а хмуро. Пришла к сестре маминой подруги по лагерю. Она недавно освободилась, работает в городе, кое-как устроена, имеет комнату, довольна. Ее сестра Эсфирь тоже отсидела свой срок, но живет при лагере и работает в лагерном лазарете уже по вольному найму старшей сестрой. Через день я иду в Нижне-Мошево пешком двадцать километров безлюдной лесной дорогой, ничего не боюсь. Эсфирь живет со своей матерью в крошечной комнате. Принимают меня радушно, расспрашивают обо всем. Очень любят маму. Она будет приходить сюда для того, чтобы якобы делать Эсфири какие-то процедуры. Еще до ее прихода, организовать который не так-то просто, меня посылают на крыльцо вытряхнуть половики, а на самом деле – показать маме, смотрящей из окон лазарета.

Когда мама пришла в первый раз, мы обнялись и стояли молча с минуту. Эсфирь плакала. Но уже в эту минуту я ощущала в себе, а, может быть, и в маме? – фальшь! Мы не виделись семь лет. Я так далека от нее, все мои интересы в Москве, где я учусь в институте, там дружба, казавшаяся необыкновенной, там отчаянная, безнадежная, но яркая влюбленность, там увлекательная работа в семинаре по античной истории, мой доклад о тирании Писистрата – я об этом докладе говорю маме и Эсфири и вижу, что они просто недоумевают, а мама осторожно спрашивает: «А это интересно кому-нибудь, кроме тебя?» Я чувствую, что все это, поглощающее меня целиком, им не интересно, восторги мои непонятны и не могут быть понятны, о своих делах и чувствах я не хочу, сразу поняла, не хочу говорить, раз им все равно! У меня свой молодой, далекий, свободный, эгоистичный мир, совсем не счастливый, но все-таки полный. Наверное, им, лагерникам, все это представлялось просто безумием – то, чем я живу, чем восхищаюсь. Тирания Писистрата... Мама приносила из лагеря (!) какую-то еду, какие-то вещи для

меня – тяжелые заграничные мужские полуботинки (мы их потом называли кандалами), тапочки на веревочной подошве, сшитые заключенным-китайцем.

Не помню, сколько дней провела я у Эсфири, помню только, что мне хотелось уехать. И отчетливо помню официальное свидание, которое пришлось осуществить для проформы. Разрешение было получено еще в Соликамске, в каком-то окошечке, расположенном выше человеческого роста. Хмурый человек со стертыми чертами высунулся из него, чтобы с любопытством, слабо отразившемся на его безразличном лице, взглянуть на девчонку, приехавшую из Москвы ради тридцати минут в присутствии свидетеля. На проходной, в тесном и полутемном помещении, через которое кто-то действительно поминутно проходит, в присутствии конвоира, пришедшего с мамой, я передаю ей привезенные мною вещи, и конвоир перетряхивает какое-то жалкое белье. Говорим решительно не помню что. И вдруг я начинаю плакать, с каждой минутой все сильнее, неостановимо рыдаю – наверное, от унижения, от всей живущей в подвальном этаже моей души боли и ужаса. Плачу так, что и мама хочет, чтобы это поскорее кончилось.

И вот я ухожу и с облегчением спешу 20 километров обратно в Соликамск, а там снова в поезд, в Москву, домой, ко всему, что составляет жизнь и в ней свои, отдельные от мамы и непонятные ей радости и огорчения. И жизнь продолжается, идет катастрофически отдельно.

1945-й год, окончена война, кончен и мамин срок. Весной 1946 года за ней в Соликамск едет Рем. Поселок при лагерном лазарете ликвидируют, и всем надлежит уезжать. Ей этого не хотелось, она работала теперь вольнонаемной, в лазарете все свои. Совсем неплохое общество по-настоящему близких людей, какое-то обеспеченное все же существование. А мы – я, студентка 3-го курса, Рем, только что вернувшийся из армии, Дина с девятилетним сыном на руках. Жить в Москве можно только тайно. И где? Там, где живу я, у папиного брата Павла? Так невозможно было это, и нежеланна она была здесь. У знакомых – долго ли протерпят? А на что жить, как работать, где? Мне учиться еще полтора года.

Ночь перед ее приездом я провела у старой секре-

тарши отца, которая жила в переулке на Рождественке, чтобы еще ночью идти пешком на вокзал к поезду, прибывавшему до рассвета. Вижу, из вагона выходит какой-то неузнаваемый Рем, бледный, с траурным выражением лица. За ним мама, гораздо бодрее его. На одной из первых после Перми станций, выйдя из вагона, Рем непонятным образом потерял все свои и ее документы, главное – справку об освобождении, на основании которой следовало получить паспорт. Ужас! Но, как ни странно, этот вопрос уладился без особых трудностей, когда мама уехала из Москвы, а в Москве так или иначе приходилось жить нелегально.

Очень скоро стало ясно, что мама никому не нужна и лучше ей как можно скорее уехать. Без прописки, без права жить в Москве, без работы, на подачки – как жить?

Наконец, маме выхлопотали место учетчицы на молокозаводе под Угличем, и она отправилась туда. В начале 1947 года я побывала у нее. Холодная зима. В длинном бараке со слепыми окнами у нее крошечная комната. За стенами соседи, и слышно все, что там делается. За дверью беспрерывно кто-то ходит, ругаются матом, в темном коридоре дерутся пьяные. А в комнате мы с мамой. Поздний вечер, она на топчане, я на полу. Тепло и полутемно. Я прошу ее рассказать мне о прошлом, об отце, о лагере, но вижу, что ей смертельно не хочется, мы больше говорим о книгах, о моем ученье. Когда она уходит на работу, я читаю учебник для медсестер, с которым она не расстается, – по нему она в лагере сдавала экзамен. Я боюсь быть одна – кругом мужики, грязь, непонятный шум. Когда приходит пора уезжать, мама провожает меня на санях, на которых кто-то едет с завода в Углич. Обратно, километров пятнадцать, ей предстоит добираться одной, а она никогда не управлялась с лошадью. Но она не боялась, просто пустила лошадь, и та шла сама, зная дорогу. Вскоре из-за неладов с начальством ей пришлось уехать. И снова она скиталась по Москве, по Подмоскovie, жила у знакомых, пыталась устроиться где-нибудь попрочнее. Ничего не выходило.

Наконец, осенью 1947 года я кончила институт. Уже выяснилось, что меня не примут, как мечталось, в аспирантуру, но мой учитель А.З. Манфред предпринимал

безнадежные попытки устроить меня в Москве. Мама попросила меня познакомить ее с ним. Я сделала это после его лекции в Политехническом музее, он галантно склонился перед ней, пожимая ей руку, и пригласил домой. Я не представляла себе, о чем они говорили. «У вас очень красивая мама!» – сказал он мне тогда, а лет через двадцать, когда мамы уже не было в живых, признался, что она просила его не пытаться устроить меня в Москве, боясь, что обо мне опять вспомнят на Лубянке, считала, что самое лучшее для меня – уехать в глушь.

При распределении мне предложили два места – Лотошино под Волоколамском и Великолукская область. Не помню, по каким соображениям я отвергла первое, хотя это и было близко от Москвы. А мама огорчилась – в молодости она жила в Лотошине воспитательницей маленькой девочки в милой семье и вспоминала об этом как о чем-то очень светлом – природа, люди... Думаю, впрочем, что в 1947 году под Волоколамском красоты было немного. Я отправилась в Великолукскую область. В маленький поселок Западная Двина, где я, работая в школе, сняла крошечную комнату, и ко мне приехала мама, чтобы жить постоянно со мной.

Какое это было облегчение! Напротив маминой железной кровати мы поставили привезенный из Москвы бабушкин деревянный сундук, постелили на него самодельный матрац из тряпок, под ноги поставили два чемодана, и вышло второе ложе для меня, и сколько же оно нам служило! Сундук этот я в 1961 году в Москву привезла! Через год нам дали комнатку в доме для учителей, еще меньше той, что мы снимали прежде. Но это была наша комната с собственной печкой, которую можно было топить, когда захочешь, не ожидая милости хозяев.

Но снова: что делать маме, как жить? На мои деньги – 600 руб. в месяц – не проживем, а работать – куда же ее возьмут? В первые наши западнодвинские осенние месяцы мама два раза занималась копать картошку. Денег не заплатили, но дали мешок картошки, и как же это было кстати! Раз живем, надо жить – повторяла мама, и стали мы жить. В школе мне вскоре увеличили нагрузку, соответственно увеличилась и зарплата. Мама не работала. Иногда она уезжала в Москву к знакомым, и там ей уда-

валось подзарабатывать. Однажды она целое лето прожила на даче у подруги, готовя еду на большую семью.

Наши отношения были тогда более или менее терпимыми. Мама знала все мои дела; когда приходили мои ученики, она любила с ними поговорить. Мы учились вязать, играли с ней в ее любимые литературные игры, вместе ходили в кино. Помню, как смотрели итальянский фильм «Похитители велосипедов». Мы жили очень оторванно от Москвы, ничего не знали ни об итальянском кино, ни о неореализме, мы просто пришли в этот вечер в кино. Когда сеанс кончился, мы обе сидели молча, в слезах. Многие зрители ушли еще в середине, а те, кто остался, смотрели на нас с удивлением: большинству фильм не понравился.

Наконец, маме удалось устроиться на работу, регистратором в поликлинику. Это была большая удача и плод немислимой смелости нового главного врача, который, зная о маме все, все-таки взял ее. И не пожалел – она всегда была прекрасным работником. Было нелегко и нервно: карточки терялись, по вине ли врачей и сестер, а отвечала за все регистраторша. Но мама была счастлива, что зарабатывала сама, имела в поликлинике какое-то общество, могла меня устраивать к врачам. Она сидела в белом халате, в очках, за перегородкой регистратуры и вежливо, хотя и решительно, разговаривала с посетителями; с начальством была совершенно спокойна и равна, без всякой искренности. Она проработала в поликлинике несколько лет, пока у меня не родилась дочка. Тогда ушла с работы, чтобы нянчить внучку.

Говорили ли мы с мамой о том, что происходит вокруг? Наверное да, но это совершенно выпало из моей памяти. Помню только, что когда умер Сталин, все мы в школе были в шоке, и я, как и все, была охвачена тревогой относительно того, как станем жить без отца родного. Мама слушала меня и с поразившей простотой и уверенностью сказала: «Да ведь это замечательно, что он умер». До этого она, хотя и осмеливалась ездить в Москву, жила в постоянном страхе. Однажды мы с ней решили через местную милицию запросить власти о судьбе папы и Димы. Ведь объявленный нам срок их заключения давно

кончился. Подали заявление. Вскоре маму вызвали в милицию и сказали с некоторым сочувствием, что сведений нет и не будет. «И никогда, понимаете, никогда не обращайтесь с такими запросами. Вы поняли?» – многозначительно сказал ей милиционер, знавший конечно, что она бывшая заключенная. Ни она, ни тем более я не поняли тогда до конца смысла его слов, мама только очень испугалась. А смысл их состоял в том, что не следовало обращать на себя внимания – в то время как раз сажали по второму разу...

Няньчить внучку маме не пришлось. Она уволилась с работы, но почти на следующий день слегла. В тот день ей с утра казалось, что пол в комнате вымазан чем-то липким, и нога скользит. А днем, помню, стоя спиной ко мне, она гремит рукомойником, моет руки. И вдруг падает на спину навзничь, как подкошенная. Мы бросились к ней, не понимая, в чем дело. А ведь были предупреждающие звонки: однажды она на несколько часов потеряла способность говорить. С трудом подняли ее и положили на кровать. Боже мой, и речь нарушена. Инсульт...

Дальнейший рассказ о маме – это уже и не о ней, а о другом человеке, в котором никто не узнал бы прежнюю давних лет блестящую или даже последних лет умную и печальную женщину. Судьба не была снисходительна к ней и в последние годы жизни. Реабилитация, произошедшая в 1955 году, дала ей безбедное существование, жилье в Москве, возможность снимать дачу в Подмосковье, о чем она всегда мечтала. Но любимые ее близкие все были в могилах, к тому же безвестных. Была дочь, но не любящая, раздражительная и невнимательная.

Уже инвалидом мыкалась она в Москве, с помощью друзей снимая квартиры, пока Академия наук не выделила ей как вдове академика комнату в коммуналке. Мама стала жить со сменявшимися друг друга домработницами, которые по мере сил и совести немножко ее обирали. Академические власти почему-то сочли ее душевнобольной и вскоре заменили ей комнату однокомнатной квартирой, куда в 1961 году, нисколько того не желая, переехала и я с дочкой. Маме до кончины оставалось уже только три года, она перенесла еще два инсульта, и ни-

кто не хотел быть с ней постоянно, а без этого она уже не могла жить.

И начались три года наших мук, описывать которые, конечно же, не стоит, они понятны всякому. Лишь несколько слов о маме. До самого конца она совершенно прямо, не горбясь, сидела в своем самом простом, за десять рублей купленном дачном кресле из металлических трубок с натянутым на них полотном, в котором я возила ее по комнате. Неверные, нечеткие движения гладкой мальчиковой, как говорил отец, руки, с трудом подносящей ко рту и неизменно проливающей с жадностью поглощаемую пищу. Главное занятие – чтение, но только того, что было когда-то читано. Иногда, глядя на маму сзади, я видела, что спина ее вдруг начинает дрожать и сотрясаться. Внезапные бурные рыдания, возникавшие при чтении чего-то памятного ей, а чаще – когда она слушала музыку (когда из репродуктора лилась сладкозвучная ария Лакмэ: «Куда спешит младая дочь парии одна...», мама, как ни старалась, не могла удержать всхлипываний, переходивших почти что в вой). Ее любовь к внучке. Та могла делать с ней все, что угодно, играть, как с огромной куклой, грубить ей, в ответ бабушка только ласково качала головой и тянулась поцеловать ускользающую девочку. Она без конца просила всех, кто к ней приходил, покупать Ленокке игрушки, куклы, книжки. А приходил уже мало кто. Единственной верной ее подругой оставалась Евгения Николаевна Селезнева, вместе с ней отбывавшая срок в лагере.

В 1964 году – последний удар, семнадцать дней без сознания, трехдневная агония. Вот тогда мы с Ремом узнали то, что знали из книг: как умирающий обирает простыню, что такое чейн-стоксово дыхание. Последние мамини слова, обращенные на второй день после инсульта к Евгении Николаевне, были: «Я умру, мне нетрудно кончиться». И мудрая Евгеша сказала в ответ: «Может, да, Катериночка, а может быть, и нет». А последняя мамина улыбка была обращена к Ленокке. Все эти семнадцать дней мы были вместе с Ремом. С помощью нашей последней домработницы мы ее обмыли и одели, положили на стол. Мы да еще человек десять родных проводили ее на похоронах, которые хотели сделать самыми простыми

и без поминок. Мне казалось, что это соответствует ее грустной жизни и одиночеству последних лет.

Когда все было кончено и стали проходить день за днем, мы с Ремом как-то сказали друг другу, что испытываем одинаковые чувства. В жизни появилась ничем не заполняемая пустота; вместе с тем возникло упорное ощущение, что мама где-то, может быть, живет. На улице внезапно ловишь себя на том, что увидела ее в толпе, но не успела разглядеть.

Но в беспощадных, мучительных снах о маме, видя ее то живую, то умирающую, то мертвую, то воскресающую, я всегда с полной ясностью осознавала, что воскресение ее было бы ужасно и что все пошло бы точно так же, как было при ее жизни. Несмотря на всю тоску этих снов, самое тяжелое было бы видеть ее вновь живой. И только один сон, приснившийся мне сразу же после ее кончины, через день-два, был совсем иным. Мне снилось, что она сидит в своем обычном кресле, в длинном, старом, застиранном халате, а рядом с нею по обе стороны кресла стоят отец, Дима и Валя, и я понимаю, что она не одна, что она среди тех, кто по-настоящему любит ее и позаботится о ней лучше и сердечнее, чем это делала я.

Февраль 1984,

в двадцатую годовщину смерти матери

После ареста

Итак, маму увели 17 октября 1937 года. Наутро мы пошли в школу. Я сказала своей учительнице Капитолине Георгиевне, что наших родителей арестовали. Она откинулась к стене: «Ваших тоже?»

Кабинет отца был опечатан. Дина переселилась в мамину комнату, не могла больше жить там, откуда увели ее мужа. А в их прежнюю вскоре вселили женщину с мальчиком лет восьми. Муж ее был арестован, а вскоре арестовали и ее. Комнату тоже опечатали. Три комнаты хранили в себе следы ушедших навсегда.

А мы все пытались их найти, установить хоть ниточку связи. Как и все родственники арестованных, мы, дети (Вале было пятнадцать лет, Рему четырнадцать, мне двенадцать), отпра-

вились на поиски по тюрьмам. Лубянка, Бутырки, Лефортово, Матросская Тишина. Серые окошечки, безжалостно захлопывающиеся, если не успел до перерыва или до закрытия, хмурые лица, заученные, безразличные ответы. Длинные очереди печальных, подавленных, тихо беседующих, а больше молчащих людей в Бутырках, в огромной приемной, где мы передавали деньги маме. Мы ездили туда все трое. Дорога казалась долгой, висели на подножке трамвая, гремевшего по Каляевской, мимо дома, где жила близкая мамина подруга. Пойти к ней? Боже упаси, ни в коем случае! Стояли долгими часами, передавали раз в месяц пятьдесят рублей, расписывались по очереди, надеясь, что мама увидит и поймет, что все мы живы и здоровы, потом грустно плелись домой.

Дома маленький Димин сын Илюшка, предмет общих забот, но не отрада — болезненный. Дина много работает, старается продать, что возможно. Мальчики надевают оставшиеся вне папиного кабинета и Диминой комнаты их костюмы, чтобы вынести их и передать кому-то для продажи. Приходили к нам только Димины друзья — П. Карлик и Л. Разгон. Но вскоре арестовали и их. А пятеро наших теток и дядей не подавали о себе никаких вестей. Тогда мы об этом не думали, потом я это легко простила, с тетей Женей, сестрой отца, и дядей Борей, братом матери, была дружна, у Павла, отцовского брата, жила четыре года своего учения в институте. Но один случай сердце не прощает.

Тетя Галя

Дину высылали в Харьков, она ехала одна, Илюшка оставался у бабушки Веры Михайловны. Что будет с нами? Вопрос решился как-то сам собой: мы пойдем в детский дом, ведь это ненадолго, ведь скоро все выяснится. Но для проформы, что ли, Дина послала нас посоветоваться с отцовской сестрой Галиной, любимой подругой моей мамы. Она жила с мужем — впоследствии очень известным ученым-химиком академиком С.С. Медведевым и сыном, немного младше меня. Я часто бывала у нее вместе с мамой, в высоком доме с темной лестницей на углу Кривоколенного и Армянского переулков, в трех маленьких комнатах в коммунальной квартире. Стены ее комнаты были тесно увешаны картинами, среди них был большой ее портрет — красивое, тонкое, правильное лицо, темные волнистые волосы, синяя блуза с белым воротником апаш. Рядом ее

собственные рисунки. Тетя Галя была художницей и работала в театре имени Вахтангова.

Весенним днем 1938 года мы с Валею отправились советоваться о своем будущем, в сущности, уже решенном. Поднялись по высокой лестнице, позвонили. Дверь открыла тетя Галя. Боже, как она испугалась! Не знала, что делать. Мы стояли, не раздеваясь, в полутемной большой прихожей, а она ушла куда-то в недра своих комнат. Вернулась скоро и стала совать нам в карманы конфеты. «Ко мне нельзя, — быстро и тихо говорила она. — Сергей Сергееч занимается, ему нельзя мешать». Тихонько подталкивая, быстро вела нас к выходной двери. С облегчением вышла с нами на лестничную площадку. «Никогда больше сюда не приходите, ладно? Идите». И мы пошли, и вернулись домой, и ни о чем не разговаривали по дороге. Дома Валя, ни разу не плакавший за эти полгода, уткнулся в подушку и зарыдал.

Много лет спустя я рассказала об этом маме. После возвращения из лагеря она общалась с Галей, бывала у нее, жила иногда. И однажды передала ей мой рассказ. «Екатерина Михайловна, — сказала Галина, — посмотрите на меня. Неужели вы верите, что я могла так поступить?» И мама поверила ей и не поверила мне. Но меня Галя невзлюбила, впрочем, невзлюбила она меня еще до этого разговора с мамой. Ведь тех, с кем плохо поступают, не любят. Но странная штука жизнь. В 1943 году я приехала в Москву поступать в институт, одна, без копейки денег, и мне решительно некуда было пойти. Я помнила только телефон тети Гали, позвонила ей и пришла. Она была совсем одна, приняла меня, оставила переночевать, а на другой день отвела к брату Павлу, где суждено мне было прислониться на следующие четыре года.

Последние дни

Что происходило в те полгода, что мы прожили в Доме на Набережной после ареста родителей? Хотелось бы сказать, что нам все-таки было неплохо, что детство побеждало и жизнь наша не была совсем уж грустной. Дина, Настя, бабушка, Вера Михайловна старались все для этого сделать. Но нет, не могу так сказать.

Что-то во всех нас стало меняться. Отошли в прошлое бес-

конечные, огорчавшие маму мои ссоры с братьями. Многое связало нас — тюрьмы, постепенно приходящее понимание необратимости перемен, невеселые планы на будущее, робкие надежды на то, что все, может быть, все-таки разрешится. Пришли агенты, велели написать маме письма — это значит, что ей там поверили! Явились за костюмом и книгами для отца — значит, ему разрешают читать, работать. На процессе он свидетель, а не обвиняемый — значит, он скоро будет на свободе, с нами! Бежим на Кузнецкий узнавать, когда же можно его ждать, ведь свидетелям приговоры не выносят! Десять лет без права переписки — роняет нам троим, вошедшим в кабинет, какой-то безликий человек.

Нет, ничего не будет, во всяком случае, скоро. Дом еще есть, и его уже нет. Я понимала, что у Дины будет своя, отдельная от нас жизнь.

Врач прописал мне соленые обтирания по утрам, и Настя неукоснительно за этим следила. Как-то в школе на уроке я лизнула руку и почувствовала соль на коже. Почему-то ощущение одиночества пронзило меня. Все продолжается, а нет уже тех людей, кому эти обтирания мои были нужны по-настоящему. Дина вела нас к зубному врачу, а я думала, что это делается для проформы, а не ради моих зубов, за которые так боялась мама. Шли покупать мне пальто, и я тайно огорчалась, что никому это радости не доставляет. Все это было наполовину придумано, но горечь бездомности вспыхнула именно в те грустные последние дни нашей жизни дома.

Мы уже знали, что нас отправляют в детский дом, и не трогали нас, по-видимому, ожидая окончания бухаринского процесса. Нам очень хотелось сохранить книги, стоявшие в нашей комнате. Самые любимые мы стали потихоньку уносить к Дининой подруге, согласившейся их сохранить. Мальчишки шли с портфелями, нагруженными этими книгами. Вынесли довольно много. Ничего не получили обратно! Сорок лет спустя Илюша с гордостью показал мне две до боли знакомые книги, одними только обложками пробудившие в памяти глубоко захороненные детские чувства. «Маугли» и «Рольф в лесах», обе с памятными надписями Рему. Книга Сетон-Томпсона была надписана родной матерью Рема: «Милому Ремуше в день его рождения». Светло-коричневая толстая книжка, желтоватая плотная бумага, неэкономно широкие поля с тонкими рисунками автора — я будто листаю ее в памяти. А «Маугли!» Как я

увлекалась этой романтической историей! Коричневая книга большого формата была из тех, что каждый месяц мама приносила из своего Детиздата. Прежде всех на них набрасывался Валя, наш главный читатель.

Сохранилось несколько фотографий тех месяцев. Маленькие, бледные, несовершенные, они возвращают меня в ту странную, призрачную жизнь, когда все как будто шло по-старому, но ничего прежнего уже не было. Вот мы с Диной сидим перед аппаратом, у нее на руках Илюша, я в американском свитере Рема, из которого он вырос. Я так завидовала Рему, когда этот свитер ему привез отец: он застегивался на молнию, украшенную цепочкой блестящих шариков. Странное смешение детского и недетского. Вот мы с Ремом сидим почему-то на столе, я положила ногу на ногу, юбка задралась совсем подетски. А лицо совсем не детское. Наша комната, железные кровати братьев с белыми покрывалами, видна даже кровать комкора Корка. Книжная полка до потолка. И мы — Валя, Рем, я, няня Анна Петровна, Настя, Дина. Клянусь — на всех лицах печать неуверенности и тоски и этой призрачности, точно все это во сне. И все они сделаны чуть ли не в последние дни, будто бы для того, чтобы запечатлеть навеки грустный эпилог нашего прекрасного детства.

В детский дом

В самом начале апреля 1938 года, за несколько дней до моего дня рождения, нас, наконец, забрали в детский дом. Мы давно уже знали, что это должно произойти, много раз и между собой, и со взрослыми обсуждали это — бестрепетно, казалось бы, и даже весело. Неистребимый интерес к поворотам судьбы живет во мне и поныне. Даже в самой смерти я отваживаюсь видеть — раз неизведанное, значит, интересное (хотя, если додумать эту мысль до конца, душу леденит холод, который не назовешь иначе, чем могильным). А детский дом — это тоже был поворот. Мы без конца повторяли друг другу, что главное — ученье, а там это будет. Дина и Настя много разговаривали со мной о том, как нужно вести себя с девочками, но это я пропускала мимо ушей: ведь я по-прежнему буду вместе с Валею и Ремом. Где-то в глубине души гнезвился страх, но мы его старательно отгоняли. Вещи были уже сложены, мы брали с собой

не только одежду, но и некоторые книги и даже привезенный отцом из Америки маленький киноаппарат с любимыми нашими пленками.

Детский дом! Нельзя понять, что это такое, не поживши в нем хотя бы столько, сколько прожили мы (я — четыре с половиной года). Все банальные слова, кажущиеся общим местом, на самом деле полны глубочайшего смысла. Дети растут без родительской ласки. Ее не заменяет ничто. Никто тебя не обнимает и не целует, как это делали бы мать и отец, не говорит тебе ласковых слов. По видимости это заменяется дружбой с товарищами и вниманием воспитателей. Но бесконечно трудно потом самому быть ласковым и открытым, ты этого будешь стесняться. Дети в детдоме не защищены, прежде всего — от самих себя, от трудностей и даже ужасов подросткового возраста, от открытий, которые приходится делать самим; не защищены от товарищей, с которыми приходится проводить все время, слушать все, что они говорят. Не защищены от грубой правды отношений. Они неожиданно оказались на просторе жестокого и яркого мира, задули ветры, от которых в детстве надежно укрывает родительский дом. Они чувствуют, что надо обороняться, и учатся этому, но это не улучшает их, увы, нет. Вырастают иглы, как у ежей, дети становятся насмешливыми скептиками, очень часто — жестокими и раздражительными.

Они живут большим коллективом и очень редко пользуются счастьем уединения (у нас это невозможно было даже в кабинке уборной). Для многих это пытка, приходится подавлять естественное желание побыть одному и приспособливаться к коллективному образу жизни. Это учит скрытности, побуждает к вранью, лишает простодушия. Дисциплина и порядки, царившие даже в самых лучших детских домах, были довольно тяжелыми. Например, требование определенным образом застелить постель может довести до умопомешательства и во всяком случае породить комплекс неполноценности, ибо есть ребята, у которых все лежит без единой складочки, а есть бедняги, которым при всем желании не удастся добиться выполнения существовавшего у нас требования — чтобы края верхней простыни, по бокам завернутые на одеяло, были одинаковой ширины — хоть сантиметр дайте им в руки! И совместные работы — тоже источник мучений для неумелых, они тоже способствуют унынию и тоске, если сознаешь собственную неполноценность. А коллективный опыт, передаваемый по вечерам в спальнях,

где собирается человек по двадцать, а то и больше? Девочки передавали друг другу украшенные цветочками с переводных картинок альбомы с дурацкими и сентиментальными, а порою и гнусными стихами. Перебивая друг друга, сообщают сведения из самых разных областей жизни — от политики до секса — и последнее для некоторых служит способом издевательства над теми, у кого багровеют уши и голова клонится долу. Для этих последних такие сведения — источник страха и мук, формирующий совершенно искаженное, грубое понимание важнейшей стороны жизни.

Здесь возникают странные, иногда насильственные привязанности и дружбы старших с младшими, ищущими защиты и покровительства. И если жизнь коллектива не станет твоей собственной жизнью, если ты тут не свой, то обречен на нешуточные страдания, на одиночество, из которого не сразу находится достойный выход. Нужно или подчиниться и раствориться — и это, быть может, не самое худшее, но для многих невозможное вследствие странностей и слабости характера, которая тоже никому не нужна, или же проявить незаурядную силу, которая все же держит на поверхности. Сначала барахтаешься, беспорядочно бьешь руками и ногами, бросаешься от отчаяния к надежде, но все же наступает момент, когда тебя признают. Прежние издевательства забыты, ты становишься со всеми в один ряд, оставаясь самим собой. Другой вопрос — как изменяется характер в этой борьбе, чего больше — потеря или приобретений. Об этом судить трудно. Мой путь в детдоме был, наверное, именно таким.

Из Дома на Набережной нас повезли в детприемник. Он помещался в Даниловском монастыре и был огорожен высокой кирпичной стеной; там просуществовал и последующие 50 лет и только недавно выехал оттуда. Мы пробыли в нем три-четыре дня, прошли все, что полагалось, в том числе фотографирование анфас и в профиль, медицинское освидетельствование и снятие отпечатков пальцев. Все это, впрочем, вызывало у нас веселое любопытство. В детприемнике был карантин, и нас поместили отдельно от всех остальных. В первый же вечер я загрустила: меня отвели одну в огромную пустую спальню, братьев — совсем в другое место. В углу на столе лежала книга с записями имен тех, кто побывал тут до нас. Я тотчас нашла в ней знакомое имя — Заря Хацкевич, одноклассница нашего Рема, была здесь несколько недель тому назад. Ее с братом отправили

в специальный детдом для детей репрессированных родителей в Днепропетровск. Нам казалось, что попасть туда было большой удачей. То, что братья были не со мной (мы всегда спали в одной комнате), вдруг испугало меня, и наутро я уговорила их пойти к начальнику детприемника и попросить его отправить нас во что бы то ни стало всех вместе в Днепропетровск. Начальник с величайшим недоумением и без всяких признаков сочувствия выслушал нас и жестом предложил выйти.

Отправили нас вместе в город Шую Ивановской области, в детдом № 2, и это оказалось самой большой удачей. На вокзал везли в черном вороне. Вместе с двумя сопровождающими мы сели на поезд Москва-Иваново, в Новках пересадка, и вот хмурым весенним днем мы в Шую.

Мы сошли с поезда на маленьком вокзале с деревянным станционным зданием, чемоданы погрузили на подводу, меня посадили. Лошадь медленно тронулась, мальчики и сопровождающие пошли рядом. Именно в эти минуты, сидя на телеге, подскакивавшей на булыжной мостовой на каждом шагу, глядя на совершенно новый, жалкий весенний провинциальный пейзаж, я впервые после ареста родителей не только разом поняла, но и почувствовала тоскливо, всем сердцем, что старое все кончено и не вернется никогда. И еще по дороге я принялась плакать, с каждой минутой все сильнее, сильнее. Братья смотрели на меня с тревогой и удивлением — всю дорогу из Москвы я была почти веселой. Я не смогла остановить слезы и тогда, когда лошадь вошла через большие железные ворота во двор, мощеный булыжником, через который уже пробивалась травка. Справа от нас возвышалось крытое железом крыльцо большого двухэтажного белого каменного дома. Это был особняк шуйского купца Терентьева, отделавшего свое жилище с большой роскошью. Говорили, будто в прежние времена в подвале, там, где помещалась у нас обувная и два раза в год меняли обувь по сезону, был устроен бассейн, где хозяин держал крокодила. Напротив главного входа в дом небольшой флигель — контора, квартира директора, изолятор для больных. Были и другие здания — слесарная и швейные мастерские, конюшня, кладовые, столовая, соединенная с главным зданием крытым деревянным переходом. Напротив, через улицу, всегда гудела и стрекотала текстильная фабрика. Фабрик в Шую было много.

Нас встретил директор детдома Павел Иванович Зимин. Он

стоял у дверей конторы, одетый в просторную темную гимнастерку с широким ремнем, в галифе и в сапогах. Очень спокойный, сдержанный, доброжелательный, окаяющий, как и все в тех краях. Из окон глазели ребята, многие столпились вокруг телеги, глядя на наши чемоданы. Ведь большинство являлись сюда без всяких вещей. Меня передали пионервожатой Любе. Сначала она пыталась чем-то занять меня в пионерской — крохотной комнатке без окон, похожей на склад, потом повела в швейную, наконец, не зная, что делать — я плакала неостановимо, хотя отлично сознавала, что это стыдно, — повела меня в городскую баню, выполняя, вероятно, необходимую процедуру. Баня показалась мне огромной. В раздевалке — длинные ряды скамеек, мы сели, Люба принялась медленно раздеваться. Я вообще не подозревала о существовании бань в наше просвещенное время, не знала, как себя вести, и решила повторять Любины действия. Через несколько минут я с ужасом поняла, что нужно публично снять с себя решительно все. Мы проследовали в огромную мыльную, где стоял неровный шум голосов и шипела вода и тоже были свои правила, которых я позорно не знала.

К вечеру, отчаявшись успокоить, Люба отправила меня с другими ребятами в кино. Я кинулась к братьям, которых не видела целый день, и заревела еще пуще. И в темноте я не могла остановиться, всхлипывала и глотала слезы. Помню конец этого ужасного дня. Поздний вечер. Я в спальне, где готовятся ко сну еще пятнадцать девочек. Это была странная комната, смежная с залом, в котором стоял рояль и происходили всякие торжества. Стены и потолок были богато украшены лепниной. Странность состояла в том, что в середине стены, разделявшей спальню и зал, было огромное толстое стекло в золоченой раме, от пола до потолка, а в ширину — еще больше. А прямо напротив этого окна в зал, на противоположной стене спальни, было точно такого же размера и в такой же роскошной раме огромное зеркало. Высказывалось предположение, что в этой нашей спальне у Терентьева была столовая, и, сидя за столом, он мог наблюдать танцы в зале. А зеркало зачем? Чтобы и те, кто сидел спиной к залу, могли видеть танцы. Моя кровать стояла около самого зеркала. В отчаянии я рано укрылась в постели и быстро уснула. Проснулась — все еще вечер, горит свет, около меня сидит Павел Иванович и смотрит на меня с сочувствием. Но я тут же заснула опять. Проснулась второй раз — все еще ночь,

девочка, показавшаяся мне очень красивой, старше меня, медленно расчесывает и ловкими движениями заплетает в косы длинные светлые волосы. Это была Вера Шерина, старше меня двумя годами.

Почти пятьдесят лет спустя я позвонила в дверь ее квартиры в Москве и в первое же мгновение узнала ее высокий голос и знакомые спокойные интонации. Детский врач, участница Отечественной войны, все годы после войны жила в Москве, а я не знала и не пыталась ее найти... Отличная семья, трое внуков, уютная квартира. Так и должно было быть. Вместе с братом ее привезли в Шую из Ленинграда. Вера с грустью вспоминала свой теплый дом на Васильевском острове. Он рухнул так же, как и наш, в 1937 году.

Утром второго дня я вместе с пятью девочками-пятиклассницами пришла в столовую. Мальчиков не было видно, их посадили совсем в другом месте. Я сидела тихо, опустив глаза, не умея разговаривать с соседками. Пошли в школу. Здесь стало легче, меня вызвали отвечать по ботанике, и я приободрилась, поняв, что в классе буду не из худших. Но школьные успехи отнюдь не пошли мне на пользу, и я убедилась в этом очень скоро. Я была совершенно одинокой в классной, где учили уроки, и в спальне, где не только спали, а вообще, несмотря на запреты, проводили довольно много времени, вершили суд и расправу, сплетничали, обсуждали воспитателей и иногда горько плакали, вспоминая родителей, — те, у кого они были живы, как у нас, и те, кто их даже не знал или не помнил. Все, кроме нас, детей репрессированных родителей, были сиротами. О том, чтобы отдавать своих детей в детдом, тогда, кажется, и разговоров не было.

Первые месяцы

Невыносимо тяжелым было для меня первое время в детском доме. Конечно, это было не то, что в первый день, но запомнилось на всю жизнь ощущение тоскливой безысходности. Тяжелее всего было отношение сверстниц, полное отсутствие душевных контактов с ними, их недоброжелательность по отношению ко мне, белоручке, зазнайке, которая только и умеет, что жаловаться. Жаловалась я не воспитателям, на это у меня ума хватало, а в письмах — Дине, бабушке. Эти письма иногда попадали в руки девчонок, и, Боже мой, как меня дразнили!

В письме к Дине я описывала, как нас кормят, и меня тут же стали преследовать пением и криками: «Каша манная с изюмом, а мясца хоть бы кусочек...» Не поняв вначале, в чем дело, я лишь через день с холодным ужасом сообразила, что это перефразированные строчки из моего письма. Ужасным было мое первое дежурство по спальне. Нужно было вымыть пол, а я не умела. Спросить не решалась, намочила в ведре тряпку и повозила ею по полу, не смыв грязь. На линейке меня ославили на весь детдом, ребята смеялись. Не помню, как я преодолела эту трудность, но наша воспитательница Татьяна Николаевна Гуськова (мир ее праху) написала мне несколько лет тому назад: «А помнишь, Света, как ты пришла ко мне и сказала: “Т.Н., научите меня мыть пол?” Я взяла тряпку, и мы с тобой пошли в спальню и мыли пол вместе». По гроб жизни благодарна я Татьяне Николаевне за то, что она так просто, без слов и упреков, научила меня этому важному делу.

Изводили мелкими придирками — не так стелю постель, не умею стирать, не туда и не так, как нужно, кладу свое барахло, и вообще все вещи у меня не такие, как нужно; наконец, акаю, а не окаю. В бельевой и обувной неизменно доставалось что похуже. Но все это было неизбежно. Я действительно не умела ни стирать, ни мыть пол, не была приучена ни к какой домашней работе и физического труда боялась. Кроме того, вероятно, я и вела себя не так, как нужно. Иногда с братьями мы говорили по-немецки, делая это, чтобы не забыть языка (все равно забыли!), но, конечно, тут присутствовало и пижонство, которое не прощается, особенно в этом возрасте. Мучения мои длились довольно долго, братья ничем не могли мне помочь. Напротив, моя с ними дружба, то, что иногда поздно вечером, когда все уже спали, мы пытались уединиться в пустой классной, вспоминали прошлую жизнь, маму, вызывало раздражение. Не могли помочь и воспитатели. Они проявили большой такт, не вмешиваясь, что могло бы только ухудшить мое положение.

Что касается мальчиков, то у них все было иначе. Мальчики вообще иные существа. Трудностей с товарищами у них не было. Валя без труда сходился со всеми, ребята его любили. По вечерам в спальне он рассказывал читанные дома книги (с продолжением рассказывал, например «Портрет Дориана Грея», — не понимаю, как он мог это делать при его заикании!), и его всегда просили: еще! Рем был спокоен и углублен в себя, что неизменно вызывает уважение.

Но если оставить в стороне трудные первые месяцы, были детдомовские годы тяжкими? Оглядываясь сегодня назад, в то время, я испытываю двойственное чувство. Всё правда — то, о чем я говорила вначале. Детский дом, конечно, ломает и калечит детские характеры. Но ведь он придал мне и новые, лучшие черты, прежде всего — стойкость.

ВТОРОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

ВСТРЕЧА В ШУЕ В 1985 ГОДУ

Я сделаю отступление на 45 лет вперед. Весной 1985 года бывшие воспитанники Шуйского детдома № 2 по инициативе тех, кто пришел в детдом уже после нас — это были дети войны, — решили устроить встречу. Детдома не существовало с 1957 года, но встретиться решили в Шуе — где же еще? Вера Шерина и Рем колебались: ехать — не ехать? Слишком много лет прошло, не будет ли все это неловким, ненужным, и найдем ли мы свое место на этой встрече? Не страшно ли через сорок пять лет увидеть и, может быть, не узнать далеких спутников той поры? Будет ли о чем говорить друг с другом нам всем? А я не сомневалась ни минуты. Было бы непростительно и страшно упустить возможность вернуться в те далекие горькие годы и увидеть всех — полузабытых и забытых совсем, увидеть тот богато украшенный дом, войти в него, пройти по пыльным летним шуйским улицам и ощутить знакомые запахи, увидеть все то, что было нашей жизнью.

И мы поехали — Миша Бауэр из Ленинграда, из Москвы Вера Шерина, Рем и я. До Иванова поездом ночь пути, дальше на такси. Остановились в Шуе, не доехав до стоянки автобусов, где, как оказалось, нас встречали школьники из поисковой группы. Хотелось пешком пройти тот путь, который в детстве каждый из нас проделывал тысячу раз.

Вышли из машины — четверо усталых и уже стареющих, всем за шестьдесят. Огляделись, ловя приметы прошлого, узнавая и не узнавая маленькую пыльную привокзальную площадь. Пошли вперед и налево до боли знакомым путем. Скоро должен был нас встретить ровный негромкий стрекот текстильных фабрик, протянувшихся вдоль правой

стороны неширокой улицы. И он действительно встретил нас и проводил до самого дома, вызывая в памяти картинки из далекого детства. Вот я стою на широком подоконнике и с остервенением тру смятой газетой густо намазанное зубным порошком стекло большого окна. Оно долго не поддается, но потом все же начинает сверкать, и я распаиваю его в теплый апрельский вечер, и в спальню девочек wpłyвает этот стрекот. Окна мыли перед Первомайским праздником, и когда наутро просыпаешься, фабрика непривычно молчит – 1 мая! – а где-то недалеко из репродуктора льется: «Утро красит нежным светом...»

Мы шли, и мне казалось, что все это – как оживший сон, который, бывает, повторяется много раз, но всегда обрывается – а вот сейчас я его досмотрю до конца. Вот на углу серое облупленное, кажется, все эти сорок лет не ремонтировавшееся здание с знакомыми крупными буквами на фасаде – ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ. Повернули за угол и вышли на 2-ю Нагорную улицу. Слева – когда-то казавшееся чудом архитектуры, полукруглым стеклянным фасадом выходящее на улицу здание фабрики-кухни, куда летом водили обедать тех, кто оставался в городе сдавать школьные экзамены. Бедная фабрика-кухня! Стекол нет, крыша провалилась.

И вот впереди и слева нам открылся вид нашего дома. Белый, двухэтажный, с лепными украшениями, он стоял неприметно за высокими тополями. Ворота во двор, по-прежнему мощеный булыжником, слева флигель, справа высокое крыльцо с балкончиком на нем. Вот здесь когда-то остановилась та громохочущая телега...

Мы вошли в дом. В нижнем предзальнике – холл, сказали бы сейчас, – какие-то люди указали, что надо подняться наверх. Поднялись, с ужасом отмечая, что случилось с роскошной мраморной лестницей нашего детства – перила простые, деревянные, крашенные желтой краской. Верхний предзальник – вот здесь сорок лет назад, страшно робея, пересекая казавшееся огромным пространство этого предзальника, я подошла к однокласснику Вали Мише Кристсону, желая обратить на себя его внимание, и попросила его передать Вале носовые платки, выстиранные мной, а Миша, высокий и надменный, занятый книгой, не сразу понял, в чем дело, обратив

туманный взор на девчонку, которую он почти не знал, хотя она была сестрой его приятеля и жила с ним в одном доме. Где теперь Миша Кристсон, жив ли он? Никто ничего о нем не знает.

Подходим к двери зала. Всем нам он запомнился как нечто необычайно красивое. Но зала нет! Вместо него крошечная клетушка с одним окном и грубо окрашенной фанерной стенкой, разделившей помещение. Впрочем, остатки лепнины, покрытые масляной краской, видны и на потолке, и на стене. В доме помещается ПТУ. У окна за столом незнакомая женщина, рядом стоят несколько незнакомых мужчин в военной форме. И вдруг эта незнакомая женщина, едва взглянув на меня, спокойно говорит: «Милая Светочка, а помнишь, как вот в этом зале мы справляли твой день рождения? Мишенька, ты, милый? С тобой печки топили. Помнишь?» Миша Бауэр работал в детдоме истопником в самом начале войны. Я так и не узнала, не вспомнила эту женщину. В последние мои детдомовские годы она у нас была пионервожатой. А свой день рождения я тотчас вспомнила. Это было в 1940 году. Раньше таких праздников не устраивали, а в тот день в зале были игры и танцы, потом подарили пирог. На этот мой день рождения пришел пешком за несколько десятков километров милый наш бывший воспитанник Миша Сорокин. Кажется, он-то и придумал этот праздник. Война смешала все. Больше я не видела Мишу Сорокина, а облик его сохранился для меня на странной фотографии. На заднем дворе, за швейной мастерской, группа младших ребят — мальчики и девочки. Все в какой-то немыслимой рванине, хохочут, дурачатся. На переднем плане по-турецки сидит Миша Сорокин, совсем взрослый. Улыбка во все лицо, папироса в углу рта. Его обожали маленькие ребята, вечно он с ними возился. Скорее всего, он погиб на войне, а точно этого не знает никто.

Мы приехали почти последними. Когда подошли к столовой, где завтракали собравшиеся, завтракать уже было некогда, а надо было садиться в автобус, который вез нас в райком партии, на встречу с руководителями города. Мы робко остановились, не зная, что делать. Из столовой группами выходили немолодые люди. Мы ждали. Узнаем ли кого-нибудь? Вдруг мужской голос сзади: «Света, это вы?

Я Купфер». Два брата Купферы. Я помнила только их фамилию, сказала: «А я вас помню». Они так обрадовались, Виктор и Виталий. «Вы кто?» – спрашивает еще кто-то. Меня кидается обнимать маленькая худенькая женщина: «Светочка, подружка моя, ведь я первая была твоя подружка, Рэнна Нежданова. А помнишь, ты мне кофточку вышитую подарила?» И вот из глубин памяти, которых, казалось, и не существует, выплывает Рэнна, никогда не вспоминавшаяся раньше. Мы с ней недолго дружили, она была старше меня, и ее «выпустили» на фабрику в Шуе вскоре после моего приезда, и при выпуске я подарила ей эту кофточку. И кофточку я помню, она была привезена из дому, с богатой украинской вышивкой на рукавах. Тут и другие бросились к нам. Красивая, нарядная, как будто совсем молодая Женя Никонорова, моя одноклассница. Обнимает меня: «Да ты помнишь, как учила меня арифметике, сколько ты со мной билась?» И это тоже... Я сижу на кровати в спальне. А маленькая Женя, крепкая, с румянцем во всю щеку, стоит, прислонившись спиной к круглой черной высокой печке, и я ей что-то толкую, толкую; поскольку сама я все понимаю, мне кажется нелепым, что Женя никак не может понять, и снова и снова разбираю с ней задачку, пока нам обоим не наскучивает это. А Женя мне зашивает чулки – я не умею этого делать.

Что тут начинается! Вера, Миша, Рем, я – все мы в кругу взволнованных, радостных, добрых, близких людей. Все обнимаются, целуются, плачут. Два дня этой встречи – как в лихорадке. Встреча в горькоме партии, где нам рассказывают о нынешней Шué, представляют нас друг другу. Потом везут на экскурсию по городу, после обеда встреча в городском театре. Когда-то мы часто здесь бывали. У детдома был абонемент в театр. Двое ребят могли ходить на всякий спектакль. Актеры были вполне приличные, театр имел связи с московским Малым, шефствовавшим над Ивановской областью и приезжавшим сюда на гастроли. Я помню в этом театре «Коварство и любовь», «Таню» Арбузова и поэтичную постановку по сказкам Андерсена, называвшуюся «Снежная королева».

Торжественная встреча была устроена на манер сладко-сентиментальной телепередачи «От всей души». Но, как и в этой передаче бывали волнующие, за сердце

хватаящие моменты неожиданных встреч, так и здесь, в Шуйском гортеатре, который мы посещали пятьдесят лет тому назад, нас ожидали встречи, о которых не приходилось и мечтать. Зал был полон – человек триста. Пришло множество шуян, не имевших прямого отношения к детскому дому, но знавших нас – наши соученики по школе, учителя. Мы сели в зале, и нас тотчас стали спрашивать, кто мы такие. Немолодая женщина, узнав мое имя, спросила: «А Валя приехал?» А Валя погиб в 1941 году на фронте под Ленинградом, его одноклассники, присутствовавшие здесь, не знали об этом. «Не может быть...» – растерянно сказала женщина. Но уже узнали и Рема, и Мишу, и Веру, сели все рядом. Впрочем, Веру позвали на сцену – она участница войны, заслуженный врач РСФСР, грудь ее украшена медалями.

Мы знали, что не увидим нашего дорогого директора Павла Ивановича, его давно уже не было в живых. Но вот на сцену под руки вывели глубокую старушку в платочке домиком, в сильных очках, очень худенькую, посадили за неудобный низкий журнальный столик. Из зала пригласили двух моих одноклассниц – Женю Никонорову и Валю Гоминову – лучших учениц той старой – девяносто лет! – старушки. Это была наша руководительница по швейному делу, а в сущности одна из главных наших воспитательниц – Наталья Трофимовна Лукьянова. Боже мой, она жива! Сколько связано с ней! Хотелось тут же броситься к ней, спросить, помнит ли она меня, не может быть, чтобы не помнила... После этой встречи я написала Наталье Трофимовне. Конечно, и тогда, в Шуе, она меня вспомнила, а в письмах вспомнила еще больше. «Мне все кажется, – писала она, – что я обо всех вас все должна знать». Она работала всю жизнь, до семидесяти, а жила до последнего времени на нищенскую пенсию 57 рублей. Многие ее воспитанники жили в Шуе, но бывал мало кто... Потом вывели на сцену нашу Тянь-Николаевну – Татьяну Николаевну Гуськову, которая учила меня мыть пол. В те далекие годы была она миловидная, нервная, худая, вспыльчивая, резкая и довольно суровая, однако преданная нам и вообще детскому дому всей душой. Однажды одна из моих теток, тетя Женя, вознамерилась забрать меня из детского дома к себе в Москву, домой,

к своим. В детдоме все меня усиленно отговаривали. Я написала маме. Мама, которая к тому времени убедилась, что в детдоме нам неплохо, решительно отвергла такой вариант. Помню: сижу в маленькой классной комнате, вдруг слышу быстрые шаги, с шумом распахивается дверь, пулей влетает Татьяна Николаевна, расплывшаяся в торжествующей улыбке, протягивает мне телеграмму от мамы (как мама сумела послать ее из лагеря?) – «Ни в коем случае не соглашайся». Как ликовала Татьяна Николаевна!

Тян-Николавну увели в зал и усадили в первом ряду. На сцену вышел наш завуч Виктор Иванович Панфилов. В его кабинете, помню, вечно толпились ребята, а мы с Мишей Бауэром на диване раскладывали доску и играли в шашки. Я, признаться, не столько играла, сколько смущалась от близости нравившегося мне красивого мальчика. И вот нас с Мишей пригласили на сцену. Когда я проходила мимо первого ряда, Татьяна Николаевна громко крикнула: «Света!» Я обняла ее, но надо было подниматься наверх. И я, и Миша сказали несколько слов.

А потом ведущая прочитала отрывок из Мишиного письма устроителям встречи. Она прочувствованно произносила строки из этого письма: Грянула война... просился на фронт... ответили – рано, подожди... Просился снова, и снова сказали – не на фронт, а нужно на трудовые работы, на оборону... и послали на строительство дороги в Котлас. И там он трудился честно, как трудился всю свою жизнь. Вот он пишет в своем письме: я ничего не совершил и ничего не сделал особенного, я просто работал всю жизнь... за дело Ленина.

...Боже мой, что это? Зачем Миша написал это? Всё тут неправда! Маленький Миша Бауэр, сын известного венгерского ученого-биолога, приехал с младшим братом и родителями в СССР. В 1937 году отец и мать были арестованы, и он попал в Шуйский детдом. Окончив десятилетку в год начала войны, стал работать на заводе, потом в детдоме истопником. Он очень бедствовал, ожидая повестки в армию. Но Мишу сочли за немца – похоже звучала его венгерская фамилия – и вместе с другими немцами отправили в Котлас на строительство железной дороги, где держали их в зоне, за колючей проволокой,

в тяжелейших условиях. Миша заболел и просто умирал. В лазарете его пожалел и спас врач – комиссовал, помог вырваться из зоны. Зачем, зачем написал Миша про «дело Ленина»?

Вечером был банкет, много пили, много пели, много говорили всякого теплого. К нам с Ремом подсел не знакомый нам человек и стал рассказывать, что он и его товарищи, жившие в детдоме уже после нас, все про нас знали, им воспитатели рассказывали о тех ребятах, которые приехали сюда в конце 30-х годов из Москвы и Ленинграда.

На другой день непрерывно шел дождь, до самого вечера, и наша поездка в деревню Федотово, где когда-то был наш летний лагерь, детдомовская дача – три дома, купленные Павлом Ивановичем на деньги, заработанные воспитанниками еще до нашего приезда в 1938 году, была неудачной. Ничего от тех домов не осталось, а погулять по знакомым местам не дал дождь. Собрали на стол в избе одной деревенской жительницы, помнившей прежние времена, заходили туда по очереди, поскольку все сразу поместиться не могли. Снова много пели и вспоминали, вспоминали... Все это было очень трогательно и создавало атмосферу настоящей единой семьи.

С этим чувством мы и уехали вечером второго шуйского дня. В автобусе, которым мы отправились в Иваново к поезду, ехала еще одна воспитанница, много моложе нас, спортсменка, лыжница. В Иванове оказалось, что до вокзала далеко, времени совсем мало, такси нет. Наша спутница не ушла, пока все-таки не посадила нас в машину. Мы увидели, как за стеклом окна она подняла руку, растопырив пальцы, – через пять лет снова встреча! Так решили в Шуе. Больше встреч не было, но эта, 1985 года, останется в памяти навсегда.

Детдомовские будни

Понимая, вероятно, каким трудным было для меня первое время в детдоме, Павел Иванович откликнулся на просьбу Дины отпустить меня на один летний месяц к ней в Харьков, и в 1939 году я приехала к ней, а по дороге туда и обратно несколько дней провела в Москве, побывала в Вахтанговском театре,

познакомилась со своим двоюродным братом Олегом, сыном папиного брата Павла. Мы часами бродили с ним по московским улицам, испытывая друг к другу интерес и симпатию. Олег немножко влюбился, но это было совсем по-детски. Договорились переписываться, некоторое время так и было, потом заглохло, чтобы шесть лет спустя вспыхнуть ярким, но коротким пламенем.

Я вернулась в детдом в конце лета и уже не чувствовала себя здесь чужой. Да и повзрослела я заметно. Постепенно приходило трезвое понимание того, что меня окружает равнодушный мир, но я все же могу попытаться его завоевать. Я поняла, что вовсе не все создано для меня и вовсе не все готовы для меня на все, а, пожалуй, и никто не готов. Я понимала уже не только всю ценность отношений с братьями, но и важность отношений с детдомовскими ребятами, понимала, что им есть за что меня не любить и тут многое зависит от меня самой. Я поняла, что у всех своя система ценностей, и я не законодатель в этой области, что отныне я равна со всеми, с кем свела судьба в детском доме, какими бы, как мне все еще казалось, они ни были недалекими, не видевшими того, что видывала я, как бы ни говорили «Шуевский» детдом вместо правильного Шуйский, как бы ни окали, не зная настоящего московского выговора. Наконец, я понемногу училась стирать, мыть полы, шить и уже перестала быть в этом отношении предметом насмешек. Уже совсем не все отворачивались, когда я вступала в общий разговор.

В нашем детдоме было 150 воспитанников, среди них человек 20 с такими же судьбами, как у нас. Большинство — из Ленинграда. Нас решительно ничем не выделяли среди других воспитанников. Думаю, что это зависело, главным образом, от нашего замечательного директора Павла Ивановича Зимина. Много лет спустя он говорил мне, что ему было предписано раз в две недели сообщать о нас, о нашем поведении куда следует, но мы никаких отзвуков такого внимания не чувствовали и, конечно, об этом не знали. Никогда никто ни в чем нас не упрекал по части родителей. Один только раз ко мне приступил то ли новый пионервожатый, то ли молодой воспитатель с расспросами о том, понимаю ли я, кто такие мои родители и не стоит ли мне о них позабыть. Я слушала с удивлением. Кто-

то прервал нашу беседу, и больше в детдоме я таких речей не слышала.

Сразу по прибытии нашем в детдом Павел Иванович обещал братьям, что всем дадут закончить десятилетку, хотя обычно после седьмого класса из детдома выпускали на работу на текстильные фабрики или в ФЗУ. В итоге вместе со мной пошли в восьмой класс все ребята, кончившие седьмой.

Праздники в детдоме. На Новый год в зале ставили елку, устраивали маскарад и представление, пели, танцевали. Однажды поставили детскую оперу «Гуси-лебеди», я пела в хоре, а Валя исполнял бессловесную роль Лешего; костюмы достали в городском театре. В организованном нами самими драмкружке мы без руководителя поставили пьесу из дореволюционной жизни, в которой я играла роль старой прачки, а потом даже поставили «Тимура и его команду», и я играла Женю, а Вера Шерина — мою старшую сестру. На Новый год приходили иногда учителя из школы; раздавали гостинцы.

Праздновали еще 7 ноября и 1 мая. В физкультурных костюмах — короткие шаровары и голубые футболки с белыми воротничками и белыми отворотами на рукавах — выступали с любимым номером тех лет — пирамидами. Мы, старшие девочки, готовили танцы разных национальностей. Выступал хор — пели революционные песни и новые — военные или детские: «Улетают героини-пилоты», «Красный над нами реет флаг», «Ой вы, кони, вы кони стальные», «Старшие братья идут в колоннах» и много всяких других. В дни памяти Ленина устраивали траурный костер. В зале на полу кругом располагали лампочки, затянутые красной материей, узкие красные тряпочки каким-то образом шевелились наподобие пламени. Гасили свет, все сидели на полу, а у костра читали стихи, пели.

В выходные дни ходили в кино. Один кинотеатр — старый — располагался в бывшей церкви и кошунственно назывался «Безбожник». Иногда ходили в клуб завода «Металлист». Потом в центре, на Базарной площади, построили кинотеатр «Центральный», где памятен мне просмотр странно-праздничного, лживого фильма «Свинарка и пастух». Кино показывали иногда и в самом детском доме. На высокую — в два этажа — стену вдоль лестницы вешали простыни. В верхнем предзальнике механик ставил аппарат и крутил нам кино. Так в самые первые детдомовские дни я смотрела «Праздник святого Йоргена». На широких мраморных ступенях лестницы и

в предзальнике вокруг киноаппарата густо сидели ребята всех возрастов. Все стриженные, все в какой-то бесцветной одежде; с замиранием сердца следили за перипетиями фильма, показывались со смеху, а то и устраивали кучу малу в смешных местах.

Когда весной кончались занятия в школе, детдом выезжал на дачу, в пионерлагерь в деревне Федотово, в 10 километрах от города. Два длинных одноэтажных деревянных здания, где помещались спальни, столовая — под навесом во дворе. Место было очень живописное. Дома стояли высоко на пригорке, а внизу журчала маленькая речушка Сальня, вытекавшая из бывшего поблизости родника. На речном откосе стирали белье, в том числе простыни для всех (на даче мы стирали их сами). Простыни намывали и расстилали на солнце для отбеливания.

Вода в Сальне была очень холодная и очень вкусная. По утрам весь детдом спускался туда умываться, а попозже туда катили бочки за водой. Обратно в гору их тащила лошадь. Когда летом 1941 года, уже после начала войны, я была в Федотово в последний раз, лошади уже не было, ее отправили на нужды армии, и бочку с водой тащили со смехом в гору сами ребята.

Каждое утро лагерь выстраивался на линейку, под звуки песни «Утро красит нежным светом» на мачте поднимали флаг. Днем были всякие занятия — дежурства, иногда работа на колхозном поле, не сохранившиеся в памяти военные и пионерские игры. Вечерами устраивали танцы. Под музыку баяна парами или став в круг мы танцевали польку или тустеп.

Швейная

Швейная мастерская, просто — Швейная, помещалась в отдельном небольшом флигеле с высоким крыльцом на две стороны. Туда в установленные часы, хочешь не хочешь, а нужно было идти. Большая комната, посередине очень длинный и широкий стол, заваленный выкройками, кусками материи и всем, что нужно для шитья. По стенам шкафы и швейные машины. Вокруг стола сидят девочки, обучающиеся в этот час шитью, их человек 25. Я еще не знаю почти никого, сижу, опустив глаза, боюсь всех, боюсь веселых и злых криков, презрительных взглядов и замечаний, боюсь, что они дружат меж собой и вместе с тем бешено ссорятся, боюсь того, что они умеют все, а я —

ничего. Я многому научилась в Швейной, но до самого конца осталась, вероятно, самой неловкой и неумелой среди всех.

Шум в швейной мастерской легко умирала руководительница, инструктор швейного дела, сама не слишком шумная, но в тишине своей твердая и решительная Наталья Трофимовна. Небольшого роста, худенькая, милое лицо с мелкими острыми чертами, серые глаза, маленькие ручки и маленькие ножки. Всегда на ней тщательно выглаженный светло-серый сатиновый халатик, из-под которого выглядывает шелковая кремового цвета блузка; на шее сантиметр, а в отвороте халата иголки, булавки... Точным движением мелких зубов она перекусывала нитку, хотя и учила нас не делать этого, показывая шербинку в верхних. В первый же день Наталья Трофимовна дала мне задание: собрать на нитку рукав у манжеты, это дело пяти минут. Показала, как это делается. Я работала не меньше часа. Когда было готово, она посмотрела и, чтобы подбодрить меня, показала всем как образец работы. Девочки иронически молчали. Увы, это было, наверное, единственное образцовое изделие, вышедшее из моих рук.

Итак, ежедневно, по расписанию, я стала вместе со всеми приходить в Швейную, часто, впрочем, стараясь улизнуть. Но я втайне полюбила Наталью Трофимовну, чувствуя, что и она меня любит и жалеет. Я следила за ее ловкими движениями, с тайным вниманием прислушивалась ко всему, что она говорила. Ей было тогда сорок лет, старушка по моим тогдашним понятиям. Жила она вдвоем с сыном, про которого много рассказывала.

Три эпизода помнятся мне в связи со швейной мастерской. Первый — ужасный! Началась война, стало трудно с одеждой, и мы шили брюки для наших детдомовских мальчиков. Очень трудно сшить застежку, молний тогда не было, нужно было сделать потайную застежку с петлями. Я шила плохо, мы спешили, и несколько брюк, изготовленных мною, были, похоже, никуда не годными. Наталья Трофимовна стала просматривать готовые вещи и тотчас обнаружила брак. «Чья это работа?» — спросила она. Я сразу поняла, что моя, но промолчала. Пугало меня не столько ее осуждение, сколько презрение подруг. Главное же — сразу не сказала, а потом уже невозможно признаться и с каждой минутой — все больше невозможно. Еще и еще раз обращалась она к нам, призывая покаяться. Все молчали. Это длилось мучительно долго. Она взывала к нашей совести, угрожала, но ничего не помогало. «Ну, хорошо, — сказала Наталья

Трофимовна, — никто отсюда не выйдет. Раздадим все брюки, каждая возьмет те, что сшила, и виноватая найдется». Боже мой, как все это было ужасно! Как невероятно тоскливо было почувствовать, что выхода нет, сейчас все откроется, и будет неслыханный позор. Эту тоску я помню и сейчас. Наконец, я не выдержала и сказала потихоньку однокласснице: «А ведь это я, что мне делать?» Она ужаснулась, сердцем поняв мою тоску. Я подошла к Наталье Трофимовне и тихо сказала, что виновата я. Она так же тихо ахнула. Лицо ее потемнело, она не знала, что делать. Я поняла: она огорчилась не только враньем моим, а и тем, что невольно меня мучила. Не помню, как она замяла это дело, но надолго запомнила истязание, порожденное ложью.

Второй эпизод — спиритический сеанс поздним вечером или даже ночью в швейной мастерской. Война, я учусь в 9-м классе, идет 1942 год, уже в течение года я не получаю писем от Вали. При тусклом свете мы сидим за столом, несколько девочек во главе с Ниной Будзинской. На столе бумажный круг, по краям которого написаны буквы. Посередине круга перевернутое вверх донышком блюдце, на краю его углем нарисована стрела. Кто-то предлагает вызвать — чей? — чей-то дух. Мне страшно и смешно одновременно. И верится и не верится. Все кладут пальцы на середину донышка. Можно задавать вопросы. Когда очередь доходит до меня, я спрашиваю о Вале, погиб ли он на поле боя, или ранен, или в плену. Вдруг с трепетом чувствую под пальцами круговое движение блюдца — быстрее, быстрее, черная угольная черта бежит по направлению к буквам, и блюдце отвечает мне: «Погиб на поле боя». Я задыхаюсь от волнения. Оно проходит, когда под конец сеанса блюдечко вдруг принялось выражаться не вполне цензурными словами.

Третий эпизод — то ли осень 1941, то ли лето 1942 года. Миша Бауэр живет уже не в детдоме, работает. Он приходит иногда, оборванный и голодный. На дежурстве удается порой сэкономить хлеб, и мы, старшие девочки, потихоньку даем ему, бывает, даже целую буханку. Он мне очень нравится — красивый, стройный брюнет со светлыми-светлыми серыми глазами. Прямые блестящие волосы крылом падают ему на лоб. Года два назад я была в него влюблена и чувствовала порой, что и сама была ему не безразлична. Как-то поздним вечером, тайно встретившись где-то за домом, чтобы никто не узнал и не дразнил, мы долго гуляли с ним и даже пошли в кинотеатр «Безбожник». Когда мои братья поступили в вузы и уехали из

детдома, Миша однажды предложил мне уехать вместе к Рему в Казань (Рем уже учился там в университете). Станем работать, проживем как-нибудь. Конечно, об осуществлении этого замысла не приходилось и думать: началась война.

Вскоре я встретила его на мосту через речку Тезу, он шел босиком, потому что не было ботинок. Сказал, что подал заявление в военкомат и ждет вызова. В какой-то осенний день он пришел в Швейную, ищет меня, по-видимому, чтобы проститься. Я вижу его в окно и почему-то прячусь за шкаф, так, чтобы в зеркало видеть его, а он чтобы меня не видел. Он входит, неловкий, смущающийся своей одеждой, угрюмый, молчаливый. Спрашивает меня и получает в ответ уверение, что меня здесь нет. Я давлюсь смехом; мне кажется, он понял, что я прячусь от него, но медлит почему-то. Потоптавшись у порога, все же уходит. Уходит на долгие годы своих мучений и всей своей нелепой и страшной судьбы.

А я остаюсь в детдоме до осени 1942 года. Перед тем как уехать к родственникам в Ардатов, я шью себе платье, помню его, оно было красного цвета, теплое, фланелевое. Меня не «выпускают» (при выпуске полагается приданое), а я еду к родственникам, мне не полагается ничего. Но Наталья Трофимовна устраивает так, что мне дают какое-то белье и вот это новое платье, а так — что на мне, то мое. Она смотрит на меня с грустью и теплотой, хочет как будто бы что-то сказать. Но не говорит ничего. Прощаясь, целует и легонько отталкивает — иди. Я уезжаю. Сын Натальи Трофимовны погиб на фронте. Он был почти инвалидом — очень плохо слышал. Она хотела сказать об этом в военкомате, но он не разрешил ей и ушел. После войны она удочерила молодую женщину, детдомовскую медсестру Валу, но та тяжело заболела и через несколько лет умерла у нее на руках. Незадолго до смерти Валя сказала Наталье Трофимовне: «Если я потеряю сознание и буду звать маму, вы знаете, что это я вас зову...»

Мамины письма

Мамины письма из лагеря! Они составляли очень важную часть нашей жизни в детдоме, были свидетельством того, что не всегда так было и не всегда так будет. Мама писала нам много, всем по отдельности. Вале — чаще всех, что определялось, наверное, не только тем, что его она особенно любила, но и

тем, что он был самым аккуратным ее корреспондентом. Непохоже, чтобы маму ограничивали количеством писем, их было много. Толстые стопки разнообразных листочков долго у меня хранились, и только нелепая мысль, что ничего не надо хранить, что каждый новый кусок жизни зачеркивает прежние, заставила меня в один прекрасный день уничтожить хранимые лет двадцать пять письма мамы и письма ко мне Левы Разгона, писанные из лагеря и ссылки. Так и пропали те разнокалиберные листочки, исписанные четким красивым почерком мамы. Сохранился один только маленький листочек, на котором маминой рукой переписано стихотворение Саши Черного:

Если летом по лесу бродить,
Слушать пенье неведомых птиц,
Наклоняться к зеленой стоячей воде
И вдыхать острый запах и терпкие смолы,
Так все ясно и просто...

Мама очень тревожилась обо мне. Я всегда была с ней вполне откровенна, а в письмах особенно. Мне не приходило в голову, что нужно бы ее побереечь и кое о чем умалчивать. Писала я о своих обидах — детских, конечно, но ведь они не становились от этого легче, о том, как мне надоело в детском доме, как я хочу, чтобы меня забрали родные. Мама отвечала подробно. Однажды, помню, я написала ей, что у меня в волосах завелись вши. Все письма, адресованные нам, читали взрослые. Ответ мамы мне передал сам Павел Иванович. Зазвал меня днем в пустую спальню, усадил на кровать, сам сел рядом, обнял меня за плечи и стал неторопливо, сочувственно расспрашивать о маме. Видно, ее письма, полные рассказов о книгах и стихах, советов — не бытовых, а о жизни вообще — производили на него большое впечатление. Но и бытовой ее совет — вычесывать почаще волосы — его встревожил, он предложил мне немедленно пойти к медсестре.

В советах мамы никогда не было ничего несправедливого или пошлого. Сочувствуя мне всей душой, она советовала прежде всего обдумать свое собственное поведение, а уж потом судить окружающих. Она очень радовалась нашей дружбе с братьями. И в этих письмах было столько о книгах! Столько советов относительно того, что и как читать! Столько восхищения тем, что мы уже прочитали, и тем, что предстояло прочитать! И множество стихов! Однажды, много позже, уже не в детдоме, во время войны, я писала ей о своих отношениях с мальчиками,

о том, что ничего у меня не получается, нет настоящей любви. Как хорошо и просто она ответила: сейчас война и не время для любви. Не огорчайся, все еще будет. Прочти у А.К. Толстого:

Но не грусти, земное минет горе,
Пожди еще, неволя недолга —
В одну любовь мы все сольемся вскоре,
В одну любовь, широкую, как море,
Что не вместят и жизни берега.

и:

Но я любить могу лишь на просторе,
Мою любовь, широкую, как море,
Вместить не могут жизни берега.

Нужно помнить, писала она, что любовь мужчины и женщины — это только часть той любви, которую не могут вместить жизни берега, которая полнее и шире, чем любовь к одному человеку, хотя это и есть ее воплощение на земле. И если в любви двоих не присутствует эта всеобъемлющая сила, то она уже не так интересна и во всяком случае не полна. Писала, что больше всего испытывает присутствие этого великого чувства в любви к детям, что знала и настоящую любовь к одному человеку, к одному мужчине и всегда старалась внести в нее эту иную, высшую любовь. Быть может, я передаю все это не вполне точно, но возвышенный смысл ее письма был именно таков, и это было как раз то, чего жаждала моя душа, романтическая, как у большинства молодых людей того времени.

Мамины письма вообще всегда были чуть-чуть романтическими. Думаю, что отчасти это объяснялось тем, что она не могла ничего писать о своей жизни в лагере. Иногда только писала о своей подруге Е.Н. Селезневой. И однажды написала мне о своем друге (когда мы встретились, она тоже о нем говорила, и этот рассказ слился с тем немногим, что она писала). Он был болгарин, напоминал ей Тургеневского Инсарова, гордый и независимый, пламенно преданный своей родине. Он вышел на волю раньше, чем мама, прислал мне письмо, а мама написала, что я могу к нему обращаться как к родному. Я ответила ему, но переписка угасла, не успев начаться, и больше я о нем ничего не знала. Даже имени его я не помню, но тогда у меня было отчетливое впечатление, что для мамы это нечто важное и настоящее.

Музыка

Вот одно из сильных впечатлений моего детства. В огромной нашей столовой в Кремле, посередине комнаты, между колонн стоит рояль. Его черное блестящее туловище, как и вся пустая столовая, тонет в полумраке. Свет горит только около пюпитра с нотами, к которым склоняется отец. Покачиваясь в такт, пригибаясь к клавишам, он играет бессмертную музыку, которую я потом забыла, а вспомнила в детдоме, услышав по радио Патетическую сонату Бетховена. Очень поздно, он один, играет с большим чувством.

Однажды в детском доме я выходила из зала в предзальник, и навстречу мне из репродуктора, висевшего над лестницей, грянул бравурный полонез Шопена. Я не знала, что это за музыка, но сердце больно защемило: это тоже играл отец. Полонез кончался, и я не могла узнать, что это за музыка. Кинулась спрашивать — никто не знал да и внимания не обратили. Я так мечтала в следующие дни, чтобы его сыграли еще раз, — нет, не сыграли. Только через несколько лет в Москве я узнала, что это было за сочинение, и тогда музыка утратила таинственность. Но до сих пор, когда я слышу этот полонез, душа замирает.

Дима играл совсем по-другому. Он небрежно присаживался к роялю и по слуху наигрывал какую-нибудь модную мелодию Дунаевского.

Нас, детей, учили музыке дома. Михал Федрыч, наш учитель, приходил в Кремль два раза в неделю, и сначала мы все трое, а потом только я (братьев отчаялись учить) не зло над ним измывались. Он сидел за роялем, играл мне, а я за его спиной лазила по стульям, причесывая его поредевшие на макушке волосы. Как сейчас помню наше с ним пение:

Как мой садик свеж и зелен,
Распустилась в нем сирень...

А еще лучше было:

В движенье мельник жизнь ведет, в движенье...

Я не делала в музыкальном обучении никаких успехов. Но в Шué, узнав, что тут есть музыкальная школа, я решила во что бы то ни стало возобновить занятия — это тоже представлялось мне средством не утратить связь с прошлым. В детдоме был рояль, но на нем не играл никто. Я отправилась в музыкальную школу. Мест не было, кончался учебный год. Стою в коридоре,

поджидая кого-нибудь, кто решил бы мое дело. Кто-то подошел и объяснил, что ждать бесполезно. Но я училась, я должна учиться! — повторяла я в твердой уверенности, что раз я должна, значит, так и будет. И это действительно произошло! Меня взяли в музыкальную школу, и я стала туда ходить издалека, из Заречья, а дома мне давали ключ от зала, где стоял рояль, и я могла готовить музыкальные уроки. В зале иногда устраивались со своими уроками, а иногда и просто с книгами, Валя и Рем, бывало, что и Миша.

Дружба

Незадолго до войны, на заре нашей юности, прекрасной разве что тем, что это была юность, а вообще-то прикрытой черным крылом потерь, бед и неурядиц, довелось мне подружиться с Галиной Волковой. Она была старше меня всего на год, но мне казалась много старше, уже девушка, а я еще девчонка. Мне было пятнадцать лет, ей шестнадцать.

Я увидела ее впервые в музыкальной школе на занятиях по сольфеджио. Мы сидели в большой комнате. Она где-то в первом ряду, на ней блуза с матросским воротником, в уголках которого алеют маленькие якоря. Она всегда была красиво одета, и от нее так чудесно пахло — чуть-чуть духами, а больше всего свежестью и чистотой молодости. Я — в заднем ряду в грубом сером платье с нелепыми рюшечками на карманах, сшитом мною под беззлые упреки Натальи Трофимовны и с ее помощью и вызывавшим у Галины веселое удивление, как и все мои «туалеты». Какой контраст составляю я с ней — домашней, веселой! Она здесь своя, наша общая учительница музыки — ее соседка по дому и друг их семьи.

Какие-то мои слова, реплики на уроке вызывают ее любопытство, она часто оборачивается и смотрит на меня. После урока она заговорила со мной, я ответила. Вспыхивает интерес друг к другу. Кто ты, кто? Тебе интересно со мной? Хочешь знать обо мне? Неужели у меня будет друг? Неужели конец одиночеству?

Галина смотрела на меня с любопытством, я на нее с восхищением. Но в разговорах мы с самого начала были на равных. Сначала говорили о наших музыкальных занятиях, о школе (мы учились в разных школах — она в образцовой № 2, бывшей гимназии, я — уже не в Заречье, а в городе, в школе № 1,

более демократической, и мне казалось, что это соответствует ее и моей сущности), я — о детском доме, потом рассказала ей о моей прошлой жизни.

И вот у нас вошло в обычай, что после сольфеджио (по воскресеньям) мы отправлялись гулять по шуйским улицам, коротая время в бесконечных беседах. Жаркая весна, можно ходить без пальто. Мы выходим из музыкальной школы, напротив в булочной покупаем булочки или баранки, а иногда и пирожное, и бредем по тихим улочкам, где дорожки вдоль заборов окаймлены густой, мелкой, курчавой травкой. Трава пробивается и между булыжников мостовой. Цветет сирень, холодные, совершенной формы конусы перевешиваются через заборы из тихих садов на улицу. С центральной площади, от почты, спускаемся к Тезе, всегда одним и тем же маршрутом. На спуске к реке, справа всегда ритмичный шум и сильно пахнет грушевой эссенцией (так тогда говорили). Здесь, говорят, делают гребенки. Запах этот помнят все детдомовцы, и лет сорок спустя Миша Бауэр, желая узнать, действительно ли найденный им человек с совершенно другими именем и фамилией — его брат, спросил его, чем пахло на спуске к Тезе, и тот правильно сказал: грушевой эссенцией!

Медленно переходим через реку по небольшому деревянному мосту с нагретыми серыми перилами. Стрекот, как будто тысячи кузнечиков работают своими молоточками. Это Заречье, стрекочут фабрики. Вот за пышными тополями наш дом. Мы поворачиваем и идем обратно, совсем в другой конец города, до Галининого дома. А потом я — давно уже пора! — бегу домой. На кухне всегда оставят что-нибудь от обеда. На огромных черных противнях жареная картошка, потом кисель, чай с плюшкой. Все это съедаю тут же, на кухне, рассказывая поварихе о своей прогулке. И так счастливо на душе!

Мы много говорили о будущем, хотя ни она, ни тем более я не представляли его себе реально. Мои мечты связаны были, конечно, с возвращением родителей, в которое я все еще верила, она собиралась уехать из Шуи, поступить в медицинский институт. Когда, случалось, приходили к ней домой, я просила Галину поиграть. И она играла много и охотно. Больше всего я любила «Фантазию» Моцарта, которую она играла прекрасно, с большим чувством, иногда останавливаясь, чтобы сказать, что это место ей особенно мило. Мне тоже, наши чувства и мнения всегда совпадали. Много она играла Шопена — вальсы,

мазурки, одну за другой, и каждая была у нас с чем-то связана, некоторые с какими-то образами, иногда даже смешными. Была, например, мазурка (№ 5), которую мы называли «ковырять масло». Это у Герцена в «Былом и думах» описан старый лакей, который награждал тумачами докучавших ему мальчишек. Иногда он «ковырял масло», то есть как-то искусно и хитро щелкал, как пружиной, большим пальцем по их головам. Звучали у нас Мендельсон, Бетховен, Шуберт, Шуман, Чайковский. Я тоже играла, но умения мои были ничтожны.

Наши беседы становились все более долгими и разнообразными. О чем только мы ни говорили! Каким должен быть настоящий человек, как надо жить по совести, как поступать. Но больше всего — о книгах. Помню наши бесконечные разговоры об «Очарованной душе» Ромена Роллана. Я прочитала ее первая, она — по моему совету. Как нравилась нам сильная, прекрасная Аннета, какими необыкновенными представлялись ее отношения с сыном, а какое у него было чудное имя — Марк! А Сильвия, которая уже стареющей женщиной выучилась играть на рояле! Марк и Ася, смерть Марка, плач Аннеты... Мне хотелось быть именно такой. И никогда в наших разговорах не было ничего суетного. Наряды, успех? Да никогда! Вот стать настоящим человеком — это да. То ли время было такое, то ли возраст...

* * *

1941 год. Война развела нас с Галиной. Меня отправили на лесозаготовки, а потом я уехала к родственникам. Переписка у нас не налаживалась, казалось, что дружбе пришел конец. Но нет — мы встретились два года спустя в Москве, куда обе приехали поступать в институт. И поступили обе в педагогический.

Четыре институтских года мы были неразлучны. По утрам вместе ехали на занятия, на лекциях всегда сидели рядом, занимались в одних и тех же семинарах. Вместе мерзли в зимнем холоде Исторической библиотеки.

Два-три года назад мы увлекались «Очарованной душой» Ромена Роллана. «Восторженный лепет юности» (слова Герцена) — таково было теперь наше отношение к той книге. Однако благодаря этому «лепету» мы были, как писал тот же Герцен, «застрахованы от пошлого порока и от пошлой добродетели». Теперь мы захлеб читали «Былое и думы» — это было совсем другое. Многие ли читают сейчас эту замечательную

книгу? А для нас и эта книга, и сам Герцен — не столько его общественно-политические взгляды, сколько его личность и личная жизнь даже — были интереснее любой фантастики или детектива. Это чтение развило в нас серьезность и некоторую восторженность, убежденность в важности избрать любимое дело. И Герцен научил нас понимать любовь и дружбу как наивысшие блага жизни.

И сколько всего другого читали мы вместе, всегда вместе, обсуждали, восторгались, волновались... Сколько музыки слушали — и у Галины дома, и в Консерватории, в любимом зале с овальными портретами композиторов. Сколько бродили по Москве — и теплыми летними вечерами, и в роскошные красно-золотые осенние дни, и по весенним лужам, весной, в самое мое нелюбимое время года, которое пробуждает надежды, а они не сбываются.

Кончили институт, разъехались, расстались. Прошло пятнадцать лет. В 61-м году я вернулась в Москву и все еще пыталась поддерживать отношения с Галиной. Она давно уже перебралась в Москву, работала в ЦК комсомола. Дружба не получалась, но отношения тлели еще некоторое время, все остывая и остывая. Между ненужными встречами протекали уже не недели или месяцы, а годы.

В последний раз я увидела Галину, когда пришла проститься и проводить ее в последний путь. В мрачном зале крематория началась вялая панихида. Все оживленно зашептались, когда появилась и начала казенную речь бывшая комсомольская начальница покойной. А я глядела в неузнаваемо изменившееся лицо Галины с горечью думала о том, что не пришлось нам сохранить нашу неповторимую дружбу в этом мире, который безжалостно сводит и разводит людей, не оставляя им ничего, кроме сладких и горьких воспоминаний — все вперемешку.

Война началась

Вспоминая о годах войны, я не впервые задумалась о том, чем же была для меня война. Это странно и, может быть, даже страшно, но в те годы она не была мною осознана по-настоящему; не были осознаны потери, хотя они очень близко коснулись и меня. Я не видела ее, не пережила ни одной бомбежки, не видела убитых и раненых, не испытывала тяжкого

голода и холода, успешно училась. Вера Шерина, моя первая детдомовская подруга, была призвана в армию, ее часть стояла под Москвой, где я оказалась в 1943 году, и она два-три раза заходила ко мне. А у меня никогда не возникала мысль пойти в армию. Но все же: помню сильнейшее впечатление от фильмов военной поры — «Жди меня», «Два бойца», ужас и восторг, когда прочитала статью о Зое Космодемьянской и искреннее чувство, вызванное поэмой Маргариты Алигер «Зоя». И еще: однажды, занятая какими-то домашними делами, я услышала по радио пронзивший меня и заставивший остановиться и дослушать до конца отрывок из «Молодой гвардии» А. Фадеева: «Друг мой, друг мой! Я приступаю к самым скорбным страницам своей повести...» Я слушала «Молодую гвардию» и на-завтра, и во все следующие дни. Это теперь все мы, и я сама, знаем всё и уничтожающе судим и автора, и саму книгу, а тогда этими строками кровоточила жизнь.

Во мне не было ничего героического или по-настоящему патриотического. Страшно и неудобно стало на свете. Сводки Информбюро по радио я сначала воспринимала как нечто нереальное. Но то, что происходило рядом с нами и в детдоме, порождало тоскливую неуверенность. Вдруг в течение нескольких дней пищу, сразу ставшую очень скудной, дают совершенно без соли, в городе ее тоже не стало. Пресный вкус пищи — олицетворение беды. Хлеб не лежит больше на тарелках, а выдается по норме. Дежурные тонкими длинными ножами аккуратно разрезают черные буханки на тонкие ломтики. Когда его несут из кухни в столовую, бывает, что мальчишки набрасываются и хватают куски — не от голода, его все-таки не было, а из чистого хулиганства. Раньше это было немыслимым. Все поведение ребят изменилось. Вдруг распространилось сквернословие. В ответ на замечания девочек мальчишки грубо смеялись. Воспитателям было трудно, а тут взяли в армию директора Павла Ивановича. Новый не нравился, говорили, что с ним-то и связан надвигающийся хаос.

В нашей школе оборудовали госпиталь, а нас переселили в другое, тесное здание, учились в третью смену. А во дворе своей школы рыли укрытия на случай ожидавшихся бомбежек — узкие, извилистые, длинные окопы. Мокрая земля, сырые листья... На другой день — учебная тревога. В швейной мастерской шьем какое-то подобие рюкзаков — небольшие заплечные мешки с лямками. Это для предстоящей эвакуации: приказано

сшить эти мешки и заложить в них сухие пайки на несколько дней. Еще шьем войлочные чуни: натягиваем верх на колодку и пришиваем войлочные же подметки

В эти дни я пришла к Ляле Арсеньевой — подруге моего брата Вали, который был уже на фронте. В доме на Базарной площади — почему-то его называли «Лондоном» — их интеллигентски небрежная квартира. Круглый стол со сползающей старой кружевной скатертью, много книг. В глубоком кресле сидит высокая, сухая пожилая дама, на плечах платок, курит. Это Лялина мать. Я рассказываю о мешках на случай эвакуации. Она молча слушает, печально кивает головой. «Да, да, но ты не расстраивайся, это для вас самое лучшее. Где-нибудь в глуши, тихо, без эксцессов перейдете под новую власть». «Какую новую?» Я в недоумении. «Под власть Германии, конечно». Такое не приходило мне в голову никогда — и в первые месяцы войны тоже. Слова эти запомнились именно абсурдностью, я их даже как-то не поняла, но запомнила. Приходить к Арсеньевым, как советовал мне, уезжая год назад, Валя, больше не хотелось.

Эвакуация не состоялась, все остались в Шуе. А меня и Раю Гарницкую отправили на лесозаготовки в далекую деревню. Пилили бревна и складывали их в штабеля. Но работники мы были никуда, и в первые же дни выяснилось, что даже отдаленно не приближаемся к выполнению нормы. Тогда нас послали копать картошку, и мы несколько дней работали в поле, заработали по мешку, да зачем он нам и как его тащить? Работа кончилась, домой надо было добираться самим на пароходе. Чтобы вовремя попасть на пристань, мы отправились в путь ночью, в темноте прошли километров 10-12 и на другой день ехали домой по тихой осенней реке. Следующую ночь провели, стуча зубами, на холодной палубе в толпе куда-то едущих людей. Утром холодный и мокрый рассвет, неласковое осеннее солнце, пароход режет носом безмятежную гладь и, как мне кажется, быстро несется вперед. Крутом люди в тяжелом неуютном сне, а я стою у борта и гляжу, гляжу на неяркие уже, голые близкие берега.

Вернувшись в Шую, я решила попытаться уехать из детдома. Связь с братьями оборвалась, они не успели приехать на каникулы и оба были уже в армии. А до Валиной гибели осталось уже совсем немного.

Памяти брата Вали Осинского

Меня мучает мысль, что Валу уже не помнит почти никто. Ни время, ни место, ни обстоятельства его гибели неизвестны, и это еще лет пятнадцать назад питало мучительную надежду — бесплодную, конечно, — на то, что он все-таки жив. Теперь эта надежда угасла. А то все думалось: вдруг он среди тех, кто десятки лет влачит безнадежное существование инвалида без рук, без ног, или вдруг живет где-то за границей и забыл нас...

Хотя умом и понимаю, да и раньше понимала, что давно уже нигде на свете не живет этот юноша в дешевом залоснившемся коричневом костюме и сатиновой серой рубашке с обтрепанными манжетами — таким я помню его в наше последнее свидание зимой 1940/41 годов, когда он, уже студент, приехал в детдом на каникулы. Вот и фотография тех дней передо мной. Высокий лоб, распадающиеся на две стороны прямые темно-русые волосы. Строго смотрит этот юноша, и только по-детски оттопыренные губы и мягкий, не резко очерченный овал лица говорят о добродушии и чистоте — потому, быть может, говорят, что я знаю: таким он был. На детских фотографиях — ангельского вида мальчик, даже на той первой карточке, где он лежит, вытаращив большие светлые глазки, затянутый в ослепительно белый пикейный конверт с кружевами, на руках у красивой, молодой, улыбающейся берлинской няни в форме сестры милосердия. Милое, простодушное, обаятельное выражение у маленького Вали на всех его детских фотографиях. Валя стоит как живой в моих самых первых детских воспоминаниях — мальчик лет шести, босой, в белой рубашке навывпуск с узеньким ремешком.

Когда меня спрашивают, с кем было связано у меня в детстве ощущение дома, стабильности существования и тесной родственной близости, я говорю — это мои братья Валя и Рем; они прежде всего, а потом уж мама и папа. С Валею и Ремом мы были неразлучны, составляли как бы одно целое существо. Всё вместе — одна комната, одни вещи, одни книги, одни игры и прогулки, одни развлечения. Но для Вали главным, преимущественным и любимым занятием было чтение. Мы с Ремом тоже любили читать, но с ним никто сравниться не мог. Почему-то он завораживался в какие-то немыслимые тряпки — старый, рванный плед, например, забивался в малообитаемый угол и читал, читал...

И в воспоминаниях своих я не могу отделить себя от Вали и Рема. Смотрю на фотографию. Мы трое на ней, мне 6 лет,

Рему 8, Вале 9. У всех почему-то испуг на лице. Я по обыкновению тех лет стриженная под мальчика. В середине черноволосый темноглазый Рем. Справа от Рема — Валя. Светлые волосы, светлые глаза. На нем халатик с белым воротничком — он уже школьник.

Валя, Валерьян, появился на свет после серьезной семейной драмы, едва не кончившейся разводом родителей. Рождение сына — он родился в Берлине, куда отца отпустили на год для изучения новой экономической литературы, — знаменовало примирение и решение сохранить семью, и вся любовь родителей была отдана этому мальчику. Особенно отец обожал его, не скрывая своего предпочтения. Он никогда не жалел времени, проведенного с младшим своим сыном, много с ним занимался, брал его с собой в поездки по стране.

К сожалению, я хорошо это чувствовала. Думаю, что это было причиной моих с Валею детских ссор. Я без конца дразнила его — за рассеянность, за заикание. Бедный Валя! Он заикался после перенесенной в детстве скарлатины, и никто не мог его вылечить. Его мучительные попытки начать говорить — он нагибал голову, брызгал слюной, делал отчаянные жесты рукой — вызывали у меня раздражение. В детстве он, случалось, бросался на меня с кулаками, плача от обиды. Мне до сих пор стыдно вспоминать те конфликты.

Удивительно, что безграничная родительская любовь и особое внимание к Вале нисколько его не испортили. Простодушный, открытый и доброжелательный мальчик, он отвечал на родительскую любовь любовью к ним и ко всему миру. Характерной его чертой, неизменно меня удивлявшей, был совершенно не свойственный мне оптимизм, не покидавший его никогда и помогавший в трудных ситуациях. И в школе и в детском доме Валею любили. Он был из лучших учеников, но никто ему не завидовал. Ему, похоже, не приходило в голову, как мне, что он чем-то отличается от других. Он так любил своих товарищей, так увлекался их общими делами!

У меня есть Валины письма к маме в лагерь. Она сумела их сохранить, а я прочитала их после ее смерти.

Когда нас забрали в детдом, мы ничего не знали о маме целый год. А потом по подсказанному знающими людьми адресу лагеря в Мордовии наугад послали посылку на ее имя, и мама посылку получила! К нам в Шую прилетело письмо от нее. И мы стали ей писать, все трое. Но самым аккуратным корреспондентом был Валя. Вот первое Валино письмо:

Милая, дорогая мама!

Сегодня мы получили твое письмо и были ему страшно рады. У меня сейчас как раз есть свободное время /.../ и я решил написать тебе обстоятельное письмо.

Живем мы все вместе в Шуе с весны прошлого года, в детдоме № 2. Жить тут довольно хорошо, есть все условия для учебы. Мы все учимся и будем кончать среднюю школу. 10 класс таки теперь есть, я в него сейчас перехожу. Я думаю кончить школу отличником и тогда пойду в вуз без испытаний. Учусь я и сейчас хорошо: за год, думаю, по всем основным предметам будет отлично. Рем учится еще лучше моего, а о Светке и говорить нечего: сроду была отличницей, ею же и осталась.

Школа наша, средняя № 1, очень хорошая. Говорят, что наш директор Юрий Гаврилович Трондин всех лучших учителей из города сманил к себе... Класс мой неплохой, напоминает мне мой старый. Все ребята способные, но страшные лентяи. Ругают нас постоянно за плохую учебу. Меня в классе избрали старостой, и весь год я честно нес сие звание, старостой был неплохим.

В школе есть у нас не драмкружок, а нечто вроде — драмколлектив или «Малый Шуйский Академический театр». Имеется основной состав артистов — это М. Кристсон, со мною в детдоме живущий, я и еще человека четыре. Когда же в спектакле требуется больше актеров, мы ищем по классам самородков, могущих играть. И спектакли выходят неплохие. Ставили мы отрывки из «Маскарада» Лермонтова, Кристсон играл там главную роль — Арбенина, я же самую маленькую — шулера Шприха. Успех имели мы немалый, хотя на великосветских кавалеров и дам наши актеры очень мало походили. Костюмы, впрочем, были великосветские, из гортеатра — фраки, белые жилеты, галстуки и чудный мундир с советскими звездами на пуговицах. Потом ставили мы водевиль «Под дикой яблоней». Там уж я играл довольно важную роль — комика-профессора. Успех был очень большой, играли мы ее в Шуе в самых различных местах. После этого, когда я проходил по улицам, сзади кричали: «Гляди, ребята, профессор идет!» Хотели к концу года поставить «Женитьбу», но директор не велел, дабы нас от испытаний не отрывать.

В школе с ребятами у меня отношения хорошие, со всеми дружу. Да, мама, ты помнишь, может быть, товарищей моих московских, Сашу Когана и Мотю Эпштейна? Так вот они меня не забывают, пишут, посылают посылки с книгами и разными

вкусными вещами. Также пишет мне очень часто Мира Кузяткина, из моего старого класса. Так что со школой все хорошо. /.../

Мама, в Шуе есть библиотека, и не одна, а целых четыре. И во всех я записан, беру книги для себя и для Рема и Светы. Прочитал я за последнее время очень много — и самых различных авторов. Прочел все три романа Гончарова, много Л. Толстого, А.К. Толстого, «Козьму Прутков», много Салтыкова-Щедрина, «Что делать» Чернышевского и еще массу. Из европейцев — очень много Гейне, стихи по-немецки, прозу по-русски, Гете. Особенно полюбил «Фауста», читал 1-ю часть три раза, Бальзака немножко — «Отец Горио», «Гобсек», Ибсена много пьес, Гофмана и еще много других — всех не упомнишь. Книг-то у меня хватает.

Есть у нас в Шуе театр, а наш детдом имеет в театре абонемент. Так что мы видим все спектакли. Театр неплохой, есть актеры талантливые. Лучше всего у них было: «Снежная королева» по Андерсену и «Коварство и любовь». На последней пьесе девочки из нашей школы рыдали. Часто ходим мы в кино. Вот, мама, ты сомневалась, что Шукин сыграет Ленина, а он таки сыграл и очень хорошо. Есть уже фильмов пять про Ленина, есть только про него, а в других он появляется по ходу действия. В фильмах «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году» играет Шукин, а в других — Штраух из театра Революции. Шукин, конечно, много лучше. Выпустили 3-й фильм о Максиме — очень хороший.

Теперь об испытаниях. Покамест все, кажется, сдал на отлично. Осталось 4 предмета, надеюсь и их сдать хорошо. У Рема и у Светы все благополучно — тоже все сдали на отлично. Да, впрочем, они сами тебе напишут. Пиши, милая мама, о чем тебе написать и что тебе нужно. Крепко-крепко тебя обнимаю и целую.

Валя

В этом простодушном веселом письме звучит то, что мы трое твердили себе: жизнь продолжается, главное — надо учиться! И весь Валя в этом письме — все ему было интересно, он жил весело и радостно и готов был со всеми поделиться своей радостью. И будущее представлялось ему светлым, он был уверен, что жизнь его не подведет. Ничто не могло нарушить его веселую уверенность — все хорошо, несмотря ни на что! Он и всех приглашал разделить с ним эту уверенность. Он всячески успокаивал маму, тревожившуюся за нас.

Мы с Ремом не курим и курить не собираемся, — писал он, — во-первых, вред здоровью, во-вторых, деньгам перевод и, в-третьих, — воевать или что — туго придется. Пить — также не пьем. Попробовал недавно пиво в театре — пить хотелось,

а нечего — дрянь жуткая. На этот счет можешь быть спокойна. Как обстоит дело с моим заиканием? Осталось оно таки у меня и довольно сильно мешает отвечать на уроках. Но когда я играю на сцене, оно пропадает. Когда мне дали первую роль — в «Маскараде», — я сначала испугался — думал: вдруг сорву? Но прошло хорошо. А вторую роль я сразу взял большую. По ходу действия там приходится петь и плясать. Я и то и другое делать люблю, хотя и не умею. Поэтому все это получалось не ахти как, но веселó, как в Шуге говорят.

Мамочка, ты спрашиваешь, в какой ВУЗ я думаю идти? Я сам, понимаешь, еще не решил. Может быть (и это вероятно), в историко-философско-литературный институт в Москве, на литературный факультет. Может быть, стану научным работником — а ведь это, в области литературы, очень интересно. А, может, пойду в медики или на биологический факультет какого-нибудь университета.

По окончании школы Валя собирался отслужить в армии, прошел приписку в военкомате, был зачислен в саперные части. Но ни его, ни Рема в армию так и не взяли — не место было в армии сыновьям врагов народа!

Выбирая между биологией и филологией, Валя выбрал бесповоротно классическую филологию. Лучшее классическое отделение было в Ленинградском университете. Мама советовала ему поступать все же в Москву, где есть родственники, которые, может быть, смогут ему помогать. Но он выбрал Ленинград, поехал туда с отличным дипломом и поступил в университет. Бедствовал, жил на одну стипендию, подрабатывал, как мог.

Вот отрывок из письма первокурсника Вали из Ленинграда (весна 1941 г.):

Кажется, про стипендию и прочее я уж тебе писал. Наша первокурсная стипендия — 140 рублей в месяц, 15 рублей за квартиру, 10 рублей на белье, конверты (а это у меня весьма большое место) и остальные 120 на еду. Так что живу из расчета 4 рубля на день. Не всегда, в общем, хватает этого, приходится иной раз занимать — обычно у Севы, но в долги я все же не залезаю, и у самого меня есть сейчас должники, так что на худой конец могу с них стребовать — да они и сами отдают. Прирабатывал я одно время в искусстве — в Ленфильме статистом, вместе с Севой, но теперь времени уже не хватает, там работа по 8 часов, и днем, а это значит пропускать лекции и языки, после переписывать, да к экзаменам толком не подготовиться. А я стою за Севину позицию, что самое главное — стипендия, все приработки уж менее важны /.../

В общем, конечно, плоховато живется без роду без племени в городе. Да большинство моих товарищей здешних так же и живет: у Севы есть какой-то двоюродный брат, к которому он раз в месяц ездит, но толку от него никакого, у Феди Алексеева дядя — тенор Большого театра Головин, да он его и знать не хочет. А, в общем, и так проживем. Вот только б весной вытянуть сессию, уж на втором курсе стипендия будет 160 рублей, можно жить получше. А не вытяну — буду лето работать, один парень из нашей комнаты предлагает ехать с ним на Волгу слесарями, говорит, что он на этом деле в месяц тысяч по 12 зарабатывал, а он врать не любит. Не пропаду, авось.

А экзамены уж скоро сдадим... Истории Греции я что-то бояться перестал, говорят, наш Соломон Яковлевич свет-Лурье особо не режет, но вот языкознание пугает, так что сейчас я к нему готовлюсь — перечитываю конспекты лекций и кое-что читаю.

В общем, писать о своей жизни много нечего — хожу на лекции, после обедаю и еду в Публичную библиотеку, там до половины двенадцатого сижу, а там еду домой спать. Так что образ жизни довольно спартанский, и ругают меня всякие личности за зубрежку и отрыв от жизни. А мне все равно, вот летом, как сдам экзамены, тогда и буду жить и на жизнь смотреть, как говорит Федя Алексеев. Кончает сейчас Сева свой доклад о Некрасове и, как кончит, отметим сие чем-нибудь — в кино пойдем.

Между прочим я дал мой доклад о Расине и Еврипиде зав. нашей кафедры, Ольге Михайловне Фрейденберг, она его прочла и сказала, против всех моих ожиданий, что доклад очень хороший. А я уж его жечь собирался. Все же знаю, что мог и лучше гораздо написать, глубже. Но факт, в общем, отрадный. Будет еще у нас одно собрание кружка, где сама Фрейденберг выступит о моем докладе. Все же чувствую, что будет ругать — да за дело, это не обидно.

Хожу иногда в кино и чувствую после, что если б вот не такой иной раз отдых, было бы плоховато. Работаю я иной раз без передышки и усталости не замечаю и не чувствую, но уж работается хуже. Но все же до перезубрежки себя не доведу. Смотрел я «Валерия Чкалова», очень хорошая картина, и «Василису прекрасную» — тоже неплохая. А через два дня иду вместе со светилами славяно-русской филологии — Севою и Федькой Алексеевым и тюрко-монгольской — Пренлеем Доржиевым (бурят из нашей комнаты) в МХАТ, на «Дни Турбиных». Только, кажется, не играют там ни Тарасова, ни Хмелев, ну, да есть все же Яншин и Андровская, тоже актеры чудесные.

Ну, мамочка, кажись, все написал. Крепко тебя целую и жду письма».

Сокурсница Вали Е. Мончадская написала мне о нем. «С Вали Осинским я познакомилась в первый день 1940/1941 учебного года. Я была назначена старостой группы, и после вступительной лекции ко мне подошел юноша из нашей группы классиков (нас было человек 20, после первой сессии осталось 10) и сказал, смущаясь, что он из детдома, общежития ему не дали. Ему негде жить, он несколько раз ночевал на вокзале, и не могу ли я как староста походатайствовать в деканате. Он был высокого роста, светлый шатен, почти блондин, лицо несколько смуглое, с юношеским румянцем. Помню даже, как он был одет. Он был в коричневом костюме (одели его, конечно, в детдоме), рубашка к концу года заметно поизносилась, все очень аккуратно, но, конечно, небогато. Скоро общежитие он получил.

Учился он блестяще. Среди нас выделялся тем, что знал языки. Но он и занимался больше всех. Я его все время видела в читалке, и факультетской, и фундаментальной. Наша заведующая кафедрой Ольга Михайловна Фрейденберг организовала студенческий научный кружок. Я была в нем старостой. Валя сделал в этом кружке блестящий доклад о Еврипиде и Расине. Ольга Михайловна Валию очень выделяла, пыталась организовать ему материальную помощь, собрать деньги, но он в этом отношении был гордым и помощи не принимал. В группе знали, кто его отец, но он о своей семье ничего не рассказывал. Говорил только о младшей сестре, к которой ездил в детдом в Шую.

Последний экзамен мы сдавали уже после начала войны. Тогда я видела Валию в последний раз. Он один из первых подал в ополчение. О.М. Фрейденберг писала мне в 1942 году в Душанбе, что Валя пошел в ополчение и пропал без вести. Больше она ничего не смогла узнать. А она была человек энергичный, и тогда все это было еще так близко... По-видимому, все они погибли. Воспоминания о Вале у меня самые добрые и светлые. Он был необыкновенный человек, это чувствовалось. Я убеждена, что если б он не погиб, то был бы выдающийся ученый. Это было видно уже тогда».

Летом 1941 года Валя намеревался, заработав денег, поехать в Соликамск на свидание с мамой, захватив с собой и меня. Но началась война, и Валя сразу ушел в ополчение. Помню: осенью 1941 года в детдоме, в большой классной комнате, я стою, прижимаясь спиной к чуть теплой, высокой, круглой железной печке. За столами маленькие ребята, я с ними вместо воспитателя.

Дождливый вечер. При тусклом свете голой лампочки под потолком перечитываю написанное ужасным мелким почерком письмо от Вали.

Дорогая Светочка! Вчера вернулся я из моих Вортемяк (там, в самом начале войны, Валя с другими студентами был на трудовых оборонных работах — С.О.) и нашел твое письмо у нас дома. Сейчас два дня гуляем, и вот хочу тебе написать. Дела мои обстоят так: работа наша кончилась, работал я там много, уставал здорово, но, в общем, работал хорошо — был в нашей бригаде одним из лучших.

Сейчас у нас в Ленинграде собирается народное ополчение, все комсомольцы идут туда. Иду и я вместе с Севой и всеми товарищами... придется повоевать, наверное. Только ради господ Бога не бойся за меня, у меня такое чувство, что вернусь я живой и здоровый. Теперь я хочу немного написать тебе самой. Прежде всего, Светочка, выбрось из головы мысль, что тебя убьют. За твою жизнь опасения даже малейшего не может быть. Вот мы живем в Ленинграде, город около самой границы, а до сих пор ни одной бомбы не было. Не будет ее и в Москве... ни один немецкий самолет не дорвется. Теперь учеба, верно, и твоя, и моя, и Рема, на время кончается. Помни только, что после войны ты будешь учиться обязательно, и школу кончишь, и вуз, и станешь настоящим, хорошим, стоящим человеком. Трудно будет сейчас — год-два, может быть, немного после войны. А после, когда разобьют Гитлера и отстроятся, замечательная будет жизнь, как Чапаев говорил, умирать не надо.

А за меня не бойся, вообще держись крепче... Сейчас еще моего будущего адреса не знаю, как узнаю — напишу — завтра или послезавтра. Крепко тебя целую, желаю тебе здоровья и сил. Все кончится хорошо. Валя»

Держу в руках старую почтовую открытку 1941 года. Адрес «Почтовая полевая станция 473/21. Осинскому Валерьяну Валерьяновичу». К открытке приклеена маленькая бумажка со словами: «В Москву. Адресат Осинский **ВЫБЫЛ НЕИЗВЕСТНО КУДА**».

Адресат Осинский — это Валя. Открытка была от бабушки. Слова «неизвестно куда» оказались удивительно точными. С ними вполне совпадало содержание полученной мной в Шуе бумаги:

«НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
г. Шуя И/о. 1-я Нагорная у, д.35, детдом №2. Осинской С.В.
№1204. Центральное бюро по персональному учету потерь
личного состава действующей Армии. Москва, ул. Фрунзе, 19

На Ваше письмо сообщаем, что сведений о местонахождении Осинского Валериана Валериановича в настоящее время не имеется. В списках убитых, умерших от ран и пропавших без вести он не числится.

Зам начальника отдела (подпись нрзб.)

12.4. 1942 г.»

Мои попытки узнать хоть что-нибудь о судьбе Вали не увенчались успехом. По-видимому, он погиб осенью 1941 года в страшных неравных боях под Ленинградом. Впрочем, мой брат Рем, прошедший войну, высказывал предположение, что Вaley как сыном врага народа могли заинтересоваться особысты. Может быть, это они решили его судьбу?

Кем он успел стать? Понимал ли до конца все, что происходило в стране? Думаю, что нет. Понимал ли смысл того, что случилось с нами? Вот он пишет про фильмы о Ленине. Думаю, не понимал. А многие ли понимали?

Наверное, он стал бы ученым. Впрочем, очень может быть, что никем бы он все равно не стал. С его фамилией — он был Осинский и родился в Берлине — загредел бы туда же, куда ушли отец и старший брат.

Я верю, что Валина безгрешная душа нашла успокоение. Думаю, что за свою короткую жизнь он вряд ли совершил хотя бы один подлый поступок. Но не потому, что был принципиален и строг — нет, этого не было в нем, а потому, что был добрым человеком. К таким, как он, относятся строки Н.А. Некрасова:

Не рыдай так безумно над ним,
Хорошо умереть молодым.
Беспощадная пошлость ни тени
Наложить не успела на нем.

Ардатов

Мой четырехлетний племянник Илюшка, сын расстрелянного Димы, со своей бабушкой Верой Михайловной и семьей ее сестры Руфины Михайловны эвакуировались из Подмосковья в маленький мордовский городок Ардатов. Муж Руфины Михайловны Яков Михайлович Прохоров был агрономом и работал в большом плодоягодном совхозе. Я совсем не знала

и никогда не видела Прохоровых, но решила и написала им письмо из Шуи, просила взять меня к себе при условии, что буду работать у Якова Михайловича в совхозе. Мне было семнадцать лет, здоровая и сильная, я казалась себе готовой к той работе, которую мог мне предложить Яков Михайлович.

Ответ пришел быстро. Прохоровы соглашались взять меня к себе, но, писала мне Вера Михайловна, не надо думать ни о какой работе. Будешь учиться, кончишь десятилетку, потом поступишь в вуз. И я, не колеблясь, согласилась... Теперь я думаю, что то был ложный шаг. Вспоминая несколько последующих лет, до того времени, как я начала самостоятельную трудовую жизнь, я всегда чувствую в них что-то неверное и даже немного стыдное. Зачем почти на шесть лет согласилась жить на чужих хлебах? Разве не могла я хотя бы попытаться все повернуть по-иному и поступить более достойно? Конечно же, могла, но не поступила, махнула рукой и бездумно, не совестясь, соглашалась на все благодеяния, на все, что предлагали. Благодеяния эти были нелегкими, не покидала горечь, порою отчаяние, но юношеский эгоизм, полное неумение и нежелание вникнуть в жизнь тех, кто обо мне заботился, мешали поступить иначе. А ведь хотела...

Незадолго до отъезда я получила в Шую паспорт. Обнаружилось, что в метрическом свидетельстве у меня фамилия вовсе не та, с которой я жила до сих пор, — не Осинская, а Оболенская. Оболенская нравилась мне больше, да и вообще было интересно — пришлось изменить фамилию в детдоме, в школьных журналах. Но начальнику паспортного стола все это было интересно совсем по иным причинам и показалось странным. Он смотрел на меня с подозрением и говорил, что нужно еще разобраться, почему я столько лет скрывала свою истинную фамилию. Но мне, как всегда, совершенно не было боязно — я не верила, что может случиться что-то плохое. Ничего и не случилось, паспорт выдали.

Я уезжала к родственникам, никакого приданого мне не полагалось. Только стараниями Натальи Трофимовны мой чемодан — большой, еще московский, был не совсем пустым. В детском доме никто меня особенно не удерживал. С началом войны и приходом нового директора он перестал быть родным. Наталья Трофимовна грустила (несколько лет спустя она призналась мне, что еще до войны хотела взять меня к себе, но не решилась, зная, что моя мама, по-видимому, вернется). Татьяна Николаевна сердилась, но не очень. Вера Ш., кончившая школу

и выпущенная из детдома, была уже в армии. Одноклассницы мои огорчались...

И уехала, одна отправилась в адски трудное путешествие 1942 года, 17-ти лет, совсем еще девчонкой, без лишней копейки в кармане, но совершенно бесстрашная. Что одной страшно — и в голову не приходило, я и до этого была одна и уже привыкла полагаться на собственные силы в практических делах. В Канаше — жуткая пересадка с ночевкой на заплыванном полу, под головой — чемодан, почти драка при посадке. В Ардатове железнодорожная станция километрах в 10 от города. Приехала я под вечер и пошла пешком, поставив огромный чемодан на плечо. Так и пришла, вызвав крайнее удивление, — не побоялась прийти одна, и чемодан чуть не больше меня.

Ардатов был тихий, зеленый, утопал в садах, стоял на холмах, спускавшихся к большой реке Алатырь. Ни одной мощеной улицы, весной и осенью грязь, ходим в сапогах (я ходила в военных сапогах Димы, они нещадно болтались у меня на ногах, но хорошие были сапоги, хромовые).

Первый опыт жизни у родственников. Мне очень повезло. Руфина Михайловна — одна из двух встреченных мною в жизни истинно и абсолютно добрых женщин (мужчин абсолютно добрых встретить не довелось!). Дочка земской учительницы, всю жизнь трудившейся в Инсаре, недалеко от Ардатова, тоже в Мордовии, она рано вышла замуж и всю жизнь была домашней хозяйкой, преданной женой, кротостью своей смягчала нелегкий характер мужа, мешавший ему уживаться с начальством и определявший их частые переселения. Руфина Михайловна была некрепкого здоровья (у нее бывало нечто вроде эпилептических припадков), но везла воз расширившегося в эвакуации семейства без единого упрека, всегда ровная, спокойная, улыбчивая, кроткая и твердая в одно и то же время. Целый день она сновала по дому, ухватом ворочала чугунки в печи, доила козу, бесконечно чистила картошку, стирала, проверяла дочкины уроки и еще ухитрялась много читать — это было любимое ее занятие. Мягкое лицо, уже тогда седина, сутулая фигура, букву «р» выговаривала еще хуже меня. Интересуется всем на свете, но как-то тихо, ненавязчиво; светится вся тихим спокойным светом. Нельзя себе представить, чтобы Руфочка повела себя нечестно, недостойно или корыстно. Она обязательно должна была быть верующей. Дина говорила мне, что когда-то так и было, но арест любимого брата в 1937 году и вообще аресты

несправедливостью своей отвратили ее якобы от религии. Я в это не верю. Впрочем, обрядов она не соблюдала, икон в доме не было.

Мне чуть-чуть страшно. Как будто то, что я пишу о людях, влияет на их поступки и судьбы. Вспомнила о Вере Шериной — и вот, после сорока лет молчания, она позвонила мне. Написала о детском доме — и вот встреча воспитанников в Шуе. И вот я написала о Руфине Михайловне, а через несколько дней она умерла. Умерла в тяжких страданиях. Руфочке было 85 лет, и она с душевной мукой на пять лет пережила своего милого Янечку, с которым не расставалась, наверное, ни на один день, пережила и сестру Верочку. С ней ушел целый мир, вещно воплотившийся для меня в тесной квартире, которую снимали Прохоровы в большом деревянном, на деревенский лад устроенном доме. Три комнаты, разделенные лишь дверными проемами с занавесками на них, с крошечной кухней, где было столько работы — скучной и тяжелой, которую я никогда не считала своей. Мне, я думаю, было бы тяжело, если бы не доброта Руфочки, смягчавшей все трудное. Мир ее светлой душе...

Что вспоминается об Ардатове? Школа — какая-то ерунда, никакого интереса, кроме того, что нужно же ее кончить. Впервые целовалась с мальчиком-одноклассником, не встреченным никогда больше и оставившем в памяти лишь светлую летнюю ночь, проведенную на высоком крыльце нашего дома в беседах о будущем, а в городском саду играет оркестр и танцы, и мы слышим далекую музыку и забываем (даже и он, которому совсем скоро идти туда, забывает), что где-то далеко идет война. Письма, письма от мамы из лагеря, письма от детдомовских подруг, уже уходящих в прошлое, редкие письма от Рема с фронта. А от Вали нет и никогда не будет, но я все еще жду...

Кончался десятый класс. Мама советовала мне избрать профессию либо врача, либо агронома. Бедная мама! Советы эти диктовались только страхом перед возможностью моего ареста, она сама мне потом об этом говорила. Врач не пропадет нигде, всегда и везде нужен, в лагере нужен тоже. Агроном — это уведет меня в деревню, с глаз долой от тех людей, которые станут меня преследовать как дочь врага народа Осинского. Профессия врача мне очень нравилась, но никогда не решилась бы я взять на себя ответственность за человеческую жизнь. Агроном? Как ни странно, я этого не исключала. К счастью, однажды Яков Михайлович спокойно, но очень решительно отсоветовал мне,

справедливо и веско аргументируя тем, что в агрономы должен идти сельский житель, или, по крайней мере, тот, кто любит и понимает деревню.

Дина настойчиво советовала избрать такую специальность, которая обеспечит мне сразу же независимое существование. И институт выбрать такой, где была бы хорошая стипендия и безусловно общежитие. Робкие мои разговоры о том, что я хотела бы заниматься литературой, как Валя, она решительно отменяла. У меня будет отличный аттестат, что, по ее мнению, означало, что математика, физика, химия в институте не составят для меня труда. По ее настоянию я написала заявление в Московский Нефтяной институт и была принята без вступительных экзаменов — в аттестате моем были круглые пятерки. Пришел вызов, и в самом конце августа 1943 года — в Москву.

Едем в Москву, еду не только я, возвращается из эвакуации Вера Михайловна с Илюшей. На станции в Ардатове мы провели чуть ли не сутки: сначала не было билетов, потом никак не шел поезд. Наконец, помнится, на рассвете, решается моя судьба. Вера Михайловна с Илюшей уехали в обыкновенном вагоне, а меня почему-то устроили в пустом товарном вагоне, в котором начальник станции переправлял свою козу. Раздумывать не приходилось, и меня все с тем же чемоданом впихнули к этой козе. На полу много сена — для козы и для меня. Коза мирно и медленно жевала, не обращая на меня никакого внимания; за тонкой перегородкой — движение и разговоры. Сначала было немного тревожно, но поезд тронулся, мирно заговорили колеса, никто ко мне не входил. Понемногу я успокоилась и погрузилась в блаженство одинокого путешествия, спала, читала стихи, думала о будущем. Обещали довезти до Москвы, однако высадили в Муроме. Снова ночь на вокзале, а наутро всем, у кого был вызов, продали билеты, и вот уже Москва совсем близко!

Снова в Москве. У Оболенских

Ранним-ранним осенним утром я выхожу из душного, набитого едва пробудившимися людьми вагона на перрон Ярославского вокзала, с восторгом и недоумением гляжу на мою Москву. Я не видела ее четыре года, а кажется — вечность. Пустынное пространство площади, родной воздух, все здесь родное и горькое — горькое от воспоминаний и от войны. Хочется

спокойно и неторопливо войти в этот мир — не прежний, но знакомый — вот бы медленно идти по улицам и все узнавать. Некогда, однако.

При отъезде из Ардатова Дина внушала мне, что тотчас по приезде я должна отправиться в Нефтяной институт, где мне обязаны дать общежитие. Она очень боялась, что я явлюсь к ней и сяду ей на шею. Это, конечно, было невозможно — с сыном и матерью она жила в 12-метровой комнате коммунальной квартиры. Я прямиком отправилась на Калужскую площадь, в Нефтяной институт. Оформление документов прошло молниеносно, и я стала студенткой промыслового факультета, где была самая высокая стипендия — 300 рублей на первом курсе. А общежитие, обещанное в вызове? Поезжайте в студенческий городок, там все узнаете. Там — никого. Сторож объясняет, что никого не селят, будто бы будет ремонт. Студентов нет ни одного. Что же делать? Я не помнила адреса бабушки и не знала, что ее уже нет в живых. Не помнила ни адресов, ни телефонов теток, кроме одного — телефона тети Гали, потому что он чаще всего звучал у нас дома в устах мамы — один пятнадцать два нуля. И я звоню ей и иду к ней в тот самый дом с темной лестницей на углу Армянского и Кривоколенного переулков.

Тетя Галя была одна. Наверное, поэтому она приняла меня, оставила ночевать, а на другой день повела к Павлу, своему брату и брату моего отца — пристроить меня туда. Поздним вечером мы пришли в не существующую ныне квартиру в доме на углу Никитской и Собиновского переулков, напротив театра Революции (напротив окон этой квартиры виднелся большой балкон в здании театра, куда летними днями иногда выходили актеры, нарядной веселой гурьбой стояли там, переговариваясь и смеясь). О, эта квартира на высоком третьем этаже, с желтой каменной лестницей, темной и вонючей внизу, да и наверху не особенно чистой, с дверью, обитой дерматином, из которого ключьями вылезал войлок, с разнообразными почтовыми ящиками и четырьмя звонками. Сколько в ней было мною пережито — мрачного, трагического, стыдного, интересного, радостного — все вперемешку! Когда-то шесть комнат этой квартиры принадлежали бабушке Надежде Павловне и ее взрослым детям Павлу и Евгению. Бабушка умерла еще в 1936 году, Павла и Евгению после ареста моего отца (затем арестовали и мужа Евгения) «уплотнили». В одну из комнат вселился молчаливый, как рыба, кремлевский повар с женой, работавшей билетершей в театре

Революции. В другую въехало шумное рабочее семейство Гроссманов, а во время войны здесь появилась еще одна весьма колоритная фигура снабженца Дворкина, который, кажется, был настоящим жуликом.

В семье дяди Паши и его жены Ольги Павловны уже было горе. На Орловско-Курской дуге погиб сын Ольги Павловны от первого брака. Я совсем его не знала, но, по отзывам всех, прелестный был мальчик. Тетя Галя считала, что мое появление в их доме отвлечет их, а я, может быть, хоть как-то заменю погибшего сына.

Мы вошли в странную, неправильной формы пятиугольную большую комнату. Она была проходная, но в ней жило все семейство — другая не отапливалась. Большой абажур, низко опущенный над покрытым старой клеенкой круглым столом, маленький старинный буфетик, наполовину пустой книжный стеллаж, кровати супругов и матери Ольги Павловны, в печке у стены трещат дрова. Дядя Паша сидит за столом. Он большой и кажется грузным из-за того, что с трудом поднимается со стула: инвалид, в юности повредил позвоночник. Еле ходит, с трудом переставляя ноги, держась за стены и мебель. Смотрит на меня равнодушно-приветливо, протягивает большую белую руку, целует в лоб без всякого чувства. Он видит меня, кажется, впервые в жизни. А жена его, Ольга Павловна, с первых слов начинает безумно рыдать и глядит на меня почти что с укором. Она маленькая, стройная, очень ловкая, жгучая брюнетка — в ней есть турецкая кровь. Плачет и говорит без умолку — о погибшем сыне, о втором их мальчике — Олеге, сыне дяди Паши от первого брака (он тоже на фронте), о моем отце, из-за которого Пашу исключили из партии за потерю бдительности к брату, обо мне, о продовольственных карточках, о еде, о своей работе в министерстве мясной и молочной промышленности (она стенографистка высокой квалификации). На кровати у стены — ее мать, седая тихая старушка, тайно больше всех любящая своего сына, брата Ольги Павловны, который арестован и в лагере (о нем здесь никогда не говорят) и которому она периодически с величайшим трудом собирает посылочки.

Ольга Павловна сыграла в моей жизни очень большую роль — хотя бы потому, что она — глава семьи — разрешила мне прожить у себя четыре года ученья в институте. Она была, несомненно, личностью незаурядной, хотя и противоречивой. А кто не противоречив? Как смешаны были в ней горячая и темная турецкая

кровь отца с кровью материнской, тишайшей и кроткой, из Курской земли истекающей, так и в душе ее и в уме намешано было столько всего, что порою и разобраться было трудно, а разделить невозможно. От природы умная, красивая, горячая, темпераментная, она обрекла себя на сорок лет жизни с тяжелым инвалидом, который женился, не открыв ей того, что сам знал: в самом скором времени он перестал быть мужчиной. Хотя она и винила его в этом обмане, но не разошлась с ним. Любила своего Пашеньку, уважала, разделяла его сумасбродные идеи — от политических до хозяйственных, советовалась обо всем, но была в сто раз умнее его и, конечно, все решала и делала по собственному усмотрению. Способная и целеустремленная, волевая, она всю жизнь была чрезвычайно деятельной. Когда ей было лет пятьдесят, решила кончить вечернюю школу (молодость ее выпала на гражданскую войну, и ей не довелось доучиться в гимназии) и сделала это в короткий срок. Чуть позже она положила себе выучиться плавать, записалась в бассейн — и научилась, и плавала отлично! Лет в семьдесят, не умея до тех пор держать спицы в руках, кончила курсы вязания. Ей всегда хотелось, чтобы и вокруг нее все находилось в постоянном движении вперед. Она и меня взяла к себе с намерением помочь мне учиться и потом всю жизнь всяческими способами старалась толкать все вперед и вперед.

В тот памятный осенний вечер 1943 года мы поужинали картошкой, пили жидкий, ненастоящий чай с каким-то странным лакомством под названием какао-велло. Это была сладковатая темно-коричневая масса с отдаленным привкусом какао, содержащая какую-то шелуху. Тетя Галя ушла. А я осталась здесь, четвертая в комнате, легла спать на узкой железной кровати, которую раз в две-три недели, как и другую мебель, подходящую для этого, ставили вверх ногами и пламенем примуса пытались хотя бы на время уничтожить невыводимых клопов.

Ольга Павловна приглядывалась ко мне заинтересованно и цепко, бабушка относилась с тихой ревностью и подозрительно, но вообще-то у нее был свой крошечный жалобный мирок, в котором она зарабатывала собственные копейки на посылки сыну: вязала крючком из грязноватых белых ниток бюстгалтеры на продажу, и ей было не до меня. Она боялась дочери, которая обходилась с ней круто, как, впрочем, и с мужем. Часто вспыхивали непредсказуемые и пустые скандалы, с криками Ольги Павловны, быстро, однако, затухавшие и никогда не

имевшие последствий. Подосновой их, конечно, была тяжелая жизнь, заботы, ложившиеся целиком на плечи хозяйки дома, гибель сына, страх за второго.

Когда Павла, до тех пор низового партийного работника, исключили из партии, он стал работать, как сам говорил, у станка, но быстро потерял работоспособность. В то время, когда я пришла к ним, он работал в мастерской по ремонту потенциометров. Уходил туда каждый день, шел трудной, ужасной походкой, с трудом переходил шумную, с трамваями, улицу Герцена, но упорно, медленно двигался. Возвращался домой поздно вечером, тяжело валился на стул, еле дышал, иногда вынимал из кармана пальто темную банку с глюкозой. Жена прятала ее в шкаф и давала к чаю всем понемногу.

Жизнь была не совсем голодная и не совсем холодная — как у всех в Москве, наверное. Есть, впрочем, хотелось всегда. Внизу во дворе, в крошечном сарайчике, мы с Ольгой Павловной пилили и кололи дрова — я научилась этому в Ардатове, где мы с Яковом Михайловичем зимой пилили дрова на козлах хорошо разведенной пилой, и он-то был умелец! А в Москве пила у нас была тупая, застревала; Ольга Павловна в сердцах заочно ругала Пашу, а в глаза — меня, поминая все мои грехи и то, что из-за моего отца (хотя в его виновность она вряд ли верила) нам всем так плохо... И за дровами мы ездили с ней вдвоем на какие-то дальние склады, нанимали машину, грузили, везли домой. А как трудно было носить их на высокий третий этаж по запущенной черной лестнице, через мрачную холодную кухню, где во время войны почти никто не готовил и жизни не было. Но в комнате было тепло, трещала печка и, несмотря на тесноту, было уютно. Хлеб, получавшийся по карточкам, Ольга Павловна делила и запирала — чтобы не съели сразу. Иногда система менялась и всем отрезали от общей буханки. Раз в две-три недели ездили в распределитель отоваривать карточки. Ели не сытно, но упорядоченно и все же не голодали.

Великая жизненная сила жила в Ольге Павловне. Сын погиб, и она горько его оплакивала. Но уже перенесла все надежды на своего пасынка Олега, ждала, верила, что он останется жив, думала о его будущем. Увлекалась работой, людьми, с которыми ее сталкивала работа, увлекалась и мною и все эти четыре года жила и моими интересами и знала обо мне решительно все. И все же испытывала ко мне весьма смешанные чувства: живой интерес, искреннее желание помочь учиться и стать на ноги;

вместе с тем — ревность к моим интересам и привязанностям, с нею не связанным, главное же — едва уловимую неприязнь за то, что Юрочка, ее милый сын, лежит в неизвестной братской могиле, а я жива и, наверное, переживу войну; и несколько не меньше за то, что мой отец виновен в том, что Пашу исключили из партии, сняли с работы, и ее семья из-за этого бедствует уже давно, еще с довоенных времен. Она иногда говорила это вслух, глядя на меня почти с упреком. Любила она говорить об этом и при чужих, словно бы проверяя, какое это производит на меня впечатление. И так было всегда.

Она любила заглядывать в мои вещи, бумаги. С этим связан один из самых тяжелых моментов моей жизни в ее доме. Я писала маме обо всех подробностях нашего быта и наших отношений и расписывала мешанство тех, кто меня приютил и дал мне возможность учиться. Отвечая, мама и жалела меня и, наверное, давала советы, как себя вести. Я их не помню, но, очевидно, говорилось и о том, что не всегда нужно быть откровенной, что-то нужно скрывать, лавировать и т.п. Все это, несомненно, было обидным для Ольги Павловны. Она прочитала эти мамины письма. Прихожу домой, ничего не понимаю: дядя Паша со мной не разговаривает, Ольга Павловна крайне враждебна. О причине она сказала, когда мы сидели в столовой ее министерства, куда она меня привела пообедать. Долго молчала, с укором поглядывая на меня, потом сказала: «Как же ты могла? И твоя мать учит тебя лицемерию, лжи? И это по отношению к нам, кто столько для тебя сделал?» Нельзя было вскочить, убежать, надо было сидеть и молча доедать свой обед. Через несколько дней в гости пришла любимая сестра дяди Паши, старшая, Оксана. Она распахнула дверь и громко сказала, глядя на меня: «Ах, кого я вижу! Наша интеллигентка приехала! Вернулась к мешанам! Здравствуйте, здравствуйте!» — что-то еще в таком же роде. И она, и ее дочь Марина, высокая, бледная, с крупными аристократическими чертами неподвижного лица и гладкой прической прекрасных русых волос, поглядели на меня просто с брезгливостью и прошли в другую комнату. Дверь затворилась, но потом пригласили и меня, и Ольга Павловна еще раз поведала историю моего предательства. Оксана важно и скорбно кивала, Марина молчала, глядя в сторону, дядя Паша сидел, как обычно, сложив руки перед собой на столе, иронически-горько улыбался. Неблагодарность — вот что поразило их всех. А в молодом возрасте так трудно ощущать и

выражать благодарность! Плохим в этой истории было другое: моя наглость судить других, уверенность, что интеллигенция — это нечто высшее и кто к ней не принадлежит — существо второго сорта. И никто из них не пожалел меня, хотя ведь было за что! И еще: с этих пор Ольга Павловна смертельно невзлюбила мою мать, и это чувство было у нее стойким и не кончилось даже с маминой смертью.

В институте

Глубокой осенью 1943 года мы снова встретились с моей шуйской подругой Галиной Волковой. Она приехала в Москву, поступила в Московский областной педагогический институт и жила у сестры. Мы увиделись в ее тесной квартире у Петровских ворот, в доме, на котором висела непонятная вывеска Самтрест (из подъезда всегда чуть-чуть пахло вином). Галина рассказала мне о своем институте, я о своем Нефтяном, с ужасом и тоской. У меня там все так уже запущено, что выпутаться невозможно. Хотелось бы в университет, на филфак, но, говорят, он для меня закрыт. В пять минут Галина уговаривает меня перейти к ним на истфак, и дело это решается с полной легкостью, при полном одобрении Ольги Павловны, понимавшей, очевидно, что призвание мое отнюдь не в нефтедобыче. И вот я — студентка Московского областного педагогического института.

Как интересен был в те трудные годы наш МОПИ! Недавно вернувшийся из эвакуации, из Молмыжа, он размещался тогда не на ул. Радио, как сейчас, а в красном кирпичном здании школы в Кировном переулке на Бауманской. Холодно, на лекциях часто сидим одетые, и чернила в школьных невыливайках по утрам иногда замерзают. Сумрачно, грязновато. Но учителя наши, во всяком случае многие из них, — Б.Ф. Поршнев, А.З. Манфред, П.А. Зайончковский, С.С. Дмитриев, М.А. Гуковский, тогдашний Б.А. Рыбаков — были поистине блестящими; к сожалению, многих из них нет уже в живых. Историю древнего мира, особенно историю Рима, с блеском вел Дмитрий Павлович Калистов. Историю средних веков читали В.Ф. Семенов и Я.Я. Зутис, историю СССР — Б.А. Рыбаков. Может быть, и не следовало бы вводить антисемита на эти страницы, но я никогда не забуду, как он возил нас на раскопки под Москвой. Когда мы вышли из вагона на станции Ухтомская, Борис Александрович

громко крикнул в ладони, сложенные у рта: «Архо!», и из разных вагонов мы подошли к нему. Мы раскопали древний курган по всем правилам, которые он нам показал, нашли захоронение, увидели своими глазами остатки скелета, небогатые украшения, черепки с узорами.

С.С. Дмитриев тихо и неторопливо разворачивавший драматические картины нашей истории в XIX веке; Петр Андреевич Зайончковский, совсем еще молодой, только что с фронта, стройный, подтянутый, с офицерской выправкой, в гимнастерке и шинели, нервный, беспокойный, но любивший нас, весь уже устремленный в будущее. Он искал студентов, которые могли стать ему помощниками в работе над архивом Милютина, завлекал нас в свой семинар, сам увлеченный бездной интереснейшего материала, открывшегося ему.

Первое сильное впечатление институтских лет и первое пробуждение интереса к исследовательской работе — семинар Д.П. Калистова. Мы сидели небольшой группой на семинаре Калистова по античной истории, а точнее — по «Афинской политике», совершенно не разбуженные, полусонные в прямом и в переносном смысле. Дмитрий Павлович стоял перед нами и с чуть иронической улыбкой, относившейся к нашему невежеству и пассивности, смотрел на наши равнодушные лица. В Москве он был ненадолго, читал у нас и общий курс, и специальный — из истории древнего Рима. Он был первым, да и не единственным ли, кто нас, студентов не университета, а педагогического института учил, как учеников, работе с источниками. Учил читать источник, оценивать и критиковать, искать в нем проблемы и пути их решения. Лично мне он первым привил вкус к исследованию и пробудил интерес к этой работе.

Я сидела где-то в последнем ряду, смотрела в «Афинскую политику» и, видя, что никто не отвечает на очередной вопрос руководителя семинара, подняла руку. «Верно, — сказал он с удивлением, — а как вы думаете вот об этом?» Я снова ответила, не подозревая, что это может быть интересно и мне и даже ему. «Очень верно и интересно, — сказал Дмитрий Павлович и в глазах его вспыхнул огонек интереса. — Давайте работать, задержитесь немного, ладно?» Он дал мне тему — первую тему в жизни (Альберт Захарович Манфред много лет спустя как-то сказал мне: «Без темы невозможно, Светлана, без темы скучно, тема — великая вещь!») — тирания Писистрата.

Как бы я хотела вспомнить, о чем шла речь в моем докладе!

Ничего не помню. Да и «Афинской политии», которую подарил мне Дмитрий Павлович, у меня больше нет. Когда я работала учительницей истории в крошечном поселке Западная Двина, отдала ее способному, интересовавшемуся историей ученику Борису Яковлеву. И он стал историком, кончил Московский университет и затем работал в Институте марксизма-ленинизма, а когда встречался со мной в тамошней столовой, смотрел на меня, как на стену, хотя я не сомневалась в том, что он меня давно узнал. И это он, приехав много лет спустя после окончания университета в Западную Двину, говорил там за рюмкой водки, что с моим отцом не все просто, хотя его и реабилитировали, — без конца был в оппозициях!

Кроме самого главного — содержания доклада, все, что с ним было связано, я помню. Я думала о нем день и ночь — честное слово! Искала доказательства своего толкования какого-то места, казавшегося мне необыкновенно интересным, писала с огромным увлечением. Решающее доказательство было мною найдено поздним вечером на улице Грановского, по которой я шла из Ленинской библиотеки домой на улицу Герцена. В тот же день я прочитала у Кропоткина в «Записках революционера» о том, что я испытывала в те дни: «В человеческой жизни мало таких радостных моментов, которые могут сравниться с внезапным зарождением обобщения, освещающего ум после долгих и терпеливых изысканий. То, что в течение ряда лет казалось хаотичным и загадочным, сразу принимает определенную, гармоническую форму. Из дикого смешения фактов, из-за тумана догадок, опровергаемых, едва лишь они успели зародиться, возникает величественная картина, подобно альпийской цепи, выступающей во всем своем великолепии из-за скрывавших ее облаков... Кто испытал раз в жизни восторг научного творчества, тот никогда не забудет этого блаженного мгновения». Да, я испытала именно этот восторг!

Однако Дмитрий Павлович предупредил меня, что возможны и доказуемы иные точки зрения. И эти точки зрения выскажет моя оппонентка Зоя Кукушкина — очень способная, но к научной работе мало расположенная, а просто успешно крутившая роман с Калистовым, хорошенькая, рыжевато-золотистая курносая блондинка, лениво улыбающаяся, красиво одетая, медлительно кокетливая, старше всех нас. Но возражения ее были действительно серьезными и доказательными. На заседании

шел настоящий (для нас, конечно) научный спор. Это было захватывающе интересно!

После этого доклада Д.П. предложил мне серьезно подумать о занятиях античной историей. В МОПИ это было, конечно, немыслимо. Мы, правда, занимались факультативно латынью, преподавателем нашим был удивительно милый, увлеченный и латынью, и своими немногочисленными учениками Я.А. Ленцман, но, конечно же, это было не то, что нужно. Д.П. предложил похлопотать о моем переводе в Ленинградский университет, конечно, с потерей курса. Но этот проект повис в воздухе. Д.П. уехал и потом написал мне, что все это не так легко осуществить.

Совсем недавно я узнала о Д.П. Калистове то, чего не хотелось бы знать, — то, что с ужасом обнаруживаешь и относительно других людей, знакомых в те далекие времена. Тайные осведомители, сексоты, губившие друзей и знакомых... Но сведения, полученные мною, документально проверить нельзя. И, так или иначе, роль этого человека в моей жизни зачеркнуть не могу...

Петр Андреевич Зайончковский читал нам историю СССР. Он приходил на занятия в гимнастерке, блестящей орденами. Нервный и подозрительный, он как-то раз выгнал нас с Галиной с лекции. Его не только раздражало наше невнимание, но и чудилась в наших лицах насмешка. Увы, это не только чудилось — не насмешка, но глупая юношеская ирония, наверное, действительно читалась на наших лицах. Мы испытывали ее к нашему Зайнчу — потому что он волновался, потому что в его лекциях и во всей его манере поначалу сквозила неуверенность. Милый, дорогой Петр Андреевич! А он меня любил — совершенно несоответственно моему дурачки-насмешливому отношению к нему. Стал уговаривать меня пойти к нему в семинар. Я отказалась, Петр Андреевич огорчился, но не обиделся и, завидев меня, всегда расплывался в улыбке.

Я встретила его два года спустя после окончания института в Ленинской библиотеке, где он тогда заведовал Отделом рукописей. Мы пошли в маленький круглый садик у входа в общий зал, я рассказывала ему о своей работе в школе, о тщетных попытках поступить в аспирантуру, он снова сетовал, что я в свое время не пошла к нему в семинар, рассказывал о своей работе над архивом Милютина. Впрочем, вздыхал он, все равно с аспирантурой ничего не вышло бы. Еще несколько раз я встречала его там же, всегда он был неизменно ласков и называл меня Светочкой. Потом все прошло, все забылось... Но когда

в 1961 году я вернулась в Москву, искала работу, я позвонила Петру Андреевичу, и он мне помог, искал, договорился. Но я поступила в аспирантуру Института истории, и снова порвалась наша связь с Петром Андреевичем.

Я не видела его пятнадцать лет и, наконец, встретила... Куда девалась его стройность и выправка выпускника кадетского корпуса, о котором он любил вспоминать с трогательной гордостью! Немного согорбленный, худой, но все же раздавшийся в ширину, как будто кости его стали шире и крепче, с непричесанной седой головой, желтым простонародным лицом, в рубашке с короткими рукавами, открывавшими старческие, худые, жилистые руки, он медленно шел переходом метро, сильно переваливаясь с боку на бок, теснясь к стене. С щемящим сердцем я увидела его и узнала, не решилась подойти и издали проводила до самого входа в Ленинскую библиотеку, куда он продолжал неизменно приходить два раза в неделю, где, как говорят, и умер, высоко, на четвертом этаже, в зале спецхрана, упав лицом на книгу мемуаров генерала Деникина.

Он не скрывал своих крамольных взглядов и, к ужасу собеседников, готов был излагать их даже по телефону. Гордился тем, что с ним консультировался А.И. Солженицын, хранил его письма. Гордился и тем, что его избрали почетным доктором двух американских университетов, что имеет мировое имя. Огорчался и злился, что не имеет такого признания у себя на родине. К академикам относился с чрезвычайной желчностью и ругал их так, что живого места не оставалось.

Манфред опубликовал в «Литературке» статью историко-политического содержания, Петр Андреевич не мог ее принять. Он позвонил Альберту Захаровичу и, как всегда, с прямоотой, переходящей в резкость, сделал ему выговор за конформизм. «Но я нашелся, что ему ответить, — говорил мне А.З., — Петр Андреевич, сказал я ему, но именно вы не имеете морального права говорить мне это: ведь вы — член КПСС. И он заткнулся», — торжествующе закончил беспартийный Альберт Захарович с непередаваемой интонацией интеллигента, произносящего несвойственное ему грубое слово. Они поссорились, а примирение — кислое, конечно, — произошло, когда А.З. попросил Петра Андреевича быть оппонентом на моей не состоявшейся тогда докторской защите. Неприязнь осталась, однако, с обеих сторон. А.З., подозревавший многих людей в сотрудничестве с органами, уверял меня, что Петр Андреевич тоже служит. «Не

может быть, — говорила я, — да у вас и доказательств нет». «Нет, есть, — отвечал он. — Как вы думаете, почему у него всегда иностранные аспиранты? Да, да, иначе бы ему не доверяли, и вы, Светлана, поосторожнее с ним!»

Я пришла к Петру Андреевичу (это был 1977 или 1978 год), чтобы передать ему свою книгу, которую собиралась защищать. Он жил на Садово-Черногрязской, в высотном доме. Мрачноватая, неудобная большая комната — заваленный книгами кабинет с сильной лампой на столе, и сам П.А. почему-то кажется одиноким; грустный, всем раздраженный. Позвонил при мне моей сокурснице, чтобы сказать ей, что я у него, но тут же принялся с увлечением ей кого-то ругать. Все ему были нехороши. Работать ему уже было трудно из-за глаз. Книжку мою читать даже не собирался, говорил, что когда дело дойдет до защиты, попросит прочитать ему нужные места. Но работал он все время, писал историю русской армии, называя это главным своим трудом.

Он пригласил меня погулять с ним. Захватив собаку, мы вышли на ветреную, холодную улицу. Подняв воротник совсем не нового пальто, он бродил со мной минут сорок вокруг своего огромного дома и все как-то тоскливо. «Знаете, Светочка, — сказал он мне в конце нашего свидания, — спасение наше в вере в Бога. Я к этому всю жизнь стремлюсь. Вот Петровский, наш ректор, счастливый был человек, верил. Как-то я с ним об этом беседовал, и он сказал мне: “Петр Андреич, голубчик, не старайтесь умом понять. Это дело не ума, а чувства”. Но я крещен и еще надеюсь. А вы крещены ли?» Узнав, что нет, предлагал, если захочу, решусь, содействовать; звонил, звал пойти как-нибудь вместе в Елоховский собор. Звонил на Рождество, на Пасху, поздравлял, радостно говорил, что в эти дни он счастлив. Думаю, однако, счастлив он уже никогда не бывал.

ТРЕТЬЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

ПАМЯТИ АЛЬБЕРТА ЗАХАРОВИЧА МАНФРЕДА

Если говорить словами, давно от нас ушедшими, то Альберт Захарович Манфред был для меня благодетелем. Да, самым настоящим благодетелем, и мне хочется написать о нем в знак благодарности и еще больше — в знак любви к нему.

Когда в 1943 году я пришла со своими документами в

МОПИ, у меня и мысли не было о научной работе. Единственная мысль была – учиться, как-то устроиться в этой непонятной жизни. За плечами, несмотря на то что мне было всего лишь восемнадцать лет, уже очень нелегкий опыт. Сиротство, юношеская неприкаянность, помноженная на невозможность или неспособность до конца понять и осмыслить, что происходит вокруг и со мной. Как якорь спасения, как надежда – то, что привито в детстве и стало уже частью существа, – надо учиться, много читать, не забывать немецкий язык, работать, работать... А в быту – всегда хочется есть, одежда самая нищая и постоянное чувство несвободы, зависимости. Тяжко, светлого почти ничего нет, кроме ощущения молодости. Не знаю, что бы стало со мной в этой круговерти, если бы не было этой страстной любви к учению и еще – если бы не встретились мне два-три незаурядных человека, которые помогли не затеряться, не пропасть. Одним из них был А.З. Манфред. Он сделал для меня все, что мог, и для этого ему с самого начала понадобилась смелость.

Этого человека, обладавшего даром привлекать сердца, талантливого во всем, в жизни талантливого, не все назвали бы смелым. Но вот история со мной, относящаяся к 40-м годам. Когда в поданной мною автобиографии (Манфред был деканом исторического факультета МОПИ и принимал мои документы при поступлении, а поступала я тогда, когда занятия шли уже вовсю и отказать было совсем нетрудно) он прочитал, что мои отец, мать и брат репрессированы, он сказал только: «Перепишите, не надо так подробно». Вопрос был решен тотчас же, меня приняли, и А.З. больше не упускал меня из виду.

То, что уже произошло с Манфредом к этому времени, всякого могло бы навсегда отучить от совершения смелых поступков. В 1937 году он работал в Ивановском пединституте и там был исключен из партии и уволен с работы. Приехал в Москву, получил направление на работу в Якутск, нечто вроде ссылки. Там, однако, проработал не больше двух недель, был арестован и препровожден во Владимирскую тюрьму. Подвергался физическим издевательствам, тяжело заболел и лишь благодаря отчаянным хлопотам семьи и помощи нового следователя, удивительного человека, вскоре погибшего в застенках,

был перевезен в Москву, в тюремную больницу, откуда вернулся домой в 1940 году.

Я стала иногда бывать у него в тесной квартире в одноэтажном домишке на Бакунинской улице. На первом курсе, когда он знал меня еще очень мало, А.З. сделал для меня то, что не забывается. Я получила разрешение на свидание с матерью в лагере в Соликамске. Его возможно было использовать только летом, когда весь наш курс посылали на лесозаготовки. Когда я сказала об этом Альберту Захаровичу, он, не раздумывая ни секунды, сказал: «Вы поедете», – и сделал для этого все необходимое. Когда я вернулась, все были еще на лесозаготовках, меня он пристроил работать в институтскую библиотеку. На другой же день пришел туда и в дальнем углу, под прикрытием библиотечных полок, долго и тихо расспрашивал обо всех подробностях моей поездки и нашего с мамой свидания и о ее жизни в лагере. Это был 1944 год, может быть, все это было для А.З. не так опасно – шла война, и многое отступило на второй план.

Но вот наступил год моего окончания института, 1947-й. На последнем курсе, занимаясь в его спецсеминаре по истории франко-русского союза, я серьезно заинтересовалась Новой историей и именно XIX веком. А.З. рекомендовал меня в аспирантуру. Он уже не был деканом, на истфаке было новое начальство, враждебное ему, крайне агрессивное и бдительное. И то, что он решился рекомендовать дочь изменника родины да еще довольно известного человека, было, несомненно, поступком неординарным. Между тем он стоял накануне новых испытаний: уже близилась космополитическая кампания. В 1948-49 годах его прорабатывали на общих собраниях. Декан истфака К. Кузнецова, ее заместитель Г. Нагапетян, специально подобранные студенты вскрывали его ошибки в преподавательской и исследовательской деятельности, рассказывали небылицы о пьянстве и развратном поведении Манфреда в Средней Азии, где он в действительности никогда не был, уехав в эвакуацию вместе с МОПИ вовсе не в Среднюю Азию, а в Кировскую область. Дочь Альберта Захаровича, студентка МОПИ, была исключена из комсомола за выступление в защиту отца. В результате всей этой безобразной

кампании, направленной, конечно, не только против Манфреда, из МОПИ ушли тогда лучшие профессора – Б.Ф. Поршнев, С.С. Дмитриев, П.А. Зайончковский, сам Манфред, который был блестящим лектором, и это тотчас резко снизило уровень института.

А из попытки помочь мне ничего не вышло. Осенью следующего, 1948 года Манфред снова рекомендовал меня в аспирантуру Института истории АН СССР, где он уже работал тогда; дело снова кончилось неудачей. 1948-й был ничуть не легче 1947-го, а, может быть, еще страшнее. Я думаю, А.З. опять рисковал. Так в самые трудные времена он отваживался на смелые поступки, а позже, приобретший прочное и солидное положение, когда ему лично ничего уже не угрожало, кроме, может быть, отказа в одной из многочисленных поездок за границу, он стал осторожнее. Всегда готовый помочь и умевший это делать как истинный дипломат, теперь он поступал осмотрительнее, обдуманнее, чем когда-то, и часто старался уходить от трудных дел. Но кто среди нас бросит камень в этого человека? Что касается меня, я желаю всем, чей путь оказался трудным, встретить человека, помощь которого была бы столь бескорыстной и легкой для того, кто ее получает. Он был единственным из всех, помогавших мне в трудные годы, кто никогда, ни единым словом не напомнил о своих благодеяниях.

Когда холодной осенью 1943 года я вошла в кабинет Альберта Захаровича в МОПИ, впечатление смеркающегося дня, когда всё и все вокруг одинакового цвета, исчезло в тот момент, когда я впервые увидела этого человека. Необычайная яркость его облика поразила меня. Что-то, может быть, восточное проступало в его лице, смуглом, почти коричневом, с яркими темными глазами и большим, красиво очерченным ртом. Надо лбом высокие пышные черные кудри, которые, казалось, и пригладить невозможно. Не помню его костюма, но впечатление элегантности, впрочем, не только в одежде, а во всем его облике он оставил у меня уже тогда. Элегантности и изящества, заключенных во всей его манере держаться, говорить, смеяться, спорить. Внимательный, пристальный, обволакивающий взгляд, тихий, глубокий, хрипловатый бас редкой красоты – булгаковский Воланд должен был

так говорить — и такие особенности дикции, что, помнится, я подумала: как же понимают его речь студенты? Но, как это бывает всегда, о дикции слушатели забывали через две минуты.

И вот первая лекция А.З., я до сих пор помню ее — о франко-прусской войне 1870–1871 годов. Она будто отпечаталась у меня в памяти и содержанием своим, и обликом профессора — он стоял перед нами не на кафедре, а у стола, опершись на указку, поставленную острием на стол, — и совершенно особенным мастерством речи. В ней не было ораторских приемов, его низкий голос поначалу казался немного тихим, но сразу чувствовалось, что он любит говорить и говорит с увлечением, помогая себе скупыми жестами небольшой сухой руки. В местах, которые его особенно трогали, он вздергивал подбородок, как он это делал и тогда, когда начинал (не во время лекций) смеяться. А смеялся он порой очень заразительно, махая при этом обеими руками, долго не мог остановиться, утирая слезы ослепительно белым платком. Вся его лекция составляла обдуманый, цельный, завершённый рассказ, как бы только что для нас написанный. Картины Седанской битвы будто вставали перед нами в белых далеких клубах пушечного дыма на фоне ослепительного неба ранней осени. Мы видели всех действующих лиц — жалкого Луи-Наполеона, укрывшегося в маленьком домике и от страха страдавшего животом, с его, как выразился А.З., заячьей душой; ничтожного Трошю; воодушевленного пламенной любовью к отечеству многооречивого Гамбетту.

Даже по этой первой лекции можно было заключить, что прошлое встает перед нашим профессором в образах. И тогда, и двадцать лет спустя, когда я слушала А.З., меня неизменно поражало это свойство его мышления, речи, отразившееся, конечно, в его трудах и составлявшее их оригинальную черту: он видел своих героев, он не просто все знал о них — внешность, привычки — он их видел, как живых, он их чувствовал, представлял себе, легко прогнозировал их поведение в различных ситуациях. Впервые я об этом подумала еще студенткой на заседании кафедры Новой истории, где он выступал с докладом о бешеных. Заседание было немногочисленное, но бурное. Содержания доклада не помню, осталось

лишь впечатление от блестящего выступления и от того, что докладчик «на ты» со своими героями, что они знакомы ему вживе, а может быть он сам, со своей необычной внешностью и особенными манерами, ходил с ними по залитым летним солнцем улицам Парижа 1793 года.

К сожалению, А.З. читал свой курс с перерывами, уже тогда он был болен. Помнится, к окончанию его курса, после экзамена по Новой истории, мы преподнесли ему бронзовую фигурку сидящего Наполеона, толстого, в треуголке – распространился слух, что Наполеон особенно интересуется Манфреда. Это, конечно, так и было: уже тогда он думал о том, что 25 лет спустя стало сюжетом его лучшей книги.

В чем состоял секрет его влияния на меня, на других? Ведь он не был учителем в настоящем смысле этого слова. Ему, наверное, неинтересно было учить систематически и обдуманно, объясняя азы ремесла, в которое сам он был влюблен. Но он обладал талантом, встречающимся не часто – талантом увлекаться своими учениками и увлекать их. Я близко видела это несколько раз. Это действовало магически и пробуждало в ответ, хотя бы на время, скрытые силы и лучшие качества – и не только научные.

Работа, написанная мною в спецсеминаре Манфреда, на долгие годы осталась единственной. В 1947 году я уезжала из Москвы. Прощаясь со мной, он сказал: «Пишите». Через некоторое время я написала ему и получила вскоре ответ, исполненный внимания и уверенности, что будущее мое впереди. Письма А.З. у меня не сохранились, но из первого письма я помню целые фразы... Он писал, что для работающего человека время не проходит впустую, что всякий опыт ценен; рассказывал, как идет его работа и как новые участники семинара стонут в холоде Исторической библиотеки, но упорно трудятся на ниве франко-русского союза; чтобы поддержать меня, расточал ретроспективные похвалы и заканчивал письмо так: «Работайте спокойно, время летит быстро, Ваши друзья помнят о Вас. Пишите мне, я обещаю Вам отвечать если не в тот же вечер, как это водилось в XIX веке, то все же без особого опоздания. Ваш А. Манфред». Письмо было, как помню, небольшое, на двух небольших желтоватых листочках,

написано с большим изяществом, главное же, от него веяло искренним участием и заботой.

Встретиться с А.З., сблизиться с ним уже в общей работе мне довелось почти через пятнадцать лет. Он изменился, стал чуть плотнее, кудри пригладились сами; он стал, казалось, еще смуглее. По-прежнему был очень красив, изящен, чуть старомоден – его нельзя было себе представить в эпоху ставших униформой джинсов в одежде сколько-нибудь легкомысленной, небрежной.

Начало нашего сотрудничества было не слишком гладким. Внимательный к окружающим, испытывающий к людям неподдельный интерес, эмоциональный и в то же время сдержанный, воспитанный, любезный, толерантный, по отношению к тем, кто был рядом с ним, он был пристрастен и ревнив, и в общей работе большое значение придавал личным отношениям. Но дело, которое он делал, было для него настолько личным делом, что разделить работу и личную жизнь было бы для него немыслимым. Не было для него ничего более личного, лично ему интересного и важного, чем его дело, его наука, которой он был предан безмерно. Много раз я слышала из его уст то, что, очевидно, было у него обдумано и сформулировано давно: лучше нашей науки нет ничего. Это наука «без дна». Копаешь, копаешь, кажется, дошел до самой глубины, но там – новые пласты и часто бездны без дна.

В науке он, с одной стороны, – сын своего времени, воспитанный в «раньше» времена и впитавший в себя общую культуру эпохи начала XX века, но и человек 20-х годов, когда не все еще было задушено, искренне поверивший в марксистскую теорию; с другой – человек мышления художественного и понимавший, я полагаю, что марксизм не очень-то располагает к применению качеств подобного мышления в исторических трудах, но чем дальше, тем больше поддававшийся своей склонности писать почти беллетристически – в лучшем смысле этого слова. Он не был ни преданным копателем архивов, как, например, В.М. Далин, ни таким масштабно мыслящим новатором, как А.Я. Гуревич; он понимал свое ремесло иначе и останется в науке именно благодаря такому пониманию.

Работа доставляла ему истинное удовольствие, он охотно говорил об этом, уверенный, что и все испытыва-

ют такую же легкость и наслаждение. «А вы поступайте так, – говорил он постоянно, – пишите непременно каждый день. Сначала это будет немного, потом все больше и больше, и на столе у вас будет скапливаться такая приятная стопочка исписанных листков». Я не раз слышала от него, что пишет он всегда с удовольствием и – что поражаало меня неизменно – всегда только начисто.

Книги были важнейшей частью его жизни, и не только специальная историческая литература, а все богатство мировой литературы – говорю об этом, вспоминая ярусы его домашней библиотеки. Вот несколько его литературных оценок, услышанных мной в разные годы. В 1947 году на выпускном вечере в МОПИ я спросила его, читал ли он «Сагу о Форсайтах» (мы очень ею тогда увлеклись). «Да, – сказал он, – я люблю то место, где старый Джوليон влюбился в Ирэн и умер, ожидая ее прихода». «Почему именно это место?» «Тонкость чувства, – ответил он, – трагичность старости, смягченная красотой той же старости, пленяют меня», – сказал А.З.

В русской литературе ему близки были классические образцы, особенно любил он Тургенева, считал его одним из величайших мастеров языка. А Достоевского не любил. Помню, это меня огорчало, но он сопровождал свой отзыв столь выразительным жестом, ладонями словно отталкивая от себя эту «больную прозу», как он говорил, так горячо выдвигал и много раз повторял свой убийственный аргумент: «А вы знаете, что он к Победоносцеву ходил чай пить и беседовать?» – что было ясно: спорить не следует. Из русской литературы XX века любил Блока, Пастернака, с гордостью говорил, что видел и слышал Маяковского.

В одну из наших последних встреч у него дома он с восторгом говорил о Мандельштаме. Я пришла к нему, чтобы побеседовать о своих рабочих делах. Он считал, что каждому, кто к нему приходит, он должен уделить все внимание, но в последние годы его жизни такие встречи были для него не очень-то легкими. Он ждал меня в своем кабинете, усадил в кресло у маленького столика, подчеркивая этим, что встреча не только деловая, но и дружеская, радушно угощал: «Ну, съешьте это яблоко, оно такое красивое!» Видимо, он был тогда увлечен новым узнаванием

воскресающего из забвения Мандельштама. Поговорив о делах, взял в руки лежавшую тут же под рукой недавно вышедшую в серии «Библиотека поэта» книжку и спросил: «Вы видели этот томик?» Прочитал своим глуховатым голосом: «Я скажу тебе с последней прямоотой: Все лишь бредни, шерри-бренди, ангел мой...» И до конца. Затем: «Жил Александр Герцович, еврейский музыкант...» и еще с особенным чувством: «Мы с тобой на кухне посидим...» А Булгакова не любил, о «Мастере и Маргарите» говорил, что это недоделанная вещь, что в ней есть места, написанные как бы начерно. Придирался к неточностям описания московского быта 20-х годов. Однако чрезвычайно высоко оценивал роман в романе – историю Иешуа и Пилата.

* * *

Ниже я еще не раз буду вспоминать Альберта Захаровича, а теперь хочется только сказать, что с течением времени, собственным старением, приобретением нового опыта в науке и в отношениях с людьми я прихожу к выводу, что мало встречалось мне таких хороших людей, как Альберт Захарович Манфред.

ЧЕТВЕРТОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

ТУСЯ РАЗУМОВСКАЯ

Софья Дмитриевна Разумовская – все называли ее Тусей – тоже одна из тех людей, кто в эти годы помог мне выжить и состояться.

При этом она – самая красивая женщина из встречавшихся мне в жизни. В кабинете ее мужа, Даниила Семеновича Данина, покойного уже ныне автора нескольких книг о знаменитых физиках и о проблемах физики вообще, висел ее фотографический портрет, сделанный в молодости, в середине 30-х годов, именно тогда, когда я ее впервые увидела. Софья Дмитриевна смотрит на нас, полуобернувшись. Голова в облаке светлых волос. Летнее платье с пышными рукавами. Широкое лицо с чуть выдающимися круглыми скулами, прелестный большой рот, кокетливая, ослепительная открытая улыбка, короткий носик, большие

светлые, немного навывкате глаза. Все вместе вполне соответствовало тогдашним канонам красоты и вместе с тем было чуть-чуть старомодным, но лишь настолько, чтобы быть отличным от других, запоминающимся, особенным. Белая-белая нежная кожа, небольшие руки в кольцах. Такой я увидела ее в первый раз, такой она была и на самом склоне своей долгой жизни.

Это было летом, у нас на даче. Софья Дмитриевна на минутку остановила меня, десятилетнюю девчонку, на ступеньках террасы, о чем-то спросила, сказала два слова. Взглянув на нее мельком, я ее запомнила.

Вот она сидит вместе с моей мамой на собрании в Детиздате. Мама заведует отделом дошкольной литературы, Туся – редактор в школьном отделе. Ей и маме среди других дарят подарки по случаю какого-то праздника – духи в темно-синем флаконе «Огни Москвы». Они шутят, весело обсуждают свои дела.

А вот мы на выставке книг Детиздата. Туся обращается ко мне:

- Какая у тебя любимая книга?
- «Маленькие женщины» Луизы Олькотт, – отвечаю я, повергая маму в некоторое смущение.
- Вот что они читают, – говорит Туся, – совсем не то, что мы для них делаем.

Меня это нисколько не смущает. Я читаю и много другого, но больше всего мне нравятся «Маленькие женщины» и «Маленькие мужчины» – небольшие красные книжки, изданные в серии «Золотая библиотека».

Вот и все, что я помню о ней до 1937 года. А знаю, что она со своим первым мужем бывала у нас дома и на даче и очень дружила с моей мамой, хотя и была много моложе ее.

Осенью 37 и весной 38 года, после ареста родителей, когда мы, я и братья, были еще в Москве, Софья Дмитриевна, как почти все друзья дома, не позвонила и не пришла. Ее, впрочем, не было в Москве в самые дни ареста, а когда она вернулась с юга, вовсю шел разгром Детиздата. Позднее она горячо объясняла мне это. Тут нечего было прощать, но ей я простила бы все на свете.

В 1943 году я приехала в Москву, и мне не давала покоя мысль разыскать кого-нибудь из той, прошлой, жизни.

Как будто это могло ту жизнь воскресить! В этих поисках пришлось испытать немало тяжких минут. Люди боялись подобных встреч. Однажды я написала письмо в Детиздат. Оно было адресовано «Тусе Разумовской». И обращалась я к ней так: «Дорогая Туся!», потому что не знала ее имени и отчества, а только это обращение мамы – «Туся». Я и точного адреса Детиздата не знала, хотя много раз бывала на работе у мамы.

Прошло около месяца, и однажды вечером в квартире родственников, у которых я жила, как-то, показалось мне, бешено зазвонил телефон. Это звонила она, Софья Дмитриевна, взволнованно просила меня немедленно, прямо сейчас, бежать к ней. Я и побежала, благо что недалеко – с улицы Герцена в Дмитровский переулок.

Сколько раз в следующие двадцать лет я проделывала этот недалний путь, чаще всего быстро, почти бегом, как в первый раз. Вниз по узкой, гремящей трамваями улице Герцена до того переулка, где Центральный телеграф. Справа консерватория с колоннами у полукруглого входа, без всякого еще памятника Чайковскому. Затем налево, по переулку, на улицу Горького, на углу – телеграф с глобусом наверху, там огромный зал – место наших студенческих свиданий. Дальше бегом через улицу Горького, на углу – парфюмерный магазин, дальше – Художественный театр, угол Дмитровки, налево, направо и вниз по тихому Дмитровскому. Вот подъезд, старая лестница с широкими промятыми каменными ступенями. Третий этаж; там, дальше, длинный, темный, густо населенный коридор, а перед ним, на площадке сразу направо – двойная дверь в квартиру номер один.

В тот первый раз я пришла зимой, позвонила, открыли тотчас. Софья Дмитриевна ладонями крепко сжала мои щеки, поцеловала, велела раздеваться. В квартире было дымно – топилась чуть ли не в этот же день поставленная печка-буржуйка. Труба выпускала дым в Дмитровский переулок, но часть его, видно, и в комнате оставалась.

Крошечная передняя, где на столе стояла керосинка, однажды стоившая мне ужасных мук, из передней вход в крошечную комнату, ну, просто коробочку, где помещалась, однако, довольно широкая тахта, столик и шкафчик. Маленькая, тесная, темная столовая без окон, из нее

вход в единственную комнату попросторнее. Стены в ней были тесно уставлены книгами, от пола до потолка. Тут стоял небольшой письменный стол, кровать, пианино и эта самая дымящая буржуйка. Все это было уютно, хотя наверняка некомфортательно, неудобно.

Муж Софьи Дмитриевны пропал без вести под Москвой в 41 году, и она жила тогда одна.

Первое, что сделала С.Д., когда я пришла к ней, – накормила меня полной тарелкой горячего горохового супа. Я давно не ела так досыта и спокойно, не думая о том, что ем чужое. Видно было, что ей приятно, что я ем этот суп. Она внимательно оглядела мою поистине нищенскую одежду и в один из следующих дней повела в обувной магазин на Петровке, где продавался только один вид обуви – войлочные ботинки на деревянной подошве, и купила мне их, строго велела носить. Я и носила, но стеснялась – ботинки эти громко щелкали, когда в аудитории я шла на свое место. Она собрала мне что-то из своей одежды, и я приобрела более или менее приличный вид.

Но главное было не это. Она вникала во все мои дела, спрашивала о здоровье, об отношениях с родственниками, у которых я жила, но больше всего – о маме. С грустью восприняла она известие о гибели на фронте моего брата Вали. Судьба отца и другого моего брата Димы, арестованного вместе с отцом, и без того была ей ясна, а вот о маме она хотела знать все и попросила меня принести ей последние ее письма из лагеря.

Я принесла ей все мамины письма – это была большая стопка. С.Д. лежала на кровати, я сидела рядом в кресле. Она разворачивала листки, читала, и слезы, не переставая, текли по ее щекам. «Боже мой, – сказала она, – как я узнаю Екатерину Михайловну: больше всего – о литературе, меньше всего – о быте». Я так обрадовалась ее словам! «Прежде меня интересовал только Валя, продолжала она, – это был уже интересный человек. И я очень рада, что ты получилась именно такая, как мы с твоей мамой хотели». Какая? Голодная, грязная, подавленная, барахтаюсь, как щенок...

Софья Дмитриевна спросила, не пишу ли я. Ей очень хотелось обнаружить во мне хоть крупицу таланта! Я писала в детдомовские годы, и у меня сохранился рассказ «Пожар».

Я описала в нем поразивший меня пожар, случившийся в соседнем с детдомом здании ФЗУ, продолжавшийся много часов и уничтоживший это училище дотла. Рассказ этот я послала маме в лагерь; мама подробно разобрала его в ответном письме. Послала я его также на областной детский литературный конкурс в Иваново и получила вторую премию, о чем сообщила газета «Шуйский пролетарий». Мне тогда было 14 лет.

С.Д. прочитала рассказ и сказала запомнившееся: «Знаешь, это неплохо написано. Но не имеет смысла повторять то, что уже сказано другими». Я показала свои стихотворные переводы из Гейне, которые сделала тоже в детдоме. Она неопределенно заметила, что «нужно бы поговорить с Озеровым, он ведь у нас главный по переводам», но, к счастью, эта идея тотчас же и заглохла.

Она пыталась ввести меня в круг молодых людей, причастных к литературе. Привела на вечер в Дом литераторов, познакомила там с какими-то мальчиками, звала почаще приходить в редакцию «Знамени», где работала редактором в отделе прозы, хотела придать мне хоть немного светскости, сделать столичной девочкой. Не получалось, отчасти по свойствам моего характера, отчасти по причине ранней изломанности линии жизни. Я так стеснялась и боялась, что из этого ничего не могло выйти. Ведь и в Дмитровском переулке мне было не только прекрасно, но и тяжело. С.Д. бесконечно влекла меня к себе; это был для меня осколок прежнего разбившегося вдребезги мира, где превыше всего ценили жизнь духовную. Но природная застенчивость, делающая неловкой, а то и грубой, помноженная на то, что в С.Д. я видела существо высшего порядка, не могущее интересоваться мною по-настоящему (да и разница в возрасте была 20 лет), мешала мне раскрыться и стать собой. Так и осталось почти до самого конца.

Софья Дмитриевна не давала мне книг, но предложила приходить и читать у нее. Я обрадовалась несказанно и пользовалась ее приглашением не столько для чтения, сколько для того, чтобы вообще бывать в этом притягивавшем меня доме. Вот я устраиваюсь с книгой на диване, заменившем кровать, читаю и не читаю, а больше слушаю, наблюдаю за тем, что происходит. К С.Д. приходят знакомые литераторы и те, кого она редактирует. Вот пришла

Маргарита Алигер, я восхищаюсь ее поэмой «Таня». Маленького роста, сухая, с характерным твердым выговором, суровая, голос звенит. Я вижу, что она очень настоящая, ни от кого не зависит. Приходит Галина Николаева, странная, с длинной косой, глаза у нее разные (или косят), восторженная. Ведет себя, как романтическая девочка. Она не нравится мне, но С.Д. говорит, что очень талантлива. Я читаю ее роман «Битва в пути» – тема производственная, ну, и любовь, конечно. Творения ее канули в Лету. Я встретила здесь репатриировавшуюся из Шанхая Наталью Ильину, некрасивую, остроумную, готовую без конца рассказывать о своей судьбе и написавшую о ней сначала роман, а позже – гораздо более интересную книжку воспоминаний. Я запомнила ее смешной рассказ о том, как вскоре после возвращения в СССР в Нижнем Тагиле она отправилась в парикмахерскую и попросила вымыть ей волосы. Парикмахерша была потрясена, возмущена таким барским требованием и отчитала ее, а Ильиной это понравилось – ей виделись в этом независимость и достоинство людей, которые строят социализм. Репатрианты верили в это. А иначе для чего было возвращаться? Приходил стройный красавец, галантный и молчаливый адыг Аскер Евтых. Теперь я читаю о нем, что он – «основоположник адыгейской лирической прозы». С.Д. говорила, что он несомненно талантлив. Талантливость всегда была для нее важной, если даже не главной причиной, чтобы заинтересоваться человеком.

Но интереснее всех была для меня сама Софья Дмитриевна. С авторами она разговаривала горячо и решительно, иногда диктаторски, совершенно по-мужски, при этом не забывая ни на секунду о своем женском обаянии. И все слушались ее беспрекословно. А вот, лежа на тахте, она работает. Лист за листом ложатся на пол рядом с ней страницы рукописей с ее пометками. Она очень любит свою работу, говорит, что жить без нее не может. Это очень нравится мне.

Редакторская братия... Сколько приходилось слышать иронических, а то и гневных замечаний в адрес редакторов. Сколько раз и самой мне приходилось встречаться с редакторами, не желавшими даже слушать автора и единственным мерилom истины признававшими марксистско-

ленинские аксиомы и, может быть, еще важнее – указания «сверху». Это я о научной литературе. Но даже и там встречались умные редакторы, своими вдумчивыми замечаниями умевшие значительно исправить несовершенный текст.

В художественной литературе дело иное. Но и редактору там много труднее. Ведь если труженика пера волшебным образом регулярно призывает к священной жертве Аполлон, или же «весной, при криках лебединых», ему Муза является, как может он уважать какого-то там редактора, берущегося править начертанное под руководством Музы?

А я, вспоминая прежде всего С.Д. Разумовскую, считаю необыкновенно важным труд умного редактора, улучшающего, совершенствующего текст. А в советские времена редактор, кроме того, часто решал судьбу рукописи, иногда прибегал к самым немыслимым дипломатическим уловкам, а иногда не на жизнь, а на смерть сражался с главным редактором журнала или издательства, чтобы «пробить» книгу.

С.Д. была образцом редакторского мастерства. Многие прекрасные писатели того времени доверяли ей работу над своими произведениями – Зощенко, Шкловский, Катаев, Гайдар, Паустовский, Казакевич, Панова и многие другие.

Но дело было не только в редакторском мастерстве. Работавшим с ней писателям Софья Дмитриевна была помощником во всем. Она знала все обстоятельства их жизни, выслушивала исповеди и давала советы, умела успокоить, внушала веру в себя. И в самые трудные времена умела провести в жизнь то, что с точки зрения цепкой и внимательной цензуры не должно было увидеть света.

Я много читала у Софьи Дмитриевны. Начала читать любимого ею Пруста, впрочем, так и не сумела полюбить этого писателя, зато полюбила Бальзака. Это она впервые предложила мне любимейшую мою и по сей день книгу Ю.Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара». Открыла книгу и вслух прочитала эпиграф: «Ежеминутно уходит из жизни по одному дыханию, и когда обратим внимание, их осталось уже немного». «Удивительная книга, – сказала С.Д., – я верю в ней каждому слову. А это ведь о давних временах, о Грибоедове».

Она дала мне список «Поэмы конца» Цветаевой. Скло-

нившись над моим плечом, искала нужные строки и сказала: «Вот. Слушай, как грубо, как точно и как поэтично:

От друзей тебе подноготную
Тайну Евы от древа – вот:
Я не более, чем животное,
Самка, раненная в живот».

А в печатных изданиях позже я читала приглашенное: «Я не более, чем животное, кем-то раненное в живот».

Тогда же в списке я прочитала и переписала опубликованное много позже стихотворение Пастернака на смерть Марины. С.Д. спросила меня, люблю ли я Пастернака. А я совсем его не знала. Стала читать, поначалу ничего не понимала. Стихи его производили на меня сильнейшее впечатление, но казалось, что его нужно понять как-то более глубоко, чем я могла. Но музыка, музыка стиха всегда производила на меня главное впечатление и еще раньше, чем проникновение в смысл, часто казавшийся загадочным, помогала полюбить поэта.

Как-то я спросила С.Д., любит ли она Есенина. Она задумалась и сказала: «Для меня настолько существует Блок, что для Есенина места не остается. Вот послушай». И она тихо, бесстрастно, понижая голос к концу каждой строки, прочла стихотворение, уже давно любимое и мной:

Пусть я и жил, не любя,
Пусть я и клятвы нарушу.
Всё ты волнуешь мне душу,
Где бы ни встретил тебя.

И Мандельштам, решительно ничего о нем не зная, я впервые услышала из уст Софьи Дмитриевны:

Когда пронзительнее свиста
Я слышу английский язык,
Я вижу Оливера Твиста
Над кипюю конторских книг.

Она вдруг замолчала и вздохнула: «Ты помнишь, как ваш отец читал вам Диккенса? Пиквикский клуб?» Конечно, я помнила. «Ах, ладно, – с горечью сказала она. – Было и быльем поросло. Читай, Светлана. Валерьян Валерьянович был бы рад...»

В доме Софьи Дмитриевны я познакомилась тогда еще с одной замечательной женщиной. Это была мать будущего мужа С.Д. Даниила Семеновича Данина Елена Аркадьевна Плотке. Начавшийся еще до войны роман Даниила Семеновича и Софьи Дмитриевны (она была старше его на 10 лет) завершился в начале войны их соединением, когда Даниил Семенович приехал к ней в эвакуацию в Нижний Тагил. Теперь Елена Аркадьевна часто бывала у С.Д.

Сюда, в Дмитровский переулок, и приехал в 1945 году ее любимый сын Даня, и все тут было полно им, его делами и его друзьями, их бурной жизнью, жизнью молодых еще людей, вернувшихся с войны и счастливо уцелевших, веривших в то, что после мрачных предвоенных лет теперь настанут иные, свободные времена. Они часто собирались здесь в полутьме столовой, где теплый свет лампы под низко опущенным абажуром освещал только круглый стол, а все остальное тонуло в дымном полумраке, весело пили, нахваливали вкусную стряпню Елены Аркадьевны, рассказывали анекдоты, их юмор был самого высокого качества. Они никогда не говорили о войне, обсуждали литературные дела и без конца читали стихи. Я не помню, чтобы в этой компании бывали женщины, а настоящей королевой, управлявшей всем и всеми, была Софья Дмитриевна, Туся. Она не допускала ни малейшей пошлости. Нельзя было себе представить, чтобы эти молодые люди, почти все так или иначе прошедшие войну, решились бы здесь сквернословить.

В первые послевоенные годы я запомнила здесь Ярослава Смелякова, недавно вернувшегося из ссылки. Странная была у него внешность. Лицо старообразное, волосы гладко зачесаны набок, длинный нос. Все с восхищением говорили о его стихах. Как-то раз при мне он, отвечая на просьбу Туси: «Яра, ну, пожалуйста, не упрямитесь», прочитал новое стихотворение, начинавшееся словами:

Были давно два певца у нас:
Голос свирели и трубный глас.
Хитро зрачок голубой блестит,
Всех очарует и всех прельстит.
Весело в зале звучат слова,
Свесилась бедная голова.

Легкий шажок и широкий шаг
И над обоими красный флаг.

Софья Дмитриевна наклонилась ко мне и прошептала: «Ты понимаешь? Есенин и Маяковский».

Конец был такой:

Все мы окончимся, все уйдем
Зимним или весенним днем.
Но не хочу я ни женских слез,
Ни на виньетке одних берез.
Бог моей жизни, вручи мне медь,
Дай мне веселие прогреметь.
Дай мне атаку, трубу, поход,
Песней победной наполни рот.
Посох пророческий мне вручи,
Слову и действию научи!

«Березы на виньетке» – такая виньетка украшала обложку только что изданной маленькой книжки стихов Есенина. Издание это было важной новостью: Есенина не издавали много лет, он был негласно запрещен.

Смеляков только что вернулся из заключения. Впервые он был арестован по ложному доносу в 1934-м и вышел на волю в 1937-м. В 1941-м добровольцем ушел на фронт, воевал в Карелии и попал в плен к финнам. В 1944 году освободился и, как водится, тотчас был арестован особистами «для проверки». Когда его освободили, кажется в 46 году, он не имел права жить в Москве и у Даниных появлялся нелегально. Впрочем, уже готовилась к выпуску новая книжка его стихов. И этот совсем уже не молодой человек с богатым несправедливостями опытом воспевал красный флаг над Есениным и Маяковским и желал себе «отваги, трубы, похода»... Таково было настроение их всех, как будто бы в послевоенной эйфории забылось все пережитое.

А стихи Яры были прекрасные. Все зашумели, заговорили, Софья Дмитриевна поцеловала поэта. Подвыпивший Даниил Семенович, желая перекричать всех, стал громко читать смеляковскую «Любку Фейгельман», а потом прочитал свое стихотворение. Я запомнила строчки:

А я, смущенный, кричал: сначала!
Пусть я буду король бубен!

Бабы притихли. Одна сказала:
Девоньки, милые, да он влюблен...

И он действительно был влюблен, и Туся была влюблена тоже, это ясно было видно всем, и это делало всех радостными и остроумными.

К Софье Дмитриевне постоянно приходили новые авторы, печатавшиеся в журнале «Знамя». Как-то раз пришел небольшого роста полный мужчина с большой бородой в генеральской форме. Он сказал мне: «Можно, я буду ухаживать за вами? За вами, наверное, генерал никогда не ухаживал»? Это был Петр Петрович Вершигора, автор напечатанной в «Знамени» документально-художественной повести «Люди с чистой совестью» – о знаменитом партизанском соединении Сидора Ковпака, в котором служил и сам Вершигора. Увенчанный множеством наград, он был очень милый, добродушный и остроумный человек, беспрекословно подчинявшийся своему редактору – Софье Дмитриевне. Она сказала, улыбнувшись: «Ну, что же ты, Светлана, вот генерал за тобой ухаживать станет...» Но за мной невозможно было ухаживать ни в шутку, ни всерьез. Я краснела и бледнела от всякого слова этих людей, обращенного ко мне. Небожителями они представлялись мне. Любимая моя мечта была – стать невидимкой и наблюдать эту интересную жизнь так, чтобы никто не мешал. Генеральское ухаживание не состоялось.

Однажды хозяева и гости, все вместе, куда-то уходили, а Смеляков остался, ждал телефонного звонка. Осталась и я, потому что меня попросили присмотреть за керосинкой, на которой что-то доваривалось. Когда мы остались одни, Смеляков спросил:

– Ну, и что же мы с вами будем делать?

– Не знаю... – ответила я, сжавшись в комок и схватившись за спасительную книгу. Помолчали.

– Ну, что же, – сказал он опять, – будем, что ли, целоваться?

Все внутри у меня похолодело, но, усмехнувшись, как мне казалось, с холодным достоинством, я пробормотала:

– Ну уж нет.

– А почему нет? Такая интересная девушка, и я неплох еще, верно?

Тут раздался телефонный звонок, и мой собеседник, поговорив недолго, собрался уходить.

– Ну, извини меня, ладно? В другой раз.

Мы оба засмеялись, и обстановка разрядилась.

– Я пошел, – сказал поэт Ярослав Смеляков, открывая дверь. – Но ты обрати внимание на керосинку.

Боже правый! Угасающая керосинка была бархатной от копоти, черными были стены и потолок. Я ужаснулась, но ничего не успела предпринять. Раздался звонок в дверь – вернулись хозяева, и я пустилась наутек. «Что здесь происходило?» – спросила меня С.Д., когда я пришла к ним в следующий раз, больше с любопытством, чем с упреком. Я отговорила невнимательностью, извинялась... А об ужасном часе с поэтом ни слова не сказала.

В 47-м я уехала из Москвы, но приезжала не реже двух раз в год и каждый раз первым делом бежала в Дмитровский переулок. По-прежнему это было для меня самое привлекательное место в Москве. В последующие годы я очень подружилась с Еленой Аркадьевной. Она надолго вошла в мою жизнь тепло и радостно.

Очень уже немолодая, с ярко-седыми волосами, уложенными по обе стороны худого продолговатого лица, с чуть загнутыми вверх красивыми тонкими пальцами нежных рук. Милая, умная самым высшим умом – сердечным, полюбившая меня искренне, близкая, роднее родных. «Светка, Светка, – говорила она, сжимая мою голову и целуя в волосы, – я тебя очень люблю». Я с большим интересом слушала рассказы об ее классической еврейской семье. По субботам в доме ее деда, человека столь уважаемого и благочестивого, что его после смерти внесли в синагогу, что считалось высшим знаком почета и святости, собирались знатоки Талмуда («те самые талмудисты», – говорила, улыбаясь, Елена Аркадьевна). Благостные старики садились в кресла с книгами в руках и вели неторопливую беседу о тонкостях Священной книги. «Это следует понимать так, – передавала их речи Елена Аркадьевна, – а это вот так». Качали головами, и кто-нибудь поднимал длинный указательный палец. Тогда на мгновение воцарялось благоговейное молчание. Помню ее поэтическое описание встречи иудейской пасхи – пэсах: обычай, когда самый младший член семьи читает молитву перед родными,

собравшимися за праздничным столом; трогательный и исполненный важности ритуал, когда в канун праздника пэсах дедушка, как старший в доме, ходит по комнатам с серебряным совочком и щеткой, символически смахивая крошки, чтобы в доме не было ни крошки квасной пищи, а заодно придирчиво проверяя, нет ли в комнатах пыли...

Елена Аркадьевна любила рассказывать о своем романе с будущим мужем. Совсем юными они убежали из дому, из Шауляя («Шавли» – говорила она), где ей в детстве довелось пережить погром, тайком уехали за границу, но там им тотчас пришлось расстаться: он был беден, она богата. Елена Аркадьевна получила возможность учиться и получила диплом врача в Цюрихе. Где учился ее муж, я не знаю. Знаю только, что они встретились в 1900 году на Парижской выставке. Она нашла его потому, что он повсюду развешивал плакатики с надписью: «Хиенушка, я здесь!» И указывал свой адрес. Больше они не расставались и сообщили родителям, что стали мужем и женой. Муж Елены Аркадьевны был инженером, а ей не удалось стать практикующим врачом, потому что все силы она отдала семье, рано родила троих сыновей. Всю жизнь они прожили с мужем в любви и согласии. Помню, ей нравилась популярная тогда песня, в которой были такие слова:

Налей-ка рюмку, Роза, мне с мороза.
Ведь за столом сегодня ты да я.
Ну, где еще найдешь ты в мире, Роза,
Таких детей, как наши сыновья...

В 1933 году муж Елены Аркадьевны по направлению Орджоникидзе был направлен на работу в Челябинск на тракторный завод, и она уехала туда вместе с ним. А в 1937-м Семен Давыдович был арестован. Елена Аркадьевна вернулась в Москву к сыну Дане. Ни она, ни сыновья ничего не знали о судьбе арестованного. Но когда в 50-х годах они попытались его реабилитировать, выяснилось, что это невозможно. Он умер в Челябинской тюрьме, не дождавшись предъявления обвинения. На него не успели завести дело. Реабилитировать было некого – не было репрессированного! Человек исчез – без вины и без обвинения. Поистине – нет человека, нет и проблемы...

Теперь обычно бывало так. Я приходила к Софье Дми-

триевне, посижу с ней не очень долго, а потом – к Елене Аркадьевне, которая обменяла свои комнаты в Фурманном переулке на небольшую комнату в том доме, где жили Данины. Их квартирка расположена была у самой лестницы, а дальше тянулся длинный темный коридор, в самом конце которого находилась уютная комната Елены Аркадьевны.

Давно уже там и следов не осталось от прежних времен, и теперь уже ничего не узнать в этом доме. Я пришла туда сорок лет спустя и увидела прежней одну только знакомую и взору, и ногам лестницу с промятыми каменными желтоватыми ступенями, по которой когда-то я поднималась с трепетом, спускалась с облегчением, но с трудом дожидалась того часа, когда вновь можно будет снова взбежать по этой лестнице. В той полутемной уютной столовой, где когда-то звенели и гремели голоса молодых писателей, теперь сидели, запершись надежно, сотрудники отдела кадров Полиграфического техникума. Он существовал там и в послевоенные времена и непрерывно боролся за расширение своей площади, в результате чего в 60-х годах все обитатели этого длинного темного коридора покинули дом в Дмитровском переулке.

С Еленой Аркадьевной можно было говорить обо всем на свете. Я рассказывала ей о себе, о своей учительской работе в далекой Западной Двине, о перипетиях своей семейной жизни. Она слушала меня с неподдельным интересом и давала дельные житейские советы. И слушать ее было точно так же очень интересно. И разница в возрасте не имела никакого значения. Я и ночевала у нее много раз, в ее небольшой, уютной, тихой комнате. Вечером и ночью, как потушим свет, – самые интересные задушевные разговоры.

А с Софьей Дмитриевной – все дальше, дальше. Давно уже прошло ее недолгое увлечение мною, никакого таланта во мне не обнаружилось. И когда после реабилитации родителей я вернулась с дочкой в Москву, а они перебрались в новую квартиру в писательском доме на Аэропортовской, все переменилось, и я поняла, что не нужна тут. Смерть моей мамы – ее давней подруги – Софья Дмитриевна приняла совершенно спокойно и ни о чем не расспрашивала.

А потом умерла милая моя Елена Аркадьевна, я стала

бывать у Даниных совсем редко и все как-то неудачно. И перестала приходить и звонить...

Прошло восемь лет. Не было не скажу часа, но не было дня, чтобы я не вспомнила о Софье Дмитриевне. Как-то раз, лет через пять, написала ей письмо, оставшееся без ответа. И чем дальше, тем труднее было себе представить, что позвоню, заговорю. Без конца я видела Софью Дмитриевну и Даниила Семеновича во сне. То совершенно спокойными, то сердито упрекающими меня в чем-то. В бессчетно повторявшемся сне с разными вариациями я приходила к ним на Аэропортовскую или же в старую квартиру в Дмитровском переулке, и меня встречало ледяное равнодушие, а иногда меня просто не узнавали.

И вот позвонил мне какой-то человек, писавший историю Детиздата, и стал расспрашивать меня о маме. «Я нашел вас по рекомендации Разумовской», – сказал он. Будто электрический разряд в сердце, мысль – нет, уже не могу, хочу, боюсь, должна! И – позвонила. «Да-а, – как обычно, протянул Даниил Семенович, – как, это вы, Светлана? Как ваша жизнь? Хотите с Тусей поговорить? Ну, что же, но только имейте в виду, что сейчас она вам выдаст... мало не покажется... Ту-ся!» – громко крикнул он, и, замирая от страха, я услышала их разговор в глубине квартиры. «Это Светлана Оболенская». «Кто»? И какой-то там слышался еще глухой, со всплесками ее гневных восклицаний, обмен мнениями. «Светлана? – услышала я высокий голос Софьи Дмитриевны со знакомыми непередаваемо капризными в минуты гнева интонациями, – что это ты надумала позвонить?» Она говорила с крайней неприязнью и раздражением. Молча выслушала мой несвязный лепет, сказала: «Мне интересно на тебя посмотреть, что ж, звони, приходи, если действительно хочешь».

Я пришла. Открыл Даниил Семенович, поцеловал руку, усмехнулся: «Держитесь!» Софья Дмитриевна не спеша вышла из дальней комнаты, стояла, ожидая меня, с недовольным и капризным видом. В первую минуту меня поразило, как она переменилась. Большая опухоль сбоку шеи и сильно увеличившиеся глаза навывкате. Роскошных ее волос теперь хватало только на скромную прическу. Но в следующее мгновение живая прелесть лица и всей ее небольшой фигуры заставили меня забыть все перемены. Она сухо

расспрашивала меня, сухо сказала, что вот за это время умерла ее сестра Шура, а я этого и не знала; но глядела на меня с интересом и несколько раз повторила: «Но как ты изменилась – совсем другая стала». Визит мой был короткий.

Когда я позвонила снова, она очень твердо сказала: «Вот что, Светлана, я много думала. Я не могу тебя простить, ты столько лет ничего о нас знать не хотела!» Она ждала объяснений. Что сказать? У меня была своя, глубоко запрятанная обида: я ее так любила, а не нужна была ей. Но ведь этого не скажешь, и я пыталась только объяснить свое отношение к ней: робость, восхищение, свою застенчивость и неловкость. Нет! Она не понимала и не принимала ничего! «Я уж думала, – говорила она, – может быть, я чем-нибудь провинилась перед тобой? Нет, не знаю, не знаю...» Сердилась ужасно и вдруг сказала нечто, в ее устах почти непереносимое: «Ведь ты бывала у нас, как своя, я столько для тебя сделала и столько пережила – ведь меня же вызывали из-за тебя!» Мне захотелось бросить трубку. Это было ужасно!

В 1949 году, в разгар антикосмополитической, антисемитской кампании, после печально знаменитой статьи Н. Грибачева то ли в «Правде», то ли в «Литературке», напичканной оскорблениями в адрес Д.С. Данина («Плотке» – подчеркивалась в скобках его истинная фамилия), я отправила Софье Дмитриевне возмущенное и сочувственное письмо. Лишь много позже я оценила собственную глупость, толкнувшую меня на этот неразумный и опасный поступок, а тогда, в своей глухой провинции, я вообще не вполне понимала смысл и масштабы происходящего. Софья Дмитриевна выговаривала мне потом – зачем я это сделала, ведь я по-прежнему дочь врага народа... Может быть, именно из-за этого ее «вызывали»?

Не видела я за собой особенной вины и думала: ведь если я действительно нужна была Софье Дмитриевне, она все-таки могла позвонить мне сама. А если не нужна была, то стоит ли так сердиться? Тяжело было.

Я позвонила месяца через два, и на мой вопрос, все ли у них в порядке, Даниил Семенович ответил, что все не в порядке. Туся тяжело больна, только что из больницы, в плохом состоянии, и прийти к ним сейчас нельзя, а вот через некоторое время можно будет ее навестить.

Острая жалость пронзила меня, и я забыла про все свои обиды и комплексы. Позвонила снова, пришла и не уходила – именно так хочу сказать – до самой ее кончины. Бог послал мне эту последнюю встречу, чтобы проститься с Софьей Дмитриевной и искупить свою вину, если только была вина... А, конечно же, была.

Думаю, она почувствовала мою горячую жалость, и сама смягчилась. «Знаешь, – сказала как-то, – после больницы я поняла: главное, что нужно в последнем итоге, что только и остается нам – это доброта близких». Мне вспомнились слова Бетховена о том, что только одно преимущество может быть у одного человека перед другим – доброта. Это ей очень понравилось.

И таким трогательным показался мне ее рассказ о счастливых минутах последнего времени. «Два счастливых момента у меня были в последнее время, – сказала она. – Первый: столько лет мечтала побывать в Париже, а счастье испытала тогда, когда после месяца, проведенного там, увидела в окно вагона эти уходящие красоты. Домой хотела. Но главное – когда я чуть не умирала в больнице, а мой муж не отходил от меня».

Я приходила к С.Д., как только она того хотела. Время было летнее, отпускное, и я подолгу проводила его с ней вдвоем, старалась ее успокоить в ее немощах, с радостью исполняла ее нехитрые просьбы – что-нибудь купить, принести. Слушала рассказы и об ее, и о моем прошлом – она ведь знала о моей погибшей семье гораздо больше, чем я, и рассказывала мне о маме, о брате Вале, общем любимце. Рассказывала С.Д. о своей молодости в Екатеринограде, об их романе с Даниилом Семеновичем, о покойной Елене Аркадьевне. Всегда с интересом слушала и мои рассказы – о годах жизни в Западной Двине, о Лене, дочке моей, которая очень нравилась ей своей артистичностью и приветливостью, о маленьком моем внуке Васе. Заходил Даниил Семенович, слушал, иногда рассказывал что-нибудь интересное или смешное, потом уходил к себе...

Одним из первых вопросов Софьи Дмитриевны всегда, и в эти, последние времена ее жизни, был: «Что ты читаешь?» Помимо прочего, я много читала в то время Шукшина и особенно Трифонова. О Шукшине, мне помнится, она сказала только, что он обладает редкостным слухом,

что позволяет ему создать неподражаемую собственную стихию русского языка, и что он занимает совсем особое положение, не примыкая к признанным «деревенщикам» типа Распутина или Белова, идейный мир которых имеет совсем другие основания. Но лучшим писателем своего времени она считала, несомненно, Юрия Трифонова. Я – тоже. Он почти совсем забыт сейчас, не переиздается, но его время еще придет. Он рано умер и не успел стать Чеховым своего времени. Может быть, таланты их и несоизмеримы, но то, что он отражал очень четко быт, жизнь, настроения городской интеллигенции своего времени, ее достоинства и порожденные 70-летним молчанием и приниженностью пороки – вспомним хотя бы «Обмен», – не подлежит сомнению.

* * *

После смерти Софьи Дмитриевны прошел почти год. Август наступает, я живу в эстонской деревне с веселым названием Хяэдемеесте, что значит «славные мужики». Красивые каменные домики с жардиньерками, по которым вьются и цветут то лиловыми, то белыми, то ярко-красными цветами не известные мне растения. Домики построены и украшены каждый на свой лад – то низкий, серый с черным геометрическим узором по карнизу, то высокий с острой крышей, нарядно белый, то деревянный, охряного цвета. Стоят далеко друг от друга, полускрытые яркими цветниками, и деревья тоже стоят поодиночке на широких зеленых полянах, мощные и роскошные, а редкий сосновый лес полон черники и малины. Большие и богатые семьи живут здесь. Много детей. Очень тихо, солнечно, спокойно, где-то недалеко мирно шумит море.

Но вчера погода переменилась. Задул «лоде», ветер с моря, норд-вест, зашумели деревья, длинные рваные облака стремительно несутся на фоне пышных картинно-спокойных собратьев.

Море шумит тревожно, и в воздухе разлита тревога. И в сердце моем тревога и грусть, я вспоминаю последние дни Софьи Дмитриевны, слезы у меня на глазах.

Много дней я провела у ее постели, сначала потихоньку беседуя с ней, умолкая, когда она уставала, а потом

уже и не беседуя, а ловя каждое ее движение и взгляд, желая помочь ей как можно мягче, лучше. Она лежала, по-прежнему красивая, даже красиво одетая, причесанная, умытая, с чистым платочком в руке, подложив под щеку руку в кольцах, и почти все время как будто спала, иногда открывая глаза, чтобы попытаться привстать, выпить воды, проглотить что-нибудь, посмотреть на тех, кто был рядом.

Страдала ли она? Казалось, что нет, но кто знает, что таило от нас ее молчание и ее редкие, вроде бы не имеющие смысла слова. «Нет, это невозможно!» – как-то вздохнула она при мне. «Возьми меня за руку, Светлана, мне нужно сказать тебе...» Но ни слова не последовало. Что этот было? Что она чувствовала? Что думала? Как-то около нее дежурила писательница Ирина Велембовская. Плача сказала: «Не узнает...» Вдруг Софья Дмитриевна открыла глаза и внятно проговорила: «Я прекрасно узнала вас, Ирочка». В другой раз я одна молча сидела рядом с кроватью. Она медленно открыла глаза, словно возвращаясь откуда-то, уже с той стороны, взгляд ее постепенно наполнялся мыслью. «Светлана», – с трудом, еле слышно, прошептала она. Я заплакала, но она не увидела этого, тотчас снова погрузившись в забытие.

Я поражалась деликатности и мужеству этой изнеженной женщины. Когда я заговорила с ней об этом, она усмехнулась: «Обстоятельства вынуждают к героизму, милочка. А что делать? Надо же вести себя прилично». Однако не все ведут себя прилично, не у всех получается.

Помимо близких и друзей, для Софьи Дмитриевны главным и единственным был ее муж. Только с ним, с ним одним, хотелось ей быть всегда. «Даня!» – раздавался ее высокий голос, и он тотчас же спешил к ней. Меня и прежде восхищала и веселила их манера обращения друг с другом. Она – капризничает, будто бы проверяет ежеминутно, готов ли он исполнить ее желания. Он по видимости небрежен и ироничен. Но я знаю, что его жизнь – почти служение ей, знаю, что для обоих нет человека ближе и дороже друг друга.

Я восхищалась Даниилом Семеновичем всегда, а их союз с Софьей Дмитриевной казался верным признаком того, что истинная любовь существует, и, значит, в жизни не так уж все безнадежно.

Я восхищалась им и в эти последние месяцы. Не только тем, что он так преданно и нежно ухаживал за женой, но и тем, как он вообще вел себя. Ведь он знал все об ее болезни, знал, что конец близок. Ни словом, ни жестом не выдавал он этого знания. Он был внимателен и терпелив бесконечно. Он умывал и переодевал жену. Поил, кормил, уговаривал, ласково угрожал. Он посвящал ей все свое время. «У нас тут Ясная Поляна, – говорила С.Д., – Даня каждый день читает мне вслух». Но главное – и как это ему удавалось? – я никогда не слышала из его уст ни слова неправды. Он не уверял больную, что в ее положении нет ничего страшного. «Ты же сама видишь свое положение», – уверенно и спокойно говорил он, подчеркивая доверительным тоном, что страшного ничего нет. Он шутил с ней, как обычно, милой иронией проникнуты были все их разговоры. И я никогда, ни одного раза не видела и тени раздражения, столь естественного в такой ситуации. Ни разу!

И вот утро 15 сентября. Я бегу на дежурство к Софье Дмитриевне, опаздываю и уже чуть ли не говорю заготовленные извинения. Дверь открывает Даниил Семенович, прямой и неестественно напряженный, и с рыданием: «Туся умерла сорок минут назад!» – обнимает меня в слезах. «Посмотрите на нее». В квартире ночная сиделка и еще Леля – друг и врач, курит. Я захожу в ту комнату, где уж больше не сидеть мне у ее постели – а лучше бы это продолжалось без конца, чем то, что ее нет больше, нет, совсем, нигде нет! Откидываю простыню – пожелтевшее лицо с полуоткрытым ртом, страдальческое выражение. Узнаю и не узнаю, наклоняюсь и осторожно целую. Странное равнодушие охватывает меня. В молодости это представлялось бы мне свидетельством бесчувствия. Теперь я знаю, что это не так. Вместе с Лелей прибираю в комнате. И постепенно с безмерной горечью понимаю всем сердцем: всё кончено, всё кончено.

Почему-то не сразу ухожу, а, напротив, сижу за столом, пью коньяк вместе с теми, кто приходит, узнав о случившемся, курю, слушаю беседу, переходящую уже отчасти и на литературные темы. Даниил Семенович читает стихи. Он прекрасно читает. Волнуюсь, что никак не едут из больницы, чтобы забрать тело. Д.С. говорит: «Да не

волнуйтесь, Светлана, у смерти не бывает опозданий», — почти из Высоцкого. Ухожу домой. Очень, очень пусто, образуется ничем не заполняемая пустота, будто целый мир ушел глубоко в черные воды.

В гробу Софья Дмитриевна лежала в черном костюме, красивая, как всегда.

Не то, чтобы не нужные, но совершенно несоразмерные с происходящим слова прощания во время панихиды. Даниил Семенович как-то рухнул на гроб, прощаясь с ней. Я тоже поцеловала ее в нездешний уже лоб.

Все. Никогда и ничего.

Много дней спустя пришло ко мне странное ощущение связи между мной и покойной Софьей Дмитриевной, связи гораздо более тесной, нежели она была при жизни. Чувство это глубоко личное, ничем не оправданное и не объяснимое, но оно существует и заставляет постоянно мыслями обращаться в прошлое.

Кончаю институт

Кончался институт. Альберт Захарович рекомендовал меня в аспирантуру. Но что мог он сделать? Новая деканша вызвала меня и, не глядя в лицо, спросила, как я представляю себе будущее после окончания курса. Я ответила, что хотела бы поступить в аспирантуру. С отрепетированным холодным, спокойным удивлением она подняла на меня глаза; иронически, почти издевательски: «В ас-пи-ран-ту-ру? Ну, об этом и не думайте. Придется поработать, как и всем». Как всем? Я оказалась одной из немногих, кто отправился работать по распределению учительницей далеко от Москвы. А несколько человек в аспирантуру поступили.

Деканша руководствовалась не только данными моей биографии, начальство не дремало. Удивительно, что я, дочь репрессированных родителей, достаточно уже хлебнувшая несправедливостей и горя, все еще не понимала того, что беды ходят вокруг меня.

Ранней весной 1947 года меня вызвал к себе директор МОПИ. Монументальная фигура за большим письменным столом в сумрачном кабинете. Предложил сесть. Внимательно смотрит на меня, медлит начать беседу. Я спокойно, с наивным бесстрашием гляжу на него. «Скажите, — произносит директор

вкрадчиво после нескольких вопросов о занятиях, — приходилось вам слышать в стенах нашего института разговоры о повышении цен? Припомните, вы сами говорили об этом с кем-нибудь?» Я задумалась. Действительно, слышала я или нет? Не вспоминалось ничего определенного. Ответила вопросом, казавшимся мне простым и смелым: «А разве это неправда, что цены растут и жизнь становится труднее?» Директор откинулся в кресле и не сразу нашелся, что ответить. Потом долго толковал о временных трудностях и по-отечески посоветовал не вступать в дальнейшем в подобные беседы.

Моя наивность — вернее назвать ее дуростью — не имела границ. Примерно в то время, когда происходил этот разговор с директором института, однажды я приехала на занятия и, усевшись на привычное место, поджидала опаздывавшую Галину. Лекция уже началась, когда моя подруга вошла. В перерыве, заметив меня, она бросилась в сторону, быстро скрылась. Звоню по телефону — не берет трубку. Наконец, объяснила мне, что происходит, что ей позвонили из НКВД. Два человека в течение двух часов ласково и доверительно беседовали с ней о профессорах. Но едва ли не главную часть разговора составляли вопросы обо мне: на какие средства живу, как веду себя в институте, о чем разговариваю, каковы мои взгляды на происходящее в стране (шел 1947 год), что думаю о своем отце, и пр., и пр. Сказали Галине, что сотрудничество с «органами» будет полезно для нее, а со мной, как она, конечно, понимает, лучше дела не иметь.

Тут нужно сказать, что и Галина, и я вступили в комсомол, как все вступали, но, приехав в Москву, не встали на учет и автоматически выбыли из комсомола. На Лубянке ее спросили, комсомолка ли она.

— А Оболенская? Ну, вы, конечно, сможете восстановиться, а что касается Оболенской, то она была ведь в комсомоле случайным человеком, не так ли?

— ...

Не знаю, какие последствия имел для Галины этот визит на Лубянку. По окончании института Галина вернулась в родную Шую, там ее пригласили на работу в райком комсомола. Она стала партийно-комсомольским функционером.

А для меня? Возможно, этот эпизод сыграл свою роль при распределении, в возможности поступить в аспирантуру. Но это я сейчас так думаю, а тогда у меня такой мысли не было.

Я рассказала обо всем маме, которая уже около двух лет, мыкаясь в Москве без жилья и работы, боялась нового ареста.

Я рассказала ей об этом со смехом. Она слушала очень внимательно, осторожно, чтобы не испугать, говорила, что ничего веселого тут нет, и меня, возможно, на днях арестуют. Она стала давать мне советы, как вести себя в тюрьме и в лагере. Я смеюсь и не хочу слушать, не верю в эту ерунду. И действительно ничего не произошло. Бог меня уберег. Как берег и во все эти безумные, страшные годы. Для чего? — думаю я иногда. Может быть, для того, чтобы я все это написала?

Оглядываюсь на близившиеся к концу юношеские московские годы. Судьбы других детей, подобных мне, оказались много тяжелее. Но все равно. Дубовый листок оторвался от ветки родимой, — писала мне мама еще из лагеря и потом тоже говорила, что этот образ для нее прочно связан со мной.

Но я уже привыкла быть без семьи, приспособилась к жизни без нее и в те годы никогда себя не жалела. Нравственное мое развитие шло по линии приспособления к обстоятельствам; не в общественной жизни — эта сторона для меня, кажется, и не существовала, — а в своей собственной жизни, в быту, в общении с людьми. Как-нибудь прожить, но только учиться... Все сконцентрировалось на интеллектуальной стороне жизни. С этой точки зрения я и людей расценивала: самое главное — ум; умный человек лучше доброго дурака. И сама больше всего хотела быть умной. Но как-нибудь прожить — это означало тогда для меня перетерпеть свое двусмысленное положение ради будущего, а не попытаться изменить его, сделав шаг к самостоятельности.

Олег

В 1944 году на несколько дней в отпуск приехал в Москву с фронта Олег Оболенский, мой двоюродный брат, сын дяди Паши. Мы познакомились с Олегом еще пять лет назад, и у меня сохранилось приятное воспоминание о полудетской дружбе и его интересе ко мне. И вот теплый весенний день, я возвращаюсь домой из института. Из окна в комнату льется свет вечернего солнца, яркого и мягкого одновременно. Навстречу мне поднимается высокий юноша в военной форме с погонами лейтенанта. Он смотрит на меня расширившимися от удивления глазами, румянец ярко и нежно вспыхивает у него на щеках, а руки почему-то сжимают и прячут ложку, которой он до моего прихода ел суп. Он объяснил мне потом: на черенке его солдат-

ской ложки была вырезана фигурка обнаженной женщины, и он в эту секунду почувствовал, что ему стыдно при мне держать эту ложку в руках. Олег говорил мне, что в ту же первую секунду понял, что не переставал меня любить с той детской встречи.

Еще до войны стараниями своего отца Олег был отдан в артиллерийское училище. В школе учился неважно, был не слишком прилежным; увлекался самодеятельностью, играл на гитаре, хотел стать артистом. Дядя Паша, полагая (справедливо, наверное), что у мальчика нет настоящего таланта, нет и нужной работоспособности, не придумал ничего лучшего, как этого мальчика, мягкого и не особенно сильного характером, подвергнуть перевоспитанию в военном училище, чтобы там из него сделали мужчину. Не знаю, сделали или нет, но он остался штатским и очень домашним.

В Москве у него была девушка, он переписывался с ней из армии, с фронта, где был со второго года войны. Ольга Павловна предупредила ее о приезде Олега, надеясь, что у них с Олегом что-нибудь получится, — Лида ей нравилась. Олег и пошел к ней, но я видела, что он делает это через силу. Он объяснил мне, что раньше Лида ему нравилась, но теперь вовсе не нужна, а нужна только я. Но я его не любила... Мы сидели вдвоем на огромном кожаном диване, он придвинулся ко мне и обнял за плечи. Не зная, что сказать, и не чувствуя ровно ничего, я твердила, что он мне брат и об этом нельзя забывать. До сих пор помню, как жалобно и безнадежно смотрел он на меня снизу вверх, когда я встала, чтобы уйти. Ночью он без конца вставал и выходил в кухню курить, а возвращаясь в комнату, где спали мы все, быстро и нежно гладил меня по голове. Ольга Павловна видела все это, но не верила, что я нравлюсь Олегу. Во-первых, Лида. Но главное — кто я такая? Мои родители в тюрьме, каково мое будущее? Да я и не пара ему — не хозяйка, маленькая еще. Вот так или почти так говорила она мне.

Накануне отъезда обратно на фронт в комнате у тети Жени, которая жила тоже в этой квартире, устроили маленькую вечеринку. Олег, подвыпив, нечаянно с размаху сел на прекрасную старую тети женину гитару и сломал ее. Все восприняли это как дурное предзнаменование, а тетя Женя почти рассердилась. Олег страшно огорчился и успокоился только, получив обещание Ольги Павловны, что она позаботится о починке гитары.

И вот мы с Ольгой Павловной на вокзале провожаем Олега. Стоим на перроне, тянутся тягостные последние минуты, когда уже не о чем говорить. Ольга Павловна плачет, мы обнимаем

его. Олег вдруг отрывает с гимнастерки пуговицу, кладет мне ее в карман и еще раз, глядя прямо в глаза своими светло-серыми, почти голубыми глазами, в которых стоят слезы, целует меня. «А пуговица, — говорит он, — это чтобы я к тебе вернулся». Из окна вагона, не отрываясь, смотрит на меня, смотрит до тех пор, пока поезд не уносит его от нас. С этого дня Ольга Павловна ждет его возвращения непрестанно, трепетно, с надеждой. Ведь война близится к концу, это ясно.

Война не пощадила Олега. Несколько месяцев спустя он был ранен и в тот же день умер в госпитале. Рана была не слишком тяжелая, но он потерял много крови, сердце не выдержало. Сердце у Олега было неважное с давних пор, об этом, наверное, знал и дядя Паша, стремившийся сделать из него мужчину. И во время отпуска в Москве ему однажды стало нехорошо, заболело сердце. Я была при этом, но не придавала никакого значения — через несколько минут все прошло. Может быть, нужно было тотчас же обратиться к врачу, может быть, он не попал бы снова на фронт? Вряд ли.

Помню, летом того же года вхожу в комнату. Дядя Паша лежит на кровати в каменном темном молчании. Так он лежал несколько дней, не ходил на работу. Ольга Павловна рыдает у стола, стучит по нему кулаками, падает головой на руки. Я закрываю лицо ладонями, сижу молча, не плачу.

Когда Олег уехал и стал мне писать, мне показалось, что, может быть, из этих писем что-нибудь и вырастет. Может быть, его любовь, думала я, пробудит во мне ответное чувство, а потом он вернется... Не вернулся, лежит в братской могиле в Гродно, где имя его значится среди имен товарищей. Милый юноша с нежным румянцем на щеках, играющий для нас на гитаре, надеющийся на мою любовь. А гитару, сломанную Олегом накануне отъезда, починили, и тетя Женя еще долгие годы играла на ней и пела хриплым голосом, смело и отчаянно: «Не уходи, побудь со мною...» или же: «Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали...»

Начало самостоятельной жизни

Кончилась война. И кончилась моя юность — с окончанием института и отъездом из Москвы на целых четырнадцать лет. Тогда это представлялось катастрофой, как бы концом жизни. К счастью, все сложилось вовсе не катастрофически. Просто в жизни наступал новый трудный этап.

Семейство Ольги Павловны и грустило, и радовалось моему отъезду, и я это отлично понимала. Я прожила у них четыре года на полном обеспечении. Годы эти были трагическими и трудными для них, а я не очень-то украсила их жизнь, хотя и прочно вошла в нее, и не только на эти четыре года. Мы столько пережили вместе — и в быту, и в душевной жизни, что это связало нас навсегда.

Что же дали мне эти четыре года? Прежде всего, любовь к науке и ощущение творческого труда как наивысшего наслаждения. Чтение, музыка, новые восторги и разочарования, но главное, наверное, новые люди и новые отношения, сохранившиеся на долгие годы. Жизнь была трудная, но очень насыщенная и богатая впечатлениями. Теперь предстояло совсем иное, и я тоскливо предчувствовала это, расставаясь с моей родной Москвой.

В августе 1947 года я уехала в Великие Луки. Город производил страшное впечатление: всюду развалины, бедность лезет из всех углов. Но я ничего не разглядывала, с бьющимся сердцем пришла в ОБЛОНО, нашла нужную комнату. Инспекторша была изумлена: из Москвы? Ей казалось невероятным, что я выполнила предписание и действительно приехала на работу из столицы. Никакой радости она по этому поводу не выразила, полагая, очевидно, что я вернее всего просто повернусь и уеду или же пробуду здесь совсем недолго и сбегу. Она не знала, что у меня нет ничего другого и меня никто нигде не ждет, а, напротив, мама ждет моего устройства вне Москвы, чтобы приехать ко мне и жить не на птичьих правах. «Ну хорошо, куда же вас направить?» — спросила она скорее себя, чем меня. Я объяснила, что прошу об одном — чтобы близко была железная дорога, ибо хочу учиться в аспирантуре и у меня родные в Москве. Инспекторша покачала головой и попросила подождать в коридоре. Через пять минут моя судьба была решена, и мне вручили направление на работу учительницей истории в город Западная Двина. Инспекторша исполнила мое желание: Западная Двина стояла на железной дороге, на половине пути между Москвой и Ригой.

Поезд, которым много лет спустя я несколько раз ездила отдыхать в Прибалтику, проходит через Западную Двину глубокой ночью. Я просыпаюсь, сажусь у окна и вглядываюсь в темноту задолго до станции. Вот мост через реку Западная Двина, редкие огонечки слева от железнодорожного полотна. Поезд останавливается у маленького кирпичного станционного здания. Платформа, кажущаяся необыкновенно чистой в приглушенном свете

фонарей, высокие деревья в пристанционном садике. В вагоне все спят, не выходит никто, и проводница чаще всего даже не отпирает дверь, хотя стоянка — минут семь-десять. Сколько раз я спрыгивала с площадки вагона и попадала тут в объятия друзей или близких, встречавших меня! Сейчас пусто, на перроне ни одного человека. И друзья тех давних лет, все еще живущие здесь, спят, не подозревая об испытываемом мною волнении.

Тогда, в 1947 году, я приехала сюда из Великих Лук под вечер и, сходя с поезда, чемоданом порвала свои единственные чулки, что повергло меня в дополнительные уныние и досаду. Деревянный вокзальчик, мокрые улицы с деревянными гулками мостками-тротуарами, одноэтажные деревянные деревенские домики, тесно лепившиеся друг к другу, — это была не фабричная провинциальная Шуя, здесь немислим был роскошный дом купца Терентьева. Крошечное местечко, 8 тыс. жителей.

Камеры хранения на станции не было, и я с проклятым чемоданом отправилась в РОНО, помещавшийся в таком же, как и другие, деревянном доме. На лице молодого заведующего изобразилось все то же непобедимое удивление. Из Москвы — сюда? Какой дурак посылает сюда людей, которые не пробудут тут больше года? И какой дурак едет сюда из столицы, хотя бы у него и было к тому предписание? Похоже, он больше всего хотел, чтобы я тут же уехала. Посмотрел на меня. «Да историю-то вы хоть знаете?» — с сожалением и уверенностью, что не знаю. «Думаю, что знаю», — с лихостью возразила я, хотя втайне безумно боялась именно того, что не знаю. Заведующий вздохнул, подумал, взял направление. Ну ладно, пойдете в школу № 1. И я взяла протянутую бумажку и отправилась в школу, где проработала легко, весело и дружно следующие четырнадцать лет. Но тогда мне вовсе не было легко и весело.

Большое двухэтажное деревянное здание школы, окруженное забором, находилось недалеко от РОНО. Перед воротами простиралась необъятная глубокая лужа, размером с небольшое озеро. Пространство этой лужи не освещалось, а мостки-тротуары почему-то не доходили до школьных ворот, и на занятия в вечерней школе в темноте осеннего вечера попасть было нелегко. Нужны были высокие сапоги или, по крайней мере, по тогдашней моде, высокие боты, а у меня были только галоши на туфли, и несколько раз их заглатывала грязь, и я, стоя на одной ноге, руками извлекала из темной жижи залитую внутри обувь.

За пятьдесят рублей в месяц я сняла неподалеку от школы

маленькую комнату за дощатой перегородкой не до потолка, отделявшей нас от хозяев. Здесь мы с мамой и прожили не помню уж сколько — около года, наверное. Интерьер наш был крайне скуден. Мамину железную кровать (узкая девичья постелька — шутила мама) и бабушкин деревянный сундук, превращенный в ложе для меня, разделяло такое узкое пространство, что вдвоем не разойтись. Школьный стол, скамейка от парты да в углу еще столик для хозяйственных нужд. Дощечка, подвешенная на двух веревочках, — полка для книг. Пока не приехала мама, мне было очень тоскливо. Тоска накатывала волной и по вечерам заливала с головой, и я не знала, что делать. Кончена жизнь, думала я в отчаянии. Теперь навеки в этой дыре. Москва недостижима, вокруг никого. Как жить?

Однако с началом учебного года в мою жизнь вошли новые интересы и заботы, положившие все же конец моей безбрежной тоске. В конце августа состоялся педсовет, на котором директор объявил, что мне дают 18 часов истории и Конституции — ставку, а классное руководство пока доверить не могут.

И вот мой первый урок. Я надела мое единственное приличное черное платье, тщательно причесалась и с трепетом отправилась в 10-й класс. Передо мной сидели человек десять великовозрастных ребят, преимущественно мальчики, которые показались мне почти ровесниками. Так оно и было. Мне было 22 года, а они были дети войны, и многим было за 20. Смотрят пристально, изучают, сравнивают, оценивают. Мой предшественник, покинувший школу, был, очевидно, таким дубиной, что им понравился бы, кажется, кто угодно. С первого же урока все пошло отлично и в этом классе, и во всех других (а уроки у меня были, кажется, чуть ли не во всех классах); не прошло и месяца, как директор с удивлением сказал мне, что не ожидал таких результатов, увеличил нагрузку.

Как хорошо работалось мне в тот первый мой самостоятельный год! Я поняла, что справляюсь отлично, с учениками старших классов — дружба, вместе катаемся на лыжах, ходим в лес. Учителя быстро признали меня и с некоторыми завязались приятельские отношения. Наконец, первые самостоятельно заработанные деньги, впервые в жизни возможность купить то, что хочется. Впрочем, желания, как и возможности, были скромные. Отменили карточки, с едой стало легче. И к весне Западная Двина волшебным образом стала для меня меняться. Милыми и смешными стали деревянные тротуары. С почты

можно было позвонить в Москву, и письма оттуда приходили регулярно. В первые же зимние каникулы директор отпустил меня в Москву, и с тех пор почти на каждые каникулы я уезжала, хотя, в общем, это было против правил, ибо, как известно, учителя должны работать и во время каникул, хотя бы даже эта работа заключалась в бездельном сидении в учительской в течение двух-трех часов. Работала я очень много: в двух сменах дневной школы, а потом еще в вечерней школе со взрослыми. Дни и вечера были плотно заняты, но все же я успевала немного и заниматься, так как собиралась, как мне советовал Альберт Захарович, следующей осенью подавать заявление в аспирантуру Института истории, где он уже в это время работал.

Вскоре после моего приезда должны были состояться выборы в Верховный совет. На собрании в школе меня в числе других выдвинули в члены избирательной комиссии. Я сочла нужным встать и сказать, что мой отец репрессирован. Собрание приостановили, секретарь партийной организации вышел в соседнюю комнату, позвонил в райком и вернулся с решением. Меня похвалили, что честно рассказала об этом факте своей биографии, но выбирать в комиссию остереглись. И никогда никуда больше не выдвигали. А еще никогда и никуда не выдвигали учительницу географии — за то, что она работала на немцев. Она была из маленького городка Себежа. В семье была мать и три дочери, отец на фронте. Мать не работала. Во время оккупации, чтобы как-то прожить, наша учительница пошла работать в какую-то контору. Немцы в Себеже были недолго, а клеймо на ней осталось. Как-то раз она с горечью сказала, что странное несчастье сблизило нас. Нет, не сблизило нисколько, однако обе мы были отринуты обществом. Горький осадок в душе был всегда.

Летом, во время отпуска, я снова была в Москве и проводила время преимущественно в библиотеках, готовясь к поступлению в аспирантуру. Это было и необходимо, и бесконечно приятно. Никогда не забуду Историческую библиотеку тех трудных лет, где в общем зале, который и по сей день люблю больше всех других и жалею, что занимаюсь не в нем, до позднего вечера сидела за большим длинным столом — не так плотно, как сидят теперь. Листаю большие желтые листы Московских ведомостей 50-60-летней давности. Они пахнут так, как будто впитали в себя запахи того времени. Объявления — о сельскохозяйственных машинах, о магазинах, о лечебных средствах, о ватер-клозетах новейших систем, о гувернантках и учителях и о чем только еще!

Наивный юмор, колонки биржевых известий, телеграфные сообщения, фельетоны и, наконец, передовые, которые когда-то отец учил нас читать в газете прежде всего.

Я иду в библиотеку в ожидании наслаждения, и ожидание это никогда меня не обманывает. Деловая тишина читального зала, которую ничуть не нарушают шаги читателей и шелест страниц; зеленые висячие лампы, загорающиеся над столами Ленинской библиотеки и погружающие во тьму высоченный потолок и бюсты великих людей, а каких — не могу запомнить; и скрипучие хоры; а людей все меньше, столы все свободнее, и все тише, тише в зале. Я не променяла бы эти вечерние библиотечные часы на многие развлечения. А постоянные посетители библиотеки? Годами видишь здесь странную рыжеватую худую девушку со старомодной прической, в неизменном свитере и брюках, в больших очках, грустно и одиноко сидящую за столом так, как будто она здесь живет, ночует; и решительный полный брюнет в капитанском кителе, ведущий какие-то рискованные споры в курилке. Я радуюсь, когда вижу их, — словно подтверждение того, что в жизни есть нечто неизменное. А в те далекие годы я посещала общий зал: через маленький круглый дворик — в дом Пашкова. Красивая мраморная лестница, барельеф, изображающий Румянцева, огромный общий зал с теснотой длинных нешироких столов и высокими хорами, где располагались научные читальные залы. Сколько прекрасных книг впервые легли передо мною на этих столах!

Вернуться к этим вовсе не всем понятным восторгам — какое то было бы счастье! Летом 1948 года я подала документы в аспирантуру Института истории АН СССР. Он помещался тогда на Волхонке, и большинство вступительных экзаменов проходило в огромном актовом зале, на сцене. Только один экзамен по специальности — Новой истории — был устроен в директорском кабинете, его принимал И.М. Майский. Все экзамены я сдала на отлично, и Альберт Захарович был наивно уверен, что в этом академическом заведении ко мне отнесутся не так, как год назад в МОПИ. Сдав экзамены, я уехала в Западную Двину ждать решения и чуть ли не собирала уже вещи для возвращения в Москву. Дело, однако, затягивалось. Прошли осенние месяцы, ничего нового, наступила зима. Я приехала в Москву во время школьных каникул. А.З. по телефону сказал мне, что в Институте дело как будто прошло благополучно, но Отделение исторических наук задерживает утверждение.

Никогда не забуду своего свидания с академиком А.И. Удальцовым, занимавшим какой-то высший ответственный пост в Отделении. Е.И. Кондрашова, зав. аспирантурой, сочувствовавшая и покровительствовавшая мне, велела прийти к определенному часу и, не предупредив академика, выбрала подходящий момент и почти толкнула меня в обширный кабинет, где тот пребывал в ожидании какого-то заседания. Он был ошеломлен моим внезапным появлением. Он просто вытаращил глаза и отступил за письменный стол, когда я представилась и попросила объяснения столь долгой задержки в решении моего дела. Затем пришел в себя, оправился, вышел из-за стола, предложил сесть, сам сел напротив меня и с академической любезностью объяснил, что ко мне самой Отделение не может иметь никаких претензий. «Экзамены вы сдали прекрасно, тут все в абсолютном порядке. Но вот, — он запнулся, не зная, как выразить то неприятное, что приходилось сказать, — поймите меня правильно, к вам нет никаких претензий, но вот ваша семья... я надеюсь, вы меня понимаете, ваша семья — это другое дело». Отделение исторических наук не утвердило меня в аспирантуре, и я забрала свои документы.

В следующем, 1949 году с тупым упорством я снова пришла в Институт истории, однако до подачи документов дело не дошло. Б.Ф. Поршнев, заведовавший сектором Новой истории, объяснил мне, что это совершенно бесполезно. Но я все еще не сдавалась. Я написала письмо в Калининский педагогический институт, и оттуда мне ответили, что в нынешнем, 1949 году приема в аспирантуру по историческому факультету нет, но идет прием документов по кафедре философии. И я подала документы. Снова экзамены и снова все пятерки. Заведующий кафедрой, прочитав мой реферат, заинтересовался, вызвал меня, побеседовал, хотел взять к себе, и документы отправили на утверждение в Министерство просвещения.

Прошло два месяца. Я шла на урок, и по пути мне передали письмо со штампом Министерства. Отлично помню этот день и эту минуту. Я ликовала и уже представляла себе, как я подаю здесь, в школе, заявление об уходе, какие при этом придется преодолеть трудности — ведь разгар учебного года, не станут отпускать. Пусть не Москва, но все-таки это победа! Да ведь Калинин — это совсем рядом с Москвой. На уроке, воспользовавшись тем, что слушала ответ ученика, я вскрыла конверт. Министерство просвещения коротко сообщало, что не сочло возможным утвердить мою кандидатуру в качестве аспирантки

Калининского пединститута. Не помню, как я довела до конца урок. Вышла из класса, моя приятельница, учительница математики, остановила меня в коридоре и стала рассказывать, что муж купил ей модные «румынки» — ботинки с меховой опушкой. Она удивилась, что я не отвечаю. А у меня в голове было только одно — скорее из школы! Прибжав домой и прочитав маме письмо, я не выдержала и принялась неудержимо плакать, так что самой было стыдно, а остановиться не могла.

Но это было всё. С меня довольно, решила я и забросила все свои мечты. Я прервала переписку с Манфредом, изо всех сил постаралась выбросить из головы все, что было связано с этими унижительными попытками, и смирилась с мыслью, что моя судьба — работать учительницей и жить в Западной Двине, где мне не так уж плохо.

Прошрое еще раз грубо напомнило мне о себе совсем по-другому. Во второй или третий год моей жизни в Западной (так сокращенно называли ее местные жители) у меня завелся роман. Героем его был наш учитель физкультуры, молодой человек моего возраста, красивый и милый. Почти каждый вечер он приходил ко мне в нашу крошечную комнатку за дощатой перегородкой, приносил какую-то еду из своего огорода — огурцы, помидоры, яблоки (он был местный житель и жил с отцом и матерью в собственном доме). Мы ходили в кино, вечерами долго гуляли по пустынным улочкам. Он очень нравился мне, у меня и сейчас сохранилась его фотография с надписью: «Как всегда — без слов, но от души». Умер его отец, и мое горячее сочувствие еще больше сблизило нас. Я побывала в гостях у него дома и познакомилась с его матерью. А летом он попросил меня приехать в Калинин, где жила его любимая сестра. В Москве он познакомился с моей мамой (она несколько месяцев жила там нелегально). Когда вернулись, решили пожениться и уже уговаривались о том, как на школьной лошади перевезти к нему мое нехитрое имущество. В последний момент, однако, когда я представила себе, как Западная Двина будет наблюдать этот мой переезд, я заколебалась и решила отложить. Он не обиделся, и все продолжалось по-прежнему. Но в один прекрасный день он не пришел, не пришел и на следующий день тоже. И не пришел больше никогда. Не выдержав муки, я подошла к нему в школе и спросила, в чем дело. Он смутился, но, видно, давно уже подготовившись к разговору, ответил что-то ничего не значащее: «Некогда, дома много дел». «Но ничего не изменилось?» «Да что ты! Завтра я буду у тебя». Но и завтрашний день прошел

без него. Это было так мучительно! Мама не знала, что со мной делать, и боялась за мое здоровье. Не только разрыв был мучителен, но и полное непонимание причин.

Прошел, наверное, месяц. Однажды вечером к нам постучалась его сестра, приехавшая из Калинина. Узнав, что Володя, ничего не объяснив, порвал со мной, она решила прийти и, может быть, облегчить мое горе. Она просто и решительно объяснила, что случилось. Оказывается, Володе предложили поступить в школу НКВД. Непременным условием был, однако, разрыв со мной. Он долго колебался, но все-таки решился оставить меня. Сестра осуждала его и жалела меня, уговаривала отнестись к его решению с презрением и холодностью. Она очень облегчила мои муки, теперь я хотя бы знала, в чем дело. Однако долго не удавалось мне преодолеть мучительные сожаления, да и просто обманутое чувство долго еще говорило о себе.

Я плохо чувствовала себя физически, и мама устроила мне в Москве консультацию у какой-то известной врачихи. Бедная мама боялась, как бы не открылся у меня туберкулез, которым когда-то страдал папа. Все оказалось в полном порядке, однако, сердобольная врачиха долго беседовала со мной, утешала, сочувствовала; советовала забыть об аспирантуре, вообще не напоминать о себе, а жить потихоньку и незаметно там, в глуши, в Западной Двине...

Западная Двина

Что же такое Западная Двина? Это большая красивая река, впадающая в Балтийское море в Риге. А еще это крошечное местечко в верховьях этой реки, в краю лесов и озер, близ Великих Лук и близ Белоруссии, и отзвуки белорусской речи слышатся в говоре людей этого Богом забытого края. Прекрасные сыроватые смешанные леса, мягко спускающиеся к извилистой, еще неширокой в этих местах реке; на низкой левой стороне — луга; кустарники, на правом — высокие-высокие склоны; на них то краснеющая на вечернем закате роща высоких старых сосен, то роскошный грибной и ягодный, блещущий зеленою лиственный лес, а за поворотом реки открывается новый чудесной красоты вид — высокая рожь на горе, или целые поля голубеющего льна, или тихая болотистая низина с островками сухой земли меж деревьев и небольшими светлыми песчаными пляжами. Светлый березняк, молодые осинового рошцы, нежные и обнаженные весной, когда к вечеру холодает, вот-вот взойдет луна, и мы с со-

бакой стоим у деревьев, в тонкой тишине ловим звуки летящих вальдшнепов. Я держу руку на шее нашей черно-белой Джильды, глажу длинные шелковые уши, удерживаю ее, готовую ринуться в чашу. Ждем выстрела, и вот он раздается, и Джильда стремительно с шумом скрывается в сыроватом к ночи кустарнике и долго ищет там добычу и несет осторожно длинноклювую жалобную птицу.

Однажды осенью мы с Орестом около лесного ручья зарыли в землю бутылку вина — это был шато-икем, а весной, когда в первый раз пришли сюда на тягу вальдшнепов, достали ее и выпили вдвоем, и вдруг из лесу показался еще один охотник, это был отец Ореста, случайно пришедший сюда же, и мы огорчились, что тайна наша была им невольно раскрыта. А в другой раз, синим, нежным, весенним вечером, возвращаясь из лесу домой, мы увидели совсем близко от дороги двух лосей. Они были как изваяния: один положил голову на шею другого, и так замерли — будто специально для нас. И ни мы, ни Джильда почему-то их не спугнули. Но это я забегаю вперед, вспоминая уже середину 50-х годов, счастливую пору начала моей семейной жизни.

Все эти дивные места простирались вокруг города Западная Двина. Много лет подряд я возвращалась сюда из поездок в Москву ночными поездами. Все уже спят, а я встаю, собираю вещи, сажусь у окна и гляжу в темноту. Едем, едем, стучат колеса; еще не электровоз, а паровоз везет нас и иногда гудит. Вот гудок, и мы въезжаем на мост через реку. Пролетели и снова ныряем в темноту. Но вот и город. Слева россыпь редких огонечков, но их много, это главная часть города, растянувшаяся далеко. Справа близкие огни лесокомбината, его двухэтажных зданий. Нигде я не испытывала такой радости возвращения домой, нигде! Почему же? Значит, я была счастлива здесь? Да, кажется, счастливее, чем где бы то ни было. Может быть, это и был краткий миг счастья моей жизни, проблеск полной, светлой радости? Только очень коротким он был, этот проблеск...

Но все это было позже, не только радость, но и россыпь огонечков за окном вагона. А в 1947 году город лежал в темноте, робко нарушаемой светом тусклых керосиновых ламп, тусклых, как ни начищай стекла. Западная Двина именовалась городом только потому, что число ее жителей соответствовало каким-то нормам. Это был районный центр большого сельскохозяйственного района, типичного для Нечерноземья — лен, гибнущий в посевах осенью, не вырытый картофель, чахлые зерновые, худые грязные коровы, маленькие бедные деревни. «Россия, нищая

Россия, мне избы серые твои...» Избы действительно по большей части были серыми.

В городе жили районные начальники различных рангов и многочисленные чиновники. Здесь был райком партии, райисполком, горисполком, суд, прокуратура, ЗАГС, заготзерно, райтоп — очень нужное учреждение, откуда по заявке нам привозили дрова, торговые организации, столовые и т.д. За железнодорожными путями (Западная Двина была крупным железнодорожным узлом и здесь останавливались решительно все поезда) — небольшой лесокомбинат, превратившийся потом в комбинат стандартного домостроения.

Немощные улицы прямые и очень грязные. По сторонам их, вдоль домов, хорошо знакомые жителям всех российских районных городков деревянные тротуары. Свеженькие, они вкусно пахли и радовали глаз желтовато-розовыми красками. Но под ногами пешеходов, под дождями и ветрами они темнели, становились серыми, тонкими и угрожающе прогибались под неосторожной и непривычной ногой. А человек привычный знал их как свои пять пальцев — где наступит свободно, где обойдет или перепрыгнет. Летом в глубоких канавах под ними стояла вода; в одной из них, совсем рядом с домом, однажды чуть не утонула моя пятилетняя дочка, упав туда вместе с велосипедом. Соседка принесла ее с головы до ног черную, именно черную от грязи. А на привокзальной улице канавы вдоль дороги летом испускали сильное зловоние, хотя и обросли закрывающими их густыми кустами.

Маленькие дома — деревенские, с наличниками и опрятными занавесочками на маленьких окошках, двухэтажные — нечто вроде бараков, с отдельными и коммунальными квартирами. Удобств, конечно, никаких и нигде. Две школы — средняя и семилетняя, несколько магазинов. Книжный магазин, где в 50-х годах можно было без труда подписаться на любое издание, чем я широко пользовалась; столовые — «грязная» и «чистая», именуемая еще рестораном; на углу около ресторана доска с афишей кино, место встреч здешних пьяниц, а кино далеко, в клубе лесокомбината. Станция оживленная, множество путей, заполненных составами, громко звучат голоса диспетчеров и дежурных, не всегда выражающихся достаточно сдержанно, а за переходом через линии железной дороги — высокие мостки на сваях, ведущие к клубу, куда раз-два в неделю можно пойти в кино или на танцы.

Что это такое? Провинция? Но в провинции свои традиции,

своя культура, своя давняя интеллигенция. Деревня? Не было тут деревенского приволья, свободы, как выйдешь за порог, не было и деревенского полуголодного быта. Рабочий поселок? Но жители вовсе не были связаны общим трудом. Странное какое-то полупаразитическое поселение. Продовольственные магазины пусты, но у каждого западнодвинского жителя есть огород, и еще он в поле выращивает картошку на всю зиму. Раз в неделю — базар. Продают продолговатые колобки сливочного масла по фунту, обернутые в капустные листья; мясо продавец отрубает на глазах у покупателя, яйца, овощи, картошка мешками или «мерами» (пудами). У коновязи лошади, ожидающие хозяев, закупающих в промтоварных магазинах все, что нужно везти домой, в деревню. На базар ходили нарядные, там и общение, и знакомство, и кружку свежего пива можно пропустить. Иногда летом на базаре продавали то, что местным жителям было неизвестно, — цветную капусту, например, цена бросовая. Окружающие с безгловым недоумением смотрят на меня, когда я забираю несколько кудрявых кочанчиков. Другое место общения — баня, крошечная, тесная, куда мы отправляемся еженедельно и где иногда нужно долго стоять в очереди, чтобы пройти в тесную дымную мыльную. А потом, зимой, тепло закутавшись, мчаться домой к горячему чаю.

Впечатлений очень, очень мало. Телевидения не было, радио далеко не в каждом доме, электричества нет. В школе по вечерам техничка тетя Маруся заправляет керосиновые лампы для вечерников. На верстаке в передней стояло штук десять больших и маленьких ламп с ослепительно вычищенными стеклами; они пахли только что залитым в них керосином. Взрослые ученики разбирали их перед началом уроков, несли в классы. Войдешь в класс — задние ряды тонут в темноте, светло только около учительского стола.

Школа

Самое главное в четырнадцати годах моей западнодвинской жизни — работа в школе. Первая робость прошла очень быстро, я поняла, что знаю достаточно и могу работать отлично. Конечно, я не была учительницей нынешнего склада, да и уроки тогда велись совсем не так, как их принято давать сегодня. И я, наверное, была не самой лучшей учительницей, ибо между

мной и учениками всегда существовала довольно солидная дистанция. Не то, чтобы я старалась ее установить, но она устанавливалась сама собой, и особой доверительности у меня с учениками не было. Но давать уроки — в этом я была мастером и любила это. В частности, рассказывать так, что все раскрывали рты и в классе устанавливалась ничем не нарушаемая тишина, наполненная флюидами интереса и увлеченности. Не помню, чтобы у меня когда-нибудь были проблемы с дисциплиной, непослушанием; попадались, впрочем, и препротивные ребята. Справиться, однако, можно было всегда.

Ученики были самые разные. Великовозрастные военные мальчишки сменились обыкновенными ребятами послевоенных лет. Многие были из деревни: средняя школа была здесь только в Западной Двине, восьмиклассники снимали комнаты на паях друг с другом и каждое воскресенье отправлялись домой за продуктами. Западнодвинские ребята отнюдь не всегда отличались от них в лучшую сторону. Конечно, они были более цивилизованными, просто лучше одетыми, многие более начитанными. Но деревенские, во всяком случае многие из них, так жадно хватали все, что им давали в школе, с таким интересом смотрели вокруг и слушали, слушали...

Я очень любила пятые классы. И программа здесь была интересная — история древнего мира, и ребята были такие милые, им все было так бесконечно интересно, они так старались, так любили учителей и такие еще были все чистенькие, новенькие, скромные и вместе честолюбивые. В старших классах совсем иное дело. Лениво-безразличные, они с сомнением встречают каждое слово и лишь постепенно, сначала снисходительно, потом заинтересованно начинают слушать, и нелегко вызвать огонек интереса в их глазах. Они так любят задавать вопросы, надеясь сразить ими молодую учительницу; однако спасовать мне не случилось ни разу. Помню, однажды в классе, где я была классной руководительницей, — 8-м или 9-м я объявила, что проведу урок вопросов и ответов. Какие только вопросы они ни выкопали! И я ответила на все! Правда, какое-то ограничение все-таки было — не задавать вопросы по другим предметам, а только по истории, литературе и общие. Иногда я устраивала уроки с патефоном. Патефон в школе был, пластинки добывали сообща, я рассказывала о музыке, о композиторах, о певцах, пыталась даже толковать музыкальные произведения, как могла, — все это вызывало неизменный интерес и просьбы повторить. Мне не чужд

был интерес к методическим делам, и один раз, поощряемая методисткой из Великолукского института усовершенствования учителей, я даже написала брошюру о работе по развитию речи на уроках истории, она до сих пор у меня хранится. Учащиеся очень даже нуждались в развитии речи, в Западной Двине она была весьма колоритная, но и неправильная.

А классной руководительницей я была плохой. Воспитательные мероприятия были для меня просто пыткой, и часто я избегала их обманным путем. Вообще внеурочное общение с учениками не было у меня особенно успешным, хотя отношения всегда были хорошими. Попадались иногда классы, где были близкие моему сердцу ребята, с ними было интересно и приятно. Случалось, однако, всякое. Однажды в девятом или десятом классе — моем — завязалась дружба между очень хорошей девочкой (и хорошей ученицей) и довольно-таки симпатичным мальчиком, но неподдающимся, упрямым, слывшим порядочным озорником, однако милым мне искренностью и какой-то добротной основой. Дружба, видела я, крепла; ни он, ни она не скрывали своих чувств, и это вызывало у окружающих уважение. И девочка — назову ее Катей, — спокойная и твердая, вызывала уважение одноклассников. В один прекрасный день Катя попросила меня задержаться после уроков, чтобы поговорить с ней. Остались вдвоем в классе. «Светлана Валериановна, — говорит Катя довольно спокойно, — не знаю даже, как вам сказать, но по-моему я беременна». Гром среди ясного неба! В моей голове вихрь мыслей — что будет, как отнесутся ребята, начальство? Что будет с девочкой, но самое главное — что будет с ее матерью и что мать сделает с ней? Она была у нас учительницей младших классов — замкнутая, недобрая. Катю пугать не хочу, ее нужно поддержать, как только возможно. «Катя, — осторожно спрашиваю я, — но ты уверена? Почему ты так думаешь?» — «Он уже шевелится». Час от часу не легче. Впрочем, Катина фигура — она высокая и еще совсем по-девчоночьи нескладная, худая — никак не изменилась. «Слушай, — продолжаю я, но ты знаешь, каков единственно верный признак беременности?» — «Не знаю». С облегчением узнаю, что признака этого нет. Приступаю к самому трудному. «Катя, — говорю я, стараясь быть максимально осторожной, — мне не хочется к тебе приставать, в душу лезть, но дело серьезное, и я у тебя все-таки спрошу: было между вами то, отчего ты действительно могла забеременеть?» Подумав, Катя спокойно отвечает: «Да, было. Мы целовались». Боже мой, гора

с плеч, я почувствовала, что у корней волос у меня выступил пот. И, кроме того, меня разбирает неприличный смех. «Катя, — говорю я, с трудом удерживая его, — неужели ты не знаешь, что от поцелуев забеременеть нельзя?» — «Да? А как же?» — растерянno говорит она.

Катя и ее друг Эдик поженились после окончания школы. Катя кончила институт, и они куда-то уехали. Эдик заходил ко мне, когда я уже вернулась в Москву. И вот опять то же самое. Не успела я написать об этом смешном и трогательном эпизоде, не успела воскресить в памяти длинную Катю с белокурыми негустыми косичками, уложенными на затылке, с ее спокойными серыми глазами, в коротковатом для нее школьном коричневом платье, и красивого Эдика, вопреки всем школьным правилам являвшегося в школу в белой в полоску рубашке, их угловой класс на втором этаже, окнами на две стороны, где мы беседовали с Катей, и вот на другой день — да, да, на другой день! — мне передают привет от Кати. Она живет недалеко от Риги, инженер на радиозаводе, их с Эдиком сын уже женат, такой уже взрослый. А с Эдиком они разошлись, и я жалею об этом: что-то в их союзе было правильное и настоящее.

Особое дело вечерняя школа. Здесь свой интерес — взрослые люди. Это было совсем не то, что лет двадцать спустя, когда шли в вечернюю школу, заранее зная, что аттестат обеспечен. В вечерней школе учились по преимуществу люди серьезные, желавшие учиться и учившиеся не на шутку. Их было мало, иногда на уроке три-четыре ученика, а иногда и вовсе один. В глубине класса темно, натоплена печь, ученик мой сидит передо мной на первой парте. Ну какой тут урок! Говорим по душам, иногда долго, питая друг к другу искренний взаимный интерес. Потом отнесем лампу тете Марусе и по домам; если мужчина, обязательно проводит до дому. Я любила в вечерней школе даже окна между уроками. В учительской стояло пианино, и я, вспоминая свои детские занятия, играла с большим удовольствием. Из Москвы привозила ноты. Сознавала, конечно, что игра моя самого низкого качества, но извлекать божественные звуки все равно было приятно. Музыка моя слабо разносилась по школе, ее иногда слышали и ученики вечерней школы, и мой муж, с которым я там познакомилась, нагло уверял, что никто не играет «Турецкий марш» Моцарта так, как я. Однажды, сдавшись на уговоры жены директора школы и еще одной учительницы, я даже согласилась заниматься музыкой с их дочками, достала «Школу игры

на фортепиано» и чему-то их действительно научила. Кончилось это неприятностью: мать одной из девочек заподозрила меня в пристрастном отношении к директорской дочке; пришлось выслушать горькие упреки.

Будущий мой муж однажды появился на задней парте в 10-м классе, в морском бушлате и черных клешах — только что демобилизованный, из Германии, красивый, темноглазый, мягкий, сын известного в Западной Двине человека — главного инженера здешнего лесного хозяйства. Я была в их классе новенькой — сменила покинувшую их молодую начинающую учительницу. На первом же уроке — каверзные вопросы, любимое развлечение взрослых учеников. Но я работала уже четыре года и давно привыкла к этому нехитрому способу прощупывания, нисколько этих вопросов не боялась.

Но я забегаю вперед — в 1951 год. В 1949 или 1950 году мне дали, наконец, комнату в принадлежащем школе, кое-как отремонтированном, большом деревенского типа доме. Из холодных сеней — вход в большую, темную общую кухню, которой никто не пользовался и где не было света, кроме того, что пробивался сквозь маленькое слепое окошко. Посредине никогда не топившаяся, страшная, обшарпанная русская печь. Из этой кухни, набитой барахлом жильцов, — вход в четыре комнаты, населенные четверьмя учительницами, а снаружи — вход еще в две отдельные квартиры. Моя комната была самой маленькой — метров семь-восемь. Счастливые тем, что у нас наконец-то есть свое жилье, мы с мамой въехали туда тотчас же. Это был наш первый самостоятельный дом после той памятной рыковской квартиры в доме на Набережной, которую мы покинули больше десяти лет назад, где остались все наши вещи — нужные и ненужные, но наши, родные. Судя по тому, что дошло до меня от тех времен, — сатиновое ватное одеяло да нож из нержавеющей стали, ничего особенно ценного, кроме, конечно, книг, там не было, но все-таки мы с мамой оказались без ничего, ни кола, ни двора, все надо было начинать сызнова. После этой первой комнатухи мы сменили в Западной Двине еще четыре места жительства, а последние лет шесть жили в более или менее удобной отдельной двухкомнатной квартире, полученной Орестом в поселке лесокомбината, далеко от школы, за железнодорожной линией.

Радости западнодвинской жизни

Теперь, в московской квартире, где из крана в стене течет горячая вода, я иногда думаю: как это мы жили в Западной Двине? И так долго, четырнадцать лет! Без физического и душевного надрыва я носила воду на второй этаж издалека, от колонки, иногда по два ведра и не один раз в день; стирала на стиральной доске в корыте, а полоскать белье ходила далеко на речку, потому что это было все же легче, чем таскать ведра; топила печку, мыла полы. А трудности с мытьем — баня только раз в неделю. А к уборной надо было идти через большой двор; грязноватая, обледенелая зимой, даже она не вызывала особенно отрицательных эмоций. Может быть, я забыла свои страдания по этому поводу? Нет, я не страдала и даже любила простоту и уют нашего быта. Правда, то, о чем я сейчас напишу, относится уже к после-реабилитационному времени, когда, получив компенсационные деньги, мы сумели несколько обустроиться.

Вот Орест принес из сарая большую охапку дров, затопили печку. Загудело, дрова дружно охватывает огнем, я открываю дверцу, сажусь с Леночкой прямо на пол против огня и без конца гляжу в него, бездумно и с наслаждением. За окном — белая-белая зима, какой никогда не бывает в Москве, зимняя белая тишина, снег так скрипит под ногами, как никогда не скрипит он в большом городе. В доме тепло, традиционный большой оранжевый абажур бросает круг теплого света на стол. В углу шкаф с любимыми книгами, диван, над которым висит ружье Ореста. За прозрачными занавесками синий вечер, белые деревья. Чуть слышны гудки железной дороги. Не хочется вставать. Укладываю Леночку спать, читаю ей на ночь; она быстро засыпает, из-под одеяла торчит ее маленькая пятка, похожая на луковку. Готовлюсь к завтрашним урокам, читаю и — в бездну спокойного ровного сна.

Конечно, мы не шли в сравнение с коренными жителями тамошних мест. Нам выделили огородный участок рядом с домом, за дровяными сараями. У прежних хозяев он был в идеальном порядке, и все там росло прекрасно. У нас не произрастало ничего, только один раз отлично уродились кабачки. Гладкие, желтовато-зеленые, они горой лежали в углу кухни, и я решительно не знала, что делать с такой массой. Однажды посадили в поле картошку — она не выросла совсем. У других в сарае сложены аккуратные поленицы дров, запасенные на несколько лет вперед. В нашем

сарая беспорядочная свалка привезенных из лесокомбината тоненьких реек, которые Орест иногда рубил в тот день, когда запас готовых истощался и топить было уже нечем.

Фотографии, фотографии... Вот мы с Орестом, его отец снял нас в самые первые дни нашей семейной жизни. Еще ничего не знаем обо всем печальном и нелепом, что ждет нас на путях этой жизни. Оба смотрим вдаль, как будто бы в наше будущее. Мои глаза пытаются там что-то разглядеть, Орест нежно склонил ко мне голову, в его глазах и губах — грустная мягкая улыбка, в ней отражена полнота чувства, которая ведь часто выражается тихо, тихой, непечальной грустью. А вот он, молодой и очень худой, стоит со своими охотничьими трофеями, за плечами ружье. Орест — страстный охотник, и это составляло серьезную часть его очарования. А еще он, никогда не учась, хорошо играл на аккордеоне и гитаре. Он привез из Германии себе и отцу прекрасные аккордеоны, и они, склонив голову к инструментам, с большим чувством играли дуэтом «Не искушай меня без нужды», и глаза моего мужа увлажнялись.

В первую же весну нашей жизни Орест взял меня с собой в лес, на руках перенес через разлившийся ручей, и мы ушли далеко и вдруг увидели зайца меж голых еще стволов. Он, не раздумывая, вскинул ружье, выстрелил и убил зайца. Но что с ним случилось! Он почему-то заткнул уши и повалился на землю. Была весна, зайцев бить было нельзя, Орест выстрелил только для того, чтобы покрасоваться передо мной. Встал, а подойти не сразу решился и твердил, что если это окажется зайчиха, ожидающая потомства, — тогда конец. К счастью, это был самец, мы его не взяли, закопали, и Орест попросил меня ничего не говорить отцу о его провинности. А в другой раз, глубокой осенью, накануне октябрьских праздников, убив утку, упавшую в озеро далеко от берега, он разделся донага и кинулся в воду, чтобы ее достать, и вернулся весь синий, и мы тут же разожгли костер и долго грелись у огня. В охотничьем походе ничего не нужно говорить, все понимаешь с полуслова. Осень, уже холодно, тишина золотого вечернего леса, красноватая гладь реки под уходящим вечерним солнцем, и вот летят утки — одна, две, три, крикают; выстрел, не нарушающий, а подчеркивающий тишину.

Мы завели собаку. Орест ездил покупать ее на соседнюю станцию к леснику. Щенок продавался как английский сеттер, но оказался не чистопородным. Но я не видела собаки более

милой, чем наша Джильда (как только ни называли ее западнoдвинцы, охотники, Орестовы приятели — Жильба, Жулька, чаще всего — Жильда). Черные уши, быть может, недостаточно длинные, умильная морда с ласковым выражением (ласкаясь, она улыбалась во весь рот, обнажая розовые с черным десны), быть может, недостаточно слюнявая. Шелковая белая шерсть с черными крапинами, быть может, чересчур крупными. Вот мы с ней на фотографии в поле цветущих ромашек. В то лето я ждала ребенка; счастливая, сижу в этих ромашках, смеюсь, прижимаю к себе совсем еще маленькую Джильду. Орест не сумел ее натаскать по-настоящему, всегда об этом было больше разговоров, чем дела. Но охотницей она была тем не менее великолепной, отважно бросалась в воду и преданно несла добычу, деловито хрустела ветками в чаще до тех пор, пока не найдет там птицу. Одного только она не умела — того, что генетически заложено в чистокровном сеттере, — не делала стойки, не замирала в нужный момент, дожидаясь команды хозяина.

Бедная Джильда! Орест любил ее, но не жалел. Однажды, отправившись в дальнюю деревню на мотоцикле, он ехал на полной скорости километров 20, а собака бежала за ним, почти не отставая. Но добежав, она еле вошла в избу и почти сутки не вставала с места, не смотрела на хозяина и не пошла за ним, когда он позвал ее в обратный путь. Джильда умерла в Москве, двенадцати лет. Она была уже очень больна, и врач отказывался ее лечить, говоря, что у нее все внутри поражено раком. Последние дни бедная собака не могла лежать и спала сидя, тяжело, громко дыша; иногда сон смаривал ее, она валилась на пол и с тихим визгом тут же поднималась и выпрямляла передние лапы. Мучения ее были, по-видимому, нестерпимы, и я сама отвезла ее в лечебницу. Джильда спокойно подставила морду санитарке, платком завязавшей ей пасть, и пошла за ней медленным тихим шагом, так что, мне казалось, она понимает, куда и зачем ее ведут.

Летом мы ходили в дальние, дальние прогулки. Фотографии: вот я сижу на корме старой лодки, в руках — кувшинки, на гладко причесанных волосах белый платочек, и такое спокойное, умиротворенное лицо. Это мы на далеком Фофановском озере — огромном, пустынном и тихом, с островами и заводями; а вот я с удочкой на берегу реки; вот мы с Леночкой лет четырех, она у меня на плечах, а рядом мой бывший ученик Валерка Пестун — весело шагаем берегом реки по цветущему летнему лугу, о чем-то болтаем, смеемся.

До рождения дочки в 1953 году я непременно два-три раза в

год ездила в Москву — на зимние каникулы и летом в отпуск, а иногда еще и весной. Ольга Павловна принимала меня в Москве как родную в любое время года, дня и ночи. А как много значили для меня эти поездки! Жизнь здесь, в Москве, шла совсем в другом измерении — другие люди, другие отношения, другие темпы, другие занятия, впечатления и разговоры. Ленинская библиотека, где я набрасывалась на толстые журналы. Листала, читала, знала все, что печаталось. В Москве новые встречи, знакомства, дружбы.

Мой милый дядя Борис

В Западную Двину к нам часто приезжали гости из Москвы. Бывал Рем, приезжала Ольга Павловна, бывало, что месяц-полтора проводила у нас моя тетка Женя. Но самым интересным и приятным были ежегодные осенние приезды маминого брата, моего любимого дяди Бориса Михайловича Смирнова.

Мне постоянно снятся старые московские квартиры. Вернее, снится некая большая коммунальная квартира, разные ее варианты. Я узнаю ее вечные черты и черты тех квартир, которые я знала. Просторные, с разнообразными, большими и маленькими комнатами, с далекой большой кухней и уборной, осаждаемой многочисленными жильцами, упрекающими друг друга в том, что свет не гасят в местах общего пользования, ночные горшки опорожняют в кухонные раковины, не моют ванну, стирают над ней носки и т.д. и т.п. Во сне я постоянно бываю в арбатской квартире маминого брата, моего дяди Бориса. Я иду по извилистому коридору, встречая незнакомых людей. Целая семья собирается к обеду в кухне, завешанной сохнувшим бельем, заставленной многочисленными столами разной степени чистоты и порядка. А вот кто-то идет по коридору, удаляясь от меня, и я сначала не узнаю его — это высокий, статный, но очень уже старый седой мужчина в нижней рубашке, в подтяжках, с полотенцем через плечо; в руке мягкая старая коробка с зубным порошком. Я соображаю во сне, что он идет в просторную ванную комнату с устрашающей ванной, испещренной огромными черными пятнами — то ли эмаль совсем слезла, то ли еще что... А человек этот — мой любимый дядя, мой любимый покойный друг.

Борис Михайлович был сводным братом моей матери. Особенно дружна она с ним не была, только в последние годы ее

жизни он часто бывал у нас, а когда мама умерла, говорил мне, что ему все больше не хватает сестры. Он был очень красивый, с крупными чертами, большими серыми глазами навывкате, мягкие очертания рта, седые усы и маленькая холеная борода, низкий громкий голос с красивыми перекатами, и при всем этом — никакого любования собой.

До революции он был преуспевающим адвокатом. Большая квартира из моего сна, располагавшаяся на Арбате, в доме рядом с зоомагазином, принадлежала ему целиком, здесь же была и его контора. Революцию он внутренне не принял никогда, пытался, однако, приспособиться. Во времена НЭПа, поверив обещаниям, занялся строительством домов, но конец НЭПа положил конец и этой его деятельности, его арестовали и отправили в Соловки. Как и мама, он не любил рассказывать о тех годах, но из того немногого, что я от него слышала, я поняла, что он очень скоро был выведен на поселение, а через несколько лет вернулся и в Москву, в свою давно уплотненную квартиру, где оставались жена и сын. Помог ли ему мой отец, не любивший его как противника Советской власти, не знаю, но думаю, что помог. Мама посылала ему деньги. У нас он не бывал, никогда не бывали у него и мы. Только однажды, мне кажется, я его видела в детстве — помню, в здании Кремлевской комендатуры (вероятно, его не пускали в Кремль) он заставляет меня примерить привезенные с севера красивые оленьи сапожки, называет стрекозой, целует мягкими губами из-под усов.

Когда наших арестовали, он, конечно, не появился, да никто его и не ждал. Но он давал бабушке Екатерине Нарциссовне деньги, которые та посылала маме в лагерь. А иногда перепадало и нам в детдом. Я узнала об этом через двадцать лет из сохранившегося у мамы письма Екатерины Нарциссовны. Я не вспомнила о нем во время войны, когда приехала в Москву и жила у Оболенских. А он всю войну прожил в Москве, общался с одной из моих оболенских теток — Евгенией, но мною, похоже, не интересовался совсем. Только в начале 50-х годов, когда я уже несколько лет жила в Западной Двине, вышла замуж и ждала ребенка, я впервые побывала у него дома. Дядя Боря был страстным охотником, и Орест, работавший помощником лесничего и сам охотник, представлялся ему почти хозяином тамошнего охотничьего Эльдорадо.

Комната, где жил Борис Михайлович со своей второй женой Лидией Ивановной, производила на посетителей поистине ошеломляющее впечатление. Огромная, метров 35, не меньше,

не ремонтировавшаяся, вероятно, с 20-х годов, она являла собой настоящую берлогу. По оштукатуренным, грязным, неопределенного цвета стенам и облупленному потолку с остатками лепнины тянулись провисшие темные провода, над столом — голая сильная лампочка. Двумя шкафами был выгорожен угол, где стояла кровать дяди Бори. Там — тумбочка, издающая крепкий запах лекарств. По стенам комнаты разнообразные предметы мебели — вычурная этажерка как бы из стеблей камыша, столик с мраморной крышкой, продырявленная плетеная качалка, шаткие венские стулья. На стене — прекрасная репродукция портрета Пушкина кисти Кипренского, один из считанных экземпляров, изготовленных к юбилею поэта в 1887 году. Огромный подоконник единственного большого окна, выходящего на милый Арбат, завален невероятным количеством мелкого барахла. Посередине комнаты стол, заставленный и заваленный самыми разнообразными предметами, — чистая и немытая посуда, книги, газеты, лекарства, пипетки, градусники, лупы, колоды карт, ручки, карандаши, бутылочки с клеем и чернилами, коробочки, фотографии, записные книжки и бесконечные бумажки с какими-то записями. Все они у Бориса Михайловича на строгом учете, и он не разрешает выкидывать ничего. Еще один красивый старинный письменный стол с жалкими остатками зеленого сукна на крышке, являющий собой почти такую же картину хаоса; продавленный диван, покрытый не первой свежести чехлом, на котором спит Лидия Ивановна и два роскошных пса. Это английские сеттеры, с шерстью белого цвета, с хвостами под стать павлиньим, с длинными ушами, благородными слюнявыми мордами. Величественный Гвидон, огромного роста, с рыжими ушами и крапинами на боках, и небольшая черно-белая Снежка. Когда к хозяевам звонили в дверь, оба пса вскакивали на диван и оглушительно лаяли, впрочем, исключительно для порядка, ибо были добрейшими существами. Два раза в день Л.И. брала их на поводки и выводила на прогулку. Это было зрелище! Они тянули так, что ей приходилось изо всех сил упираться ногами, еле удерживая собак как на вожжах.

Лидия Ивановна и Борис Михайлович сошлись уже пожилыми людьми, они звали друг друга по имени и отчеству и на вы. Тон их общения — непрерывные взаимные упреки, иногда веселые, иногда сердитые. Они были крепко привязаны друг к другу, хотя Л.И. не считала Б.М. настоящим своим мужем: они были не венчаны, как она была обвенчана со своим первым

мужем, их брак даже зарегистрирован не был. Но Л.И. преданно ухаживала за дядей Борей до самого конца, а умер он глубоким стариком под девяносто лет.

Старики вставали поздно, не раньше одиннадцати, пили кофе с молоком и калачами, за которыми Б.М. ездил в специально для того определенную булочную. Затем отправлялся по немногочисленным адвокатским делам, которые еще вел, а она лениво готовила обед, происходивший часов в семь вечера, читала старые исторические («а Соловьева Всеволода вы знаете?» — спрашивала она меня) и авантюрные романы (вот бы достать «графиню де Монсоро!»). А поздно вечером два раза в неделю у дяди Бори были увлекательнейшие дела. Он был страстным картежником, членом небольшой компании любителей игры в винт. Компания эта, состоявшая преимущественно из стариков (но допускались и молодые любители, если проявляли понимание, такт и любовь к этому занятию), собиралась попеременно друг у друга. Производились ритуальные приготовления: со стола все убиралось, стелилась чистая скатерть, Л.И. покупала свежие плюшки, накрывала их салфеткой и ставила их в стороне рядом с чайными чашками, чтобы в перерыве игроки могли закусить за чаем. Сама она уходила из дому. Страсти кипели, и возгласы участников винта часто не предназначались для дамских ушей. Компания расходилась не раньше часа ночи, а то и позже. На другой день спали до двенадцати.

Как я любила приходить в эту родную комнату, садиться слева от хозяина, глуховатого на правое ухо, и ждать, когда Л.И. подаст «кофей» — до этого момента Б.М. просил разговора не начинать. Зато потом слушал, не пропуская ни слова, все мои новости, огорчался, шутил, похохатывал, громко восхищался или негодовал, рассказывал анекдоты. С Орестом у них были свои отношения, главным содержанием которых была охота. Охота и привела дядю Борю в Западную Двину, где мы сошлись по-настоящему. Старики приезжали к нам каждый год осенью и оставались месяца на два. Первые годы Орест снимал для них квартиру в деревне, поближе к лесу, но потом переезды, хлопоты с едой стали им трудны, и они оставались у нас, хотя ежедневно и шел разговор о необходимости что-то предпринять.

Для Западной Двины их приезд был событием (когда утром после их появления я приходила в школу, там уже было об этом известно). Из поезда вываливалась груда чемоданов и узлов. С громким лаем выпрыгивали Гвидон со Снежкой. Старики выходили, одетые в вытертые до невозможности неопределен-

ного цвета плащи. Б.М. как истинный охотник считал своим долгом надевать сюда, куда он ехал по охотничьим делам, все самое старое и нимало не тревожился о впечатлении, производимом на окружающих, разгуливал в засаленном донельзя ватнике, застегнутом не на те пуговицы, а то и вовсе зашпиленном английскими булавками, и в старой-престарой кепке. На перроне слышалась добродушная громкая перебранка: «Лидь Иванна, да держите же вы их!» — «А вы, Борис Михалыч, не командуйте!» — «Да вот сюда идите, экая же вы бестолковая баба!» — «А вот не пойду, не так надо, а этак!»

У нас Борис Михайлович устраивался на диване, а Лидия Ивановна в кухне на сундуке, к которому мы еще что-то придвигали, удлиняя его и расширяя, потому что вместе с ней на ночь укладывались и псы. Наша Джильда несколько стушевывалась, но не теряла своего достоинства и как-то уживалась с этими аристократами, проводившими целые дни на ложе Лидии Ивановны. Утром дядя Боря долго спал, потом читал газеты, лениво рутая все на свете; Л.И. занималась домашними делами, шила (она сшила моей Леночке первые ее шубку и шапку и красивое платьице). Вдвоем отправлялись гулять с собаками, вступали в разговоры с местными жителями, многие из которых стали уже их знакомцами. Вечерами — долгие беседы за чаем.

Первые три-четыре года дядя Боря охотился вместе с Орестом, а потом и это стало трудным для него. С вожделением и завистью он наблюдал охотничьи приготовления Ореста — по вечерам тот аккуратно набивал патроны, чистил ружье. Иногда и Б.М. принимался чистить свое, хотя никогда уже не стрелял. Но охотничьи припасы зачем-то привозились каждый год. Лидия Ивановна доставала из чемодана маленький тяжелый мешочек с дробью, поднимала его на вытянутой руке и иронически провозглашала: «Смотрите все! Эта дробь очень дорого стоит!» Она имела в виду, что много лет подряд старый охотник брал ее из Москвы и нетронутую вез обратно. «Экая глупая баба, — добродушно отзывался дядя Боря, — ничего не понимает в охотничьих делах!»

В те годы среди родных не было у меня никого ближе дяди Бори. Можно было позвонить ему в Москву и пожаловаться на какую-нибудь беду, и он тотчас звал: «Приезжай, Светлашка! Вместе легче горе мыкать». И если выпадали два свободных дня подряд, я ехала к нему только для того, чтобы рассказать о своих бедах, и он слушал внимательно, серьезно, сочувственно кивая, старался развеселить, давал советы, всегда очень умные и

с любовью. Борис Михайлович умер, на несколько лет пережив маму, когда мы уже давно жили в Москве, я очень горевала о нем. Вспоминаю о нем и сейчас с любовью и грустью: нет у меня больше такого друга.

* * *

Так шли годы, дочка моя росла. Она была темноглазая, как ее отец. Бойкая, общительная, веселая, артистичная, очень приветливая. Искренней готовностью полюбить всякого человека она привлекала всех. Мне очень хотелось, чтобы в ее детской и юношеской жизни все было не так, как у меня! Не получилось, однако. В жизни нашей семьи рано возникли черные точки, с течением времени превратившиеся в пятна, и в моем сердце появились настоящие занозы. Главное — больная, несчастная мама, которой я не могла помочь, — внутренне не могла, не получалось. Вторая — возникшие и расширявшиеся трещины в жизни с мужем, превратившиеся потом в провалы.

Но все же: кончилась юность с ее непониманием, неуверенностью, специфическими комплексами; пришла молодая зрелость, когда силы есть, и их даже много. Себя оцениваешь спокойнее и разумнее, юношеские разочарования и бесплодные мечты остались уже где-то далеко. Стало спокойнее, и земля представлялась мне более твердой.

Но, Боже мой, когда наступает старость, все то понимание и вся та зрелость кажутся отчасти даже смешными, хотя и прелестными. Одному возрасту абсолютно невозможно понять другой. В молодости сознаешь, разумеется, сколь тяжела старость, но очень отвлеченно. Хотя кажется: ну что тут особенного — понять, конечно же, я это понимаю. Никогда не испытывала я предубеждения по отношению к людям старше себя и очень часто дружила с ними больше и интереснее, чем со сверстниками. Но ничего невозможно понять, покуда не почувствуешь сама. Часто ловлю себя на мысли: всегда казалось, что понимаю, а на самом деле только теперь поняла. Какие-то вещи, о которых и не думала никогда, вдруг приобретают невиданные масштабы, смыслы и формы, вырастают до размеров наиважнейших. А что-то, наоборот, сжимается, угасает, становится странно, что прежде волновало. На первый план, с одной стороны, все больше выходит духовная сторона жизни, но с другой — физическое существование становится проклятой проблемой. Всё, всё вырастает в проблему, даже каждый шаг — в буквальном смысле передвижения ног. Спускаешься зимой по лестнице без

перил — раньше бежала, с легкостью перебирая ногами ступеньки («еще моя походка мне не была смешна»), теперь с ужасом останавливаешься перед лестничным обрывом — зима, наледь и снегу намело; сейчас упадешь и под смех и любопытные взгляды покатишься вниз. Бога возблагодари, если все кончится благополучно, если сумеешь встать, если не сломаешь шейку бедра. Поток бегущих людей, готовых свалить тебя с ног, а я бреду медленно и трудно, едва передвигая ноги, которые иногда пронзает такая боль, будто они сломались. Одни проблемы упрощаются, другие катастрофически усложняются. Понять все это молодым недоступно — и это очень хорошо.

Реабилитация

Когда провалились мои попытки поступить в аспирантуру и я в очередной раз поняла, что прежнего не вернуть, я не только запретила себе мечтать о продолжении научной работы, но и постаралась всеми силами и даже с какой-то яростью подавить в себе желания и даже просто мысли о возможности раскрытия дела моей семьи. И казалось, это мне удалось.

Но вот воспоминание. В нашей квартире на втором этаже лесокombинатовского дома я стою у окна. Тут не открывались роскошные западнодвинские дали, вид был — железнодорожные пути. Я совсем одна, дома никого нет. Как очень, очень редко пронзает до самой глубины мысль о неизбежности смертного часа, так вдруг меня не мысль поразила, а охватило глубоко спрятанное, но, оказывается, все же существующее, да, тоскливо существующее чувство: неужели никогда ничего не раскроется, никогда никто ничего не узнает, неужели я всю жизнь буду видеть в окне только вот эти железнодорожные пути с сутолокой товарных вагонов, слушать беспорядочный лязг их сцеплений; неужели этот город, эта квартира, вся эта жизнь суждена мне навеки? Я тотчас же отогнала эту мысль, которая, значит, все-таки во мне жила.

Но время пришло, настали сроки. Не помню, в каком именно году это было — конечно, после марта 1953, но до 1955 года. Утром 22 апреля я достала из почтового ящика газету «Правда» и обомлела: на первой странице под портретом Ленина черным по белому было напечатано: «Неопубликованное письмо В.И. Ленина к Осинскому» !!! Я пробежала его глазами. Какая я была еще дура — решила, что это случайность и в «Правде» просто не знают, кто

такой Осинский, потому и напечатали. Часов в 11 в кабинете школьной директрисы раздался междугородний звонок. Кто-то в Москве, не зная точно, в какой школе я работаю, разыскал меня и поздравил, отводя мой жалкий лепет о случайности этого факта.

Однако от публикации этого письма до реабилитации одной только мамы прошло не меньше года. Я не могу вспомнить, подавали ли мы заявление о пересмотре ее дела, а также дел отца и Димы. В моей далекой Западной Двине бег времени чувствовался все же очень глухо, и это все еще казалось мне излишним и безнадёжным. Но когда я бывала в Москве, разговоры об этом велись. Так или иначе, поздней осенью 1955 года пришла справка из Военной коллегии Верховного суда Союза ССР о пересмотре маминого дела, об отмене постановления особого совещания при НКВД СССР от 8 октября 1938 года. Мама, вероятно, была в Москве, потому что я совершенно не помню своих да и маминых чувств при получении этой бумаги. Помню только, как я отправилась в западнодвинский Собес для оформления пенсии для нее. Секретарша, моя бывшая ученица, прочитав заявление, взяла его, чтобы доложить начальству, но сказала, презрительно скривив рот: «Я передам, конечно, но по таким делам мы пенсий не даем». Она еще ничего не знала, и наше обращение ей казалось по меньшей мере странным. Недели три спустя, опуская глаза и втайне не веря, что это может быть, что это законно, она молча вручила мне мамину пенсионную книжку. Совсем не помню, как прошла реабилитация Димы, ее осуществляла в Москве Дина.

Но вот XX съезд. Я была в Калининe на учительском совещании. Нас собрали в большом зале обкома партии и перед нами выступил первый секретарь. Зачитали тот известный, читавшийся всем доклад Хрущева. Я сидела ни жива, ни мертва. Конечно, среди собравшихся я была не одна, кто на своей шкуре испытал то, о чем говорилось теперь вслух. Но мне казалось, что только я понимаю то, о чем монотонно читает докладчик. Мне было страшно, холодно и жарко в одно и то же время. Наверное, я не могла бы сказать ни слова, зубы стучали. Тело напряглось, как будто его свела судорога, не отпускаящая во все время чтения. Слышались знакомые имена, мелькали события, факты, ужасы. Я была как в бреду и ничего не запомнила. Хотела записывать, но поняла, что не смогу. Да, оказывается, записывать и не разрешили.

Доклад кончился, я встала, вышла, рядом заговорили о чем-то другом. Пульс бился где-то в ушах, настойчиво повторяя: неужели, неужели, неужели? Неужели действительно случилось

то, о чем я запрещала себе думать, во что уже и не верила и почти что даже не хотела верить? Неужели открылось все то, о чем нельзя было вспоминать и говорить даже с близкими людьми — да старались и не вспоминать! И еще: неужели что-то изменится и лично для меня? Столько лет! Неужели конец всем подавляемым в сознании унижениям? Неужели — но это в глубине и с тайным страхом — можно и нужно будет вернуться в Москву?

Летом 1956 года в Москве по совету следователя я собрала характеристики отца у людей, знавших его. Помнится, такие характеристики были получены от Г.М. Кржижановского, Е.Д. Стасовой, И.А. Трахтенберга, от Е. Варги. Характеристики и справку передали в прокуратуру. Но дело не двигалось. Зимой 1957 года следователь, занимавшийся нашим делом, не только вежливый, но говоривший даже сердечно и откровенно, объяснил, что дело о реабилитации моего отца решено положительно, но готовится реабилитация всех участников процесса 1938 года, по которому папа проходил свидетелем. Это дело, говорил он, решается в ЦК, но независимо от общего решения Осинский будет реабилитирован безусловно.

Решение относительно отца состоялось 13 июня 1957 года. Были реабилитированы, кажется, все свидетели, а подсудимые — далеко не все. В начале июля 1957 года мы с мамой в Западной Двине получили из Военной коллегии Верховного суда СССР справку от 26 июня 1957 года. Она гласила:

Дело по обвинению Осинского-Оболенского Валериана Валериановича, работавшего до ареста — 13 октября 1937 года — директором Института истории науки и техники Академии Наук СССР, пересмотрено Военной коллегией Верховного суда СССР 13 июня 1957 года. Приговор военной коллегии от 1 сентября 1938 года в отношении Осинского-Оболенского В.В. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен и дело за отсутствием состава преступления прекращено. Осинский-Оболенский В.В. реабилитирован посмертно.

Начальник секретариата Военной коллегии Верховного суда СССР подполковник юстиции

И. Полюцкий

Вот и сегодня, когда я знаю о деле отца во много раз больше того, что сказано в этой справке, я не могу сдерживать волнения и не могу смириться с тем, что с такой грубой простотой было удостоверено этими словами: «за отсутствием состава преступления», «по вновь открывшимся обстоятельствам»... Все

было как бы случайным, всё — жестокая гибель отца и брата, мученическая судьба матери, изломанная жизнь Рема, страдания дяди Паши и его семьи, страдания всех близких, моя собственная жизнь, изломанная, искореженная столько раз и воздвигаемая вновь и вновь только благодаря неистребимой жажде жить и состояться.

Конечно, все это я понимала уже давно. Но когда я вскрыла конверт, достала бумагу и прочитала ее маме, а мама, полупарализованная и плохо владеющая своими чувствами, неудержимо зарыдала, я тоже не смогла сдержаться. Вся тщательно скрываемая от себя самой боль минувших двадцати лет, для меня парадоксально более или менее благополучных, рвалась наружу в этом плаче. Так мы сидели — мама в одной комнате, я в другой, далекие, может быть, порой даже враждебные друг другу, и плакали об одном и том же, что исковеркало и сломало и наши с ней отношения и поглотило давнюю пору, казавшуюся нам из нынешнего далека безмерно счастливой.

И еще один раз — последний, кажется, — я поддалась тому же чувству и постыдно рыдала, на этот раз на глазах у чужих людей. Справка о реабилитации служила основанием для получения денег: по месту последней работы отца должны были дать сумму его двухмесячного оклада. Я отправилась в бухгалтерию Института истории науки и техники, она помещалась в полуподвальном помещении здания Политехнического музея, совершенно спокойная, уверенная в своем праве на эти деньги и в том, что их выдадут незамедлительно и с восторгом. Главный бухгалтер, пожилой мужчина интеллигентного вида, прочитал мою справку и с неподдельным удивлением спросил, чего же, собственно, я хочу от их Института. Я протянула заявление. Он вскочил, всплеснул руками и что-то такое заговорил о наглости моих требований. Искреннее возмущение было написано на его благообразном лице. Он говорил резко, грубо, сказал, что еще выяснит все обстоятельства моего незаконного обращения и, подразумевалось, поставит меня на место. Заявление и справку взял для этого выяснения.

Я отошла от его стола и вдруг почувствовала, что не могу, просто физически не могу идти. Села в стороне на стул и в присутствии трех-четырех человек из бухгалтерии принялась плакать, захлебываясь, всхлипывая, не в силах удержаться, не в силах встать и покинуть эту мерзкую, темную, полуподвальную комнату. Какая-то женщина дала мне воды. Бухгалтер же, хотя и не терял достойного вида и, похоже, подозревал, что я

устроила театральное представление, все же был смущен. Через несколько дней в той же комнате он отсчитал мне солидную сумму денег — без единого слова и почти без единого взгляда.

И еще мы получили деньги за конфискованное имущество — сумма была невелика и, очевидно, взята с потолка, имея в виду, что у отца был собственный автомобиль и, кроме того, по описи числилось двенадцать тысяч книг. При получении этих денег я наблюдала, как немолодой мужчина сражался за компенсацию меховой шубы. Деньги мы истратили быстро и, как всегда, без особого толка.

Тогда же, летом 1957 года, меня вызвал в ЦК человек, именовавший себя партийным следователем, и объявил, что отец реабилитирован посмертно и в партийном отношении — восстановлен в рядах ВКП(б) с сохранением партийного стажа с 1907 года. Осенью в Западной Двине меня пригласил секретарь райкома партии и поздравил с этим событием. Вскоре пришла бумага из Президиума Академии наук, сообщавшая, что отец посмертно восстановлен в правах академика. Это дало маме большую пенсию, но затруднило получение ею жилплощади в Москве. Мосгорисполком спихивал это дело на Академию наук, Президиум Академии долго не хотел его решать, кивая на Мосгорисполком. Все затруднялось и тем, что реабилитация произошла поздно, когда главная струя благодетелей семьям погибших уже пролилась и иссякла.

В 1958 или 1959 году я пришла в Президиум с заявлением на имя президента АН о квартире для мамы. Его референтка, любезная немолодая дама, стала с надоевшим ей терпением разъяснять мне, что надо добиваться в Мосгорисполкоме, а здесь дело безнадежное. «Живых академиков много, — сказала она, — что уж о мертвых говорить». И я все это слушала... А бедная мама, как только получила в Москве прописку и пенсию, уже на законном основании снимала одну квартиру за другой, пока Академия все-таки не выполнила своего обязательства.

Но о маме я уже написала. Совсем немного о себе. В самые последние годы в Западной Двине у меня в семье было уже немало тяжкого, но я не хотела уезжать, хотя и понимала, что придется, что без меня мама уже не может. Все, все любили меня в этой Западной Двине. И мы с мужем, несмотря ни на что, все еще любили друг друга, а он, как человек истинно лесной, наотрез отказывался переселяться в Москву. И всему конец?!

Он все-таки наступил. Почти против моей воли, но забываясь, конечно же, о моем благе, дядя Боря начал хлопоты о моей прописке в Москве. Это был уже 1960 год, даже волна позднего

«реабилитанса» уже схлынула, и дело было почти безнадежное. И все же после долгих проволочек и многочисленных отказов в разных инстанциях, благодаря обращению к Швернику, знавшему маму по совместной работе в 20-х годах, меня прописали. Осенью 1961 года я уволилась и уехала в Москву.

Конечно, я все же могла бы не уезжать. Можно было взять маму в Западную Двину, бросить все в Москве и остаться здесь навсегда. Но во мне что-то уже сдвинулось необратимо, может быть, опять заговорил интерес к поворотам судьбы. И это заставило — пусть в величайшей тоске, но все-таки принять решение и покинуть все, с чем я срослась так прочно, что, казалось, никогда не оторвать. В моей родной Москве мне было так тоскливо и тяжело, что я чуть было не поддалась уговорам Оresta и остававшихся в Западной Двине друзей вернуться туда. Но удержалась, осталась в Москве и вот живу...

На этом я кончу свои воспоминания, ибо дальше, как говорится в романах, начинается совсем уже другая история, не завершенная, продолжающаяся и, может быть, менее интересная. Сколько я передумала и перечувствовала за то время, что писала эти страницы! И сколько всего осталось еще за рамками воспоминаний, главное — здесь нет нескольких дорогих мне людей, очень много для меня сделавших и много значивших.

Первое, что я написала, был рассказ о моей матери. Я надеялась, что это поможет мне преодолеть никогда не проходящее чувство вины перед ней. Я не думала тогда о возможном продолжении и тем более не думала о возможных читателях (потом думала уже и о них). Это было сладостное и горькое свидание с молодостью и прощание с ней. Вспоминая, я невольно пыталась разобраться в себе и осмыслить свою жизнь. Не знаю, удалось ли мне это хоть сколько-нибудь, но жизнь моя показалась мне исполненной смысла, как, впрочем, и жизнь всякого человека. В ней было столько горечи, но оказалось, что она была гораздо интереснее, чем я предполагала!

Теперь, завершая, я думаю о своих внуках Васе и Вале. Дай им Бог когда-нибудь заинтересоваться нами, что требует большой работы ума и чувства, попытаться понять нас и разгадать загадки нашего времени. Может быть, им удастся распутать пестрый клубок наших несчастий, страстей, разочарований и надежд, боли и радости, падений и взлетов, всей нашей уже ушедшей для них жизни.

1984—1998, 2012

Рассказы и эссе

Бифуркация

Бифуркация — раздвоение, разделение,
разветвление чего-либо

(современный словарь иностранных слов).

Илья Пригожин в своих работах многократно обращается к рассмотрению поведения диссипативных систем вблизи точек бифуркации. Такие системы как бы колеблются перед выбором одного из нескольких путей эволюции, и небольшая флуктуация может послужить началом эволюции в совершенно новом направлении, которое резко изменит все поведение макроскопической системы. «Неизбежно напрашивается аналогия с социальными явлениями и даже с историей», — отмечает И. Пригожин. «Каждый историк знает, что изучение исключительной роли отдельных личностей предполагает анализ социальных и исторических механизмов, сделавших эту роль возможной. Знает историк и то, что без существования данных личностей те же механизмы могли бы породить другую историю» (Пригожин И., Стенгерс М. *Время, хаос, квант. М., 1994. С. 54-55*).

Лето. Дача, дачная жизнь. Синие краски летнего неба. Запах этой жизни — запах солнцем нагретых сосен. Мягкость и колкость хвойного ковра под ногами, солнце печет вовсю, а дожди — только грибные.

Скрип деревянной лестницы, по которой шагаешь босиком, и ступням тепло.

Велосипед — разгонишься на узкой тропинке, подпрыгиваешь на корнях, вылезших из-под земли толстыми змеями. Дачные игры дачной компанией — 12 палочек, индейцы, сражения сосновыми шишками. Вечером тугие звуки волейбольного мяча, а на соседнем участке — деревянный стук крокета.

Гамак, покрытый старым вытертым пледом, и брошенная раскрытая книжка, ветерок листает страницы. Собака на солнцепеке, жарко ей, а встать и уйти в тень ленится, уткнулась рыжей мордой в свой шелковый живот и похрапывает потихоньку. Жарко и тихо.

По дороге на станцию с одной стороны редкий лесок, пересеченный множеством тропинок, они ведут к дальним большим дачам. С другой — Фанерный поселок. Один к другому лепятся небольшие участки, яркие цветочные клумбы; вечером благоухают табачи. Дачки с мансардами. Вон на окошке мансарды вывешен красный флажок, в уголке — серп и молот. Прямо «Тимур и его команда». Спокойно, тихо. Станция недалеко, там небольшая веранда. Шаткие столики. В ожидании поезда мороженое, лимонад.

Радио. Как в романе Булгакова, из всех окон льется одна и та же мелодия. Лемешев выводит сладчайшим своим голосом: «То не муж с женой, то не брат с сестрой, добрый молодец с красной девицей...»

Женя живет не здесь, их большая дача находится поодаль, на высоком берегу Москвы-реки. А здесь, в Фанерном поселке, проводит лето семья ее подруги Галки. Галка постарше. Но принимает участие в общих играх, и они почти каждый день бывают друг у друга. Галкин дом уютный, комнаты внутри обшиты светло-желтыми фанерными квадратами, солнце зажигает их золотом.

В комнате Галкиной мамы трельяж, и на подзеркальнике всякие интересные штуки — пульверизатор, духи «Красный мак» в желтой коробке с красной кисточкой. Небольшой гладкий и плоский серый камень, а на нем картинка масляной краской — море, белый пароход. Надпись: «Привет из Крыма». Шкатулка из мелких ракушек. Подушечка для булавок с разноцветными головками.

Девочки смотрятся в зеркало, Женька гримасничает, а Галка рассказывает, как она хотела быть курносой и перед сном лежала по полчаса, уткнувшись лицом в подушку так, чтобы кончик носа поднимался вверх. Хохоют. Потом идут на веранду пить чай.

День клонится к вечеру, и Женя уходит домой. «Завтра купаться поедem, — думает она, засыпая. — Галка будет меня плавать учить».

Лето. Лето на даче. Дети на даче. Покой. Счастье, которое никогда больше не повторится.

В жаркие, душные дни в небе происходят невидимые изменения, растет и накапливается напряжение. Оно разрешается грозой. Так и в мирах людей происходят тайные сдвиги, и порой мир человека или семьи начинает незаметно раскачиваться — либо его раскачивают изнутри, либо внешние силы раскачивают. Сильнее, сильнее, и вот уже «небольшая флуктуация», и все меняется, и эволюция жизни принимает новое направление. Рушатся судьбы, и создаются новые. Счастливо уснувшая Женя не подозревала, что в ее мире этот процесс идет уже давно, и не чувствовала, что точка бифуркации, которая разделит, раздвоит ее мир, уже высветлилась впереди, а, может быть, и определена уже со всей точностью той зловещей личностью, без существования которой «те же механизмы могли бы породить другую историю». Могли бы? В данном случае — вряд ли.

Мир Жени рухнул осенью — родителей арестовали, и дачу, где сияло то прекрасное лето, и скромный Фанерный поселок ушли для нее в далекое прошлое.

С Галкой Женя встретилась сорок лет спустя. В школе, которую Женька покинула ученицей 5-го класса, а Галка кончила накануне войны, устроили встречу бывших учеников. Они без труда узнали друг друга. Галка, казалось, совсем не изменилась. По-прежнему спокойная, доброжелательная. Кончила инъяз вместе с будущим мужем, теперь не работает, помогает мужу. Дети взрослые.

— Женька, ты звони и заходи непременно. Телефон запиши. Да у тебя, может быть, сохранился?

— Галь, неужели он тот же самый?

— Да, представь, не изменился.

— А ты что, все там же живешь?

— Ну да, все там же. Дети отдельно.

— А дача?

— А что дача?

— Ну, все там же живете? В Фанерном поселке?

— Да, в Фанерном поселке. И дом не перестраивали, только ремонт делали.

— Слушай, 50 лет прошло! А ты помнишь ТО лето?

— Какое ТО?

— Ну, мое последнее.

— Да нет, пожалуй, не больше других. Мы ведь малые еще были, я ничего не понимала. Помню только, что раньше обычного с дачи уехали.

Женя была потрясена. Боже мой! Общее направление эволюции ее жизни так резко изменилось после той точки бифуркации, и всякие «детали» менялись столько раз! Столько раз менялись места, где ей приходилось жить, столько раз менялось окружение людей... Словно разные миры сменяли друг друга. Иногда Жене казалось, что ветер перемен несет ее так стремительно, что надо непременно за что-то ухватиться, чтобы удержаться и не упасть.

И неужели, — думала она, — бывает так, что взрывов не происходит? Не может быть! Она позвонила Галке и порасспросила об ее жизни. Все было в Галкиной жизни естественно и спокойно. Родители умерли — но ведь это у всех бывает. С мужем все хорошо, дети, внуки — сплошное очарование. Работа была интересная.

Бывает, значит. Слава Богу, бывает!

Женя поехала на станцию Н., где прошло то памятное лето. Веранда сохранилась, только, наверное, теперь тут продавали не лимонад, а кока-колу или спрайт. Их большой дачи уже не было, там шло строительство новорусского замка. А Фанерный поселок был на месте. Жаль только, что Галкину дачу она не нашла — не помнила ее местоположение. Но ведь она знала точно, что дача цела.

2005

Песнь о Гайавате¹

Жаркое было лето. Тогда все почему-то играли в индейцев. В сосновом лесочке, совсем недалеко от дачи, густо пахло нагретой смолой, сухим деревом и прошлогодней хвоей,

¹ «Песнь о Гайавате» — поэма Г. Лонгфелло, созданная на основе индейских мифов и сказок. Русский перевод И. Бунина.

плотно устилавшей землю. Тут были и молоденькие деревца, с прямыми, как свечки, еще короткими стволиками. Ветки на них росли от самой земли и были покрыты ярко-зелеными молодыми иголками. Возвышались и старые деревья с красновато-коричневой толстой корой. Татка и Ким строили вигвам. В центр шалаша ставили большую палку, вокруг нее несколько больших веток скрещивали так, чтобы верхушка походила на изображение индейского вигвама в «Песни о Гайавате» или в книжке Сетон-Томпсона. Татка собирала ветки и выкладывала стенки. Иногда они приносили из дома старый плед и кое-как обтягивали им остов вигвама. Сашка бродил между соснами, искал небольшие толстые кусочки коры и вырезал из них то фигурки человечков, то индейские пироги. Фигурки были почти красного цвета — индейцы. Татка тоже пробовала, но у нее не получалось. Зато она лучше всех лазала по деревьям. А у Кима был индейский головной убор — они долго собирали для него птичьи перья.

Обдирая коленки и рискуя свалиться, — с одной ветки на другую, выше, выше, а там выбрать удобную, примоститься и сесть — Тата осматривалась вокруг. Направо — дорога через лесок, а там таинственное место, называвшееся «дача Марья-сина». Туда ходить не разрешалось, потому и таинственным оно было. Слева далеко шумел подходивший к станции поезд. А прямо перед ней, вдали — голубовато-стальная вода Москвы-реки, и за ней — огромный цветущий луг. «На побережье Гитчи-Гюми, светлых вод большого моря...» — вспомнила Татка.

Потом они все забрались в вигвам. Сквозь ветки косыми полосами внутрь проникали солнечные лучи. Сашка взялся за книжку, Ким лег и через отверстие наверху наблюдал за движением облаков.

— Ты что читаешь? — спросил Ким.

— «Гиперboloид инженера Гарина», — ответил Сашка. — Читал уже?

— Нет еще, но ребята говорили — прочитать надо. Скоро у нас такой гиперboloид изобретут.

— Ким, да это фантастика!

— Ну и что ж, что фантастика. Сегодня фантастика — завтра изобретут.

— «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», — отозвалась Татка. — Верно, Ким? И если изобретут, то только у нас, в СССР. Все же подумайте, ребята, как здорово, что мы в СССР

родились. Ведь могли бы и в другой какой-нибудь стране на свет появиться. А нам вот такое счастье привалило.

Сашка отложил книжку. Покопался на сестру и непонятно хмыкнул.

— Ты что хмыкаешь? Не согласен, что ли?

— Да нет, я, может быть, и согласен. Но только надо помнить, что мировая революция не за горами. И тогда Советский Союз не единственный будет...

— Ты так думаешь? — задумчиво проговорил Ким.

— А ты сомневаешься? Смотри, что в Испании делается. Ведь испанские республиканцы не одинокими оказались. Про интербригады знаешь?

— Ребята, а я хочу шапочку испанскую — вступила в разговор Татка, — голубую или синюю и с кисточкой впереди. У нас у многих девчонок в классе уже есть.

— Татка, ну о чем ты думаешь? — Ким стрельнул в сестру соеновой шишкой. Потом сказал:

— Вообще, Татка, ты серьезно подумай — время ли сейчас о каких-то шапочках думать?

— А ты о чем думаешь?

— Я? Вот осенью буду нормы на ГТО¹ сдавать и на «Ворошиловского стрелка». Готовиться.

— Ну и что? А я на БГТО². И стрелять учиться.

Татке было 12 лет, Киму 14, Сашке 15.

— Тебе не позволят. А вообще-то полезно. В будущей войне женщины участвовать обязательно будут. Уже и сейчас на летчиц учатся и с парашютом прыгают.

— Ким, — подал голос Сашка, — а ты думаешь, будет война?

— Это неизбежно, Саш. Посмотри, что Гитлер творит. И мы все должны быть готовы. Год-два, и в комсомол будем поступать.

Саша отложил книжку и принялся вырезать своего индейца.

— Пойду я к БГТО готовиться, — встала Тата.

— Это как? На сосну полезешь? Только осторожнее, ладно, Татка?

Через несколько минут Татка сидела чуть ли не на верхушке невысокой сосны.

— Татуля, осторожнее!

¹ ГТО — значок «Готов к труду и обороне» — для молодежи.

² БГТО — значок «Будь готов к труду и обороне» — для младших ребят.

Это мама с папой вышли на опушку из небольшого оврага, скрытого соснами. Мама несла большой букет — ромашки, колокольчики, еще что-то. А у папы в руке почему-то была лопатка с коротким черенком — детская, что ли. Впереди бежала Ори — лохматая лайка, уши торчком, хвост баранкой. Завидев Татку на сосне, подбежала, лапами на ствол, громко залаяла.

Ким вышел из вигвама. В руках у него был фотоаппарат «Турист» — к дню рождения подарили. Махнул рукой родителям: «Стойте там». Они остановились, щурясь на солнце. Мама ладонью прикрыла глаза от слепящего света. Ори, будто понимая происходящее, уселась перед ними. Ким щелкнул — готово. Милые. Родные. Незабвенные. Папа высокий, в толстовке. На голове белая кепка. Одной рукой обнял маму — она в сатиновом платье — синем в горошек. Полная, но легкая, быстрая.

Мама повернулась к Тате:

— Тата, а Саша где? И что ты там видишь, со своей верхотуры? Слезай, пошли обедать.

— Сашка в вигваме. А я вижу, как с шоссе сворачивает к нам автомобиль — большой, черный, линкольн, кажется.

Тата увидела, как мама чуть не выронила букет и схватила папу за руку.

— Ты что, мама?

Ответа не было. Они стояли как вкопанные. Только папа оглядывался вокруг и не знал, что делать с лопаткой.

— Пап, да я ее понесу, положи.

Они стояли молча и следили за черным автомобилем, свернувшим с шоссе и по проселочной дороге приближавшемся к их даче. Автомобиль не замедлил хода и проехал мимо них по направлению к «даче Марьясина».

— Вчера Гринько¹, сегодня Марьясину², — тихо сказал папа, — но на сегодня всё.

Он вздохнул, подошел к вигваму и заглянул внутрь. Сашка спал и ничего не слышал.

— Вставай, Сашуля.

Саша открыл глаза, улыбнулся отцу:

— Пап. А я и не слышал, как вы подошли.

— Ну, и хорошо, сынок, что не слышал. Пойдем, пора.

¹ Гринько Г.Ф. (1894–1938) — в 1937 г. нарком финансов. Репрессирован, расстрелян, реабилитирован посмертно.

² Марьясин Л.Е. (1894–1938) — до 1936 г. председатель госбанка. Репрессирован, расстрелян, реабилитирован посмертно.

И они все, летние, солнечные, счастливые, любящие, отправились домой.

Было так хорошо, что Татка забыла спросить папу, что за лопатка была у него в руках. Много лет спустя узнала она, что в этот день отец и мать закопали в лесном овраге небольшую жестяную коробку, положив туда текст «Завещания» Ленина.

После обеда папа обыкновенно ложился отдохнуть и спал около часа. А потом он читал детям вслух. Он достал с полки «Песнь о Гайавате» в английском издании. Тата видела ее не раз. Иллюстрации, выполненные акварелью, тонкие, прелестные рисунки на страницах, прикрытых кремовой шелковой бумагой. Они рассматривали картинки, а читал он, конечно, русский перевод.

Тата открыла первый рисунок и вдруг прочитала вслух:

Вы, кто любите природу, сумрак леса, шепот листьев,
В блеске солнечном долины. Бурный ливень и метели
И стремительные реки в неприступных дебрях бора,
И в горах раскаты грома, что как хлопанье орлиных
Тяжких крыльев раздаются,
Вам принес я эти саги, эту Песнь о Гайавате.

— Тата, ты запомнила? — удивился папа. — Вот это да! Ну, давайте начнем, продолжим, вернее.

Дай коры мне, о Береза!
Желтой дай коры, Береза,
Ты, что высишься в долине
Стройным станом над потоком!
Я свяжу себе пирогу,
Легкий челн себе построю,
И в воде он будет плавать,
Словно желтый лист осенний,
Словно желтая кувшинка!

А мама в дальней комнате лежала на кровати, задернув шторы на окне, в темноте. «Что будет с ними? Что будет с ними? Что мне делать?» — билось в мозгу, не умолкая ни на минуту.

Папу и маму арестовали через три месяца. Саша и Ким успели еще заработать значки ГТО, а «ворошиловскими стрелками» пришлось стать на войне. Только Сашку убили в первые же месяцы, а Ким был тяжело ранен, но уцелел, вернулся. А у Таты чудом сохранилась та английская «Песнь о Гайавате». Она иногда рассматривает рисунки и вспоминает дивные стихи. Это о смерти Миннегаги, жены Гайаваты:

Гайавата, Гайавата!
По долинам, по сугробам,
Под ветвями белых сосен,
Нависавшими от снега,
Он бежал с тяжелым сердцем,
И услышал он тоскливый
Плач Нокомис престарелой:
Вагономин! Вагономин!
Лучше б я сама погибла,
Лучше б мне лежать в могиле!
Вагономин! Вагономин!

2008

Дети Большого Террора

Отношение общества к нашему прошлому изменчиво. То на первый план выходит период брежневского «застоя» с его мнимой стабильностью, то Андропова вспоминают — поживи он подольше и, может быть... О сталинских временах говорят все меньше. Отношение к ним отлилось в устойчивые формы, и новые оценки вроде бы уже не нужны. Впрочем, советские времена и эпоха сталинской кровавой тирании все еще вызывают ностальгические чувства. И люди-то были добрее, и в коммунальных квартирах жилось хорошо, потому что дружнее, а главное — порядка было больше. Это на бытовом уровне. А, думая о судьбах родной страны, все чаще о той эпохе говорят со знаком плюс. Страна как по волшебству превратилась в мощную индустриальную державу. Весь мир признал успехи могучего Советского Союза. Пусть погубили тогда миллионы людей — цифры-то точные не установлены и вообще многие из загубленных свою долю, может быть, и заслужили. И вообще, в истории 30-40-х годов надо еще разобраться. И ведь, конечно, когда лес рубят — щепки летят. А наш любимый вождь товарищ Сталин — лучший друг детей и физкультурников, сталеваров и летчиков и не знаю еще чей друг — колхозников только не забыть бы, очерненный новыми врагами народа — проклятыми дерьмократами, все-таки был великим государственным деятелем и выдающимся военным стратегом. А еще, оказывается, он и человеком был не таким плохим, чтобы одной черной краской его малевать. И намерения у него были самые что ни на есть высокие. На экране телевизора то и дело нам является то мудрый, сдержанный, невозмутимый политик, а то и добрый такой дедушка.

Я расскажу о своих товарищах, с которыми судьба свела меня двенадцатилетней девочкой в детском доме в начале 1938 года после ареста родителей. Большинство из них были старше меня, но все же избежали печальной участи тех ребят старше 15-ти лет, которых по специальному приказу Ежова арестовывали как сыновей и дочерей врагов народа.

Вера Шерина стала моей первой подругой в детском доме. В спальне наши кровати стояли рядом, и она научила меня некоторым важным правилам поведения в коллективе, помогла избежать всякого рода ошибок. Спокойная и справедливая, она пользовалась авторитетом среди ребят. Ее привезли в детдом из Ленинграда.

Отец Веры, Михаил Петрович Шерин, был начальником цеха швейной фабрики им. Мюнценберга. Его забрали еще в декабре 1936 года и расстреляли в мае 1937-го. Разумеется, арестовали и Верину мать. Вера так никогда и не узнала, в чем обвиняли ее отца. А мама ее и до лагеря не дожила — умерла в тюремной больнице. Михаила Петровича, члена ВКП(б), рядового работника советской промышленности, арестовали, очевидно, по клеветническому доносу или же просто в рамках выполнения плана репрессий в период неслыханного террора, развернувшегося в Ленинграде после убийства Кирова и расправы с «троцкистско-зиновьевским блоком».

Судьба Веры сложилась более или менее благополучно. В 1941 году, накануне войны, она кончила 10-й класс и стала работать на текстильной фабрике. Вскоре ее мобилизовали в армию, и в течение всех военных лет она служила в зенитных частях под Москвой, здесь познакомилась с будущим мужем. После войны окончила медицинский институт, стала детским врачом и сейчас живет в Москве. Мы изредка встречаемся.

Ленинградцы Борис и Нина Яндоло недолго прожили с нами, их забрала из детдома тетка. Три сестры Будзинские — Янина, Казимира и Зося, дочери известного польского революционера. Они дождались возвращения матери из лагеря, когда двое из них — Нина, как чаще звали Янину, и Казя уже учились в Ленинграде в финансово-экономическом институте. Она приехала к ним, тайно жила у них в общежитии, рассказывала дочерям о лагере. Дальнейшую их судьбу я не знаю, по слухам, Зося умерла, а Яна и Казя уехали в Польшу. Братья

Купферы тоже дождались возвращения матери. А вот Гога и Нина Солоневичи, Нина Борисова — где они, Бог весть...

Миша Кристсон был в детском доме фигурой выдающейся. Самый старший из воспитанников, он держался обособленно, как взрослый. Он знал наизусть всего «Евгения Онегина» и мог продолжить чтение бессмертного романа с любой строчки, которую ему называли. Впрочем, он не любил демонстрировать это и вообще был человеком замкнутым, погруженным в себя и необщительным. Учился блестяще, любил и знал классическую музыку, особенно оперу, пел в школьном хоре. Он кончил в детдоме 10 классов и осенью 1940 года поступил на физико-математический факультет Петрозаводского университета.

Ранним летом 1941 года, досрочно сдав экзамены, Миша приехал в детдом на каникулы и жил с нами в лагере. Братьев моих не было. Мне было уже шестнадцать лет, и мы подолгу беседовали с ним. Как только началась война, уехал в Петрозаводск и сгинул навсегда.

Отец Миши Кристсона Рудольф Янович Кристсон, латыш по национальности, работал техническим директором Ленинградского завода резиновых изделий «Красный треугольник». История его ареста и гибели была совсем не такой тихой, как гибель отца Веры Шериной, которого почти незаметно стерли с лица земли. Дело Р.Я.Кристсона было сфабриковано в рамках широкой кампании репрессий в Ленинграде. Через много лет в поисках материала о Кристсоне я прочитала стенограмму доклада Л.М.Заковского на Ленинградской областной партконференции в 1937 году. Заковский, не приводя, разумеется, никаких доказательств, рассказывает о вражеской деятельности шпионско-вредительских групп на заводе «Красный треугольник», в ленинградском порту и на военных предприятиях города. Что касается Рудольфа Яновича Кристсона, арестованного в феврале 1937 года, то о нем говорится, что этот «матерый вредитель» много лет поддерживал связь с немецким шпионом А. и получил задание вовлекать во вредительскую организацию антисоветски настроенных специалистов и с их помощью срывать механизацию, освоение советского каучука и всячески дезорганизовать производство. Р.Я.Кристсон был расстрелян в августе 1937 года, его жена, Мишина мать, получила без суда и следствия 8 лет лагерей как член семьи изменника родины.

Миша Бауэр прибыл в наш детский дом тоже из Ленинграда. Его родители были ученые, отец — биолог, мать — математик. Они были венгры и в 20-х годах жили в Германии. В 1925 году профессор Эрвин Бауэр получил приглашение из Москвы приехать для работы в Институте профзаболеваний им. Обуха, и с годовалым сыном Мишей они приехали в СССР, сначала в Москву, а в 1934 году перебрались в Ленинград, где Мишин отец стал работать в ВИЭМе, первом в России исследовательском центре биологии и медицины. Эрвин Бауэр стал автором крупнейших теоретических открытий, значение которых во всей полноте было осознано несколько десятков лет спустя, когда его давно уже не было в живых, и удалось, наконец, выпустить в свет его книгу «Теоретическая биология». Мне посчастливилось присутствовать на большой научной конференции, организованной к 100-летию Э. Бауэра в 1990 году в Пущине. На этой конференции отдали, наконец, должное крупнейшему ученому-теоретику в области биологии.

В августе 1937 года были арестованы сначала мать, а через пару дней отец Миши Бауэра. Оба были расстреляны в начале 1938 года.

Если жизненный путь Веры Шериной и Миши Кристсона после гибели их семей оказался более или менее благополучным, то Мишу Бауэра ждали суровые испытания. Через несколько дней после ареста родителей Мишу и его двухлетнего братишку Карла забрали в детприемник НКВД, разделили и отправили в разные детские дома Ивановской области. Миша попал в наш Шуйский детдом, и ему удалось с помощью директора Павла Ивановича Зимина добиться того, чтобы и маленького Карлушу перевели в Шую, в дошкольный детский дом.

Миша был своенравным, самостоятельным и готовым на всякие авантюры. Учился хорошо, из 8-го класса, сдав необходимые экзамены, перешел прямо в 10-й и кончил его в июне 1941 года. Война... О поступлении в вуз думать не приходилось, и, покинув детдом, Миша стал работать — сначала на текстильной фабрике, потом в детдоме дворником и истопником, затем на механическом заводе. Он очень бедствовал, почти голодал, ждал повестки в армию. Она пришла только в марте 1942 года. Собирая свой вещмешок, Миша сунул туда книжку с кратким изложением теории относительности, книгу по проективной геометрии и пару тетрадей.

У всех собравшихся на Шуйском вокзале людей — они явились сюда по повесткам из военкомата, среди них были и совсем

молодые ребята вроде 18-летнего Миши и солидные мужчины лет 60-ти, — были немецкие фамилии. Миша понял, что их повезут не в армию. Его, венгра, обладавшего фамилией Бауэр, сочли за немца. Когда через несколько дней пути их высадили из теплушек, то окружили конвоем и повели в зону, за колючую проволоку с вышками по углам. Жилье — неотапливаемые бывшие овощехранилища, крыши едва возвышались над землей, а внутри нары в три яруса.

Называлось это трудармией. Не лагерь, но и не свободное поселение. Сроков ни у кого нет. Рабочий день начинался в 4 утра. Миска баланды, а в 5 — построение и под конвоем на место работы. Шли час по торной дороге и железнодорожной насыпи. Здесь строили железнодорожный мост через Северную Двину в районе Котласа. Трудармейцы работали по 12 часов, долбили железными пешнями лунки в толстом еще льду на реке. В лунки эти должны были закладывать динамит и взрывать лед, чтобы ледоход не повредил поставленные уже опоры для моста. К концу рабочего дня одежда была мокрой до пояса. В этой одежде валились на нары, и за ночь она не успевала просохнуть. Уже в первые недели по пути с работы некоторые падали по дороге. Их никто не поднимал; на следующее утро, когда шли на работу, видели трупы. Умирали и в самих бараках. Просыпались утром, а рядом покойник. К концу всего лишь второй недели этой каторги из восемнадцати членов Мишиной бригады в живых осталось шестеро.

Мишу Бауэра спасли, как он сам пишет в книге своих воспоминаний, молодость и желание жить, да еще то, что он заболел и попал в лагерный лазарет. Пеллагра, цинга, туберкулез... Лагерные врачи делали, что могли. Но что они могли?

Наконец, Мишу выписали на работу, и он со своим вещмешком отправился в барак. Сил идти не было. Он присел на пень, опустив голову. Подошел врач и спросил, в чем дело. «Не могу идти дальше, нет сил», — ответил Миша. «Иди за мной», — сказал доктор и снова взял Мишу в лазарет, где он и пробыл несколько месяцев до «активирования». Комиссия по «активированию» признала его, в числе других, не способным к работе и отправила его на спецпереселение. В этот момент при росте 174 см. Миша весил 42 кг.

Я не стану описывать дальнейшие мытарства Миши Бауэра, лишь несколько слов. Пешком он добрался до Котласа, оттуда не без помощи добрых людей перебрался на Алтай и там около года работал в колхозе, сначала пастухом, потом и на других

сельских работах. Здесь он отъелся, окреп. В конце 1943 года его вызвали в военкомат, признали годным к строевой службе, отобрали паспорт, который ему чудом удалось сохранить, и снова под конвоем в «трудармию».

Но на сей раз ему повезло: с другими спецпереселенцами он попал в Барнаул, и это была уже не зона. Работал на заводе, жил в бараке. Конечно, надо было не реже раза в месяц, а также по вызову являться в «органы» для проверки — такой статус спецпереселенца сохранялся и после окончания войны, и нарушение правил грозило немедленным арестом и сроком.

Я не знала о том, что произошло с Мишей, и думала, что, по-видимому, он погиб на фронте. Писала в разные инстанции, но не удавалось узнать ничего. Тогда я начала разыскивать его брата Карла (когда-то мы вместе с Мишей навещали в дошкольном детдоме черноглазого малыша Карлушку). И довольно быстро получила такой ответ: местонахождение Карла Бауэра неизвестно, но известно, что его ищет брат, Михаил Бауэр. В письме был указан барнаульский адрес Миши. Так мы нашли друг друга. Своего младшего брата Миша отыскал только в середине 70-х годов. Но это совсем особая, драматическая и отчасти даже детективная история.

После смерти вождя в 1953 году ситуация стала меняться. Миша заочно кончил институт, женился и после реабилитации родителей вернулся в Ленинград. Мы не раз встречались с ним. Много сил он посвятил восстановлению научного имени своего отца. Он написал книгу «Воспоминания обыкновенного человека», и ему удалось ее издать с помощью друзей из Петербургского университета (См.: *Михаил Бауэр. Воспоминания обыкновенного человека. Петергоф, 2003*). Михаил Бауэр умер в 2011 году.

И еще об одной судьбе я должна и хочу рассказать. Это судьба моего двоюродного брата Рема Владимировича Смирнова, выросшего в нашей семье и вместе с нами испытывавшего все то, что выпало нам на долю как детям «врагов народа». Его отец Владимир Михайлович Смирнов, большевик, пламенный революционер, был арестован и сослан еще в 1927 году. Расстрелян в 1937 году. Мать Рема была арестована вместе с мужем, она умерла в тюрьме.

В детском доме Рем, спокойный, тихий, замкнутый мальчик, кончил 10 классов (желая завершить школьное обучение одновременно с братом Валей, который был на год старше него,

Рем перешел из восьмого класса прямо в десятый). Сдав все экзамены на пятерки, он поступил на физико-математический факультет Казанского университета. В Казани жила его тетка, он надеялся отчасти на ее помощь, но, главное, как он считал, в тамошнем университете еще был жив дух великого Лобачевского.

Окончил первый курс — война. Всю войну он прошел рядовым. Уцелел, может быть, потому, что его постоянно использовали как переводчика. Был тяжело ранен, кончил войну в Кенигсберге. После демобилизации приехал в Москву, поступил в университет на физический факультет и окончил его с красным дипломом.

Рема рекомендовали в аспирантуру. Бдительные кадровики выяснили, однако, что еще при поступлении в университет по возвращении из армии он скрыл «чудовищный» факт, что не только отец его, но и принявший его в свою семью друг отца были «врагами народа». Никакого распределения Рем не получил, а получил убийственную характеристику, не позволявшую устроиться на работу. После нескольких месяцев мытарств его взял преподавателем директор педагогического института в уральском городке Шадринске. Директор обдуманно подбирал людей с подмоченной репутацией, предлагая им самые скверные условия, но выбирать не приходилось. Через несколько лет Рему удалось переехать в город Курган, где он и прожил долгие годы, работая преподавателем в пединституте.

Все внутреннее содержание его жизни составляло упорное многолетнее исследование проблем теоретической физики. Эта работа да горячо любимая дочка помогали ему преодолевать бесконечные трудности повседневной жизни и никогда не покидавший его страх перед нею.

Но нет, не жизни он боялся. Он совершенно определенно боялся «органов». Из страха обратить на себя их внимание он не решился подать заявление о реабилитации отца и не пытался разузнать, как следует, о судьбе матери. Он удивлялся, как это я решаюсь писать воспоминания и даже выкладывать их в интернете. И однажды — это было уже в последние годы его жизни, а умер он в 2011 году — прямо сказал мне, что боится преследований, боится ареста, тюрьмы, лагеря. Вот что сделали с ним годы Большого Трора. Бедный мой брат — товарищ моего детства, черноглазый мальчик, такой худенький, что папа прозвал его «голодающим индусом», задумчивый, умный и красивый юноша, погруженный в свое дело человек науки,

немощный старик, которому на девятом десятке лет собрались вручить, наконец, единственную его военную награду, медаль за освобождение Белоруссии...

Я рассказала здесь о живых судьбах, о том, что я знаю доподлинно, и могла бы без особого труда привести истории других моих сверстников и друзей, переживших кто меньше, кто больше лишений и унижений. Все мы — дети Большого Террора, в который теперь многие либо просто отказываются верить, либо упорно стремятся его оправдать. Поколение наших отцов было безжалостно вырезано, а наше поколение подвергнуто таким испытаниям, которые выдерживал не всякий.

История Октябрьской революции и советской власти написана кровью и грязью — я никогда не соглашусь с противоположным мнением. И в этой истории зловещая, дьявольская фигура Сталина занимает первое место.

2012

Соленый помидор

Если бы мне показали в сжатом виде всю мою жизнь, все кактализмы, внешние и внутренние; скрытые от меня колебания между жизнью и смертью, заканчивавшиеся не смертью, но переменной участи; короткие взрывы того, что казалось счастьем, и долгие скучные будни, — но только всё сразу, как бы сплетенное в прочную разноцветную ткань, то, наверное, четыре года в детском доме оказались в ней важным моментом. Я попала в детдом 13-ти лет, покинула его — 17-ти. Если посмотреть с высоты сегодняшней старости, то, может быть, в панораме всей жизни — это самые тяжелые четыре года. Не знаю...

Много могла бы я рассказать о детском доме и о друзьях той поры. Расскажу о своем друге Мише Сорокине и о соленом помидоре. Это такая новогодняя история.

Не помню уже почему, но именно я стала инициатором организации кружка «художественной самодеятельности». Без всякой посторонней помощи мы поставили какую-то маленькую пьеску из жизни рабочих до революции, в которой я играла роль старой прачки. Помню даже первые слова своей роли. Обращаясь к дочке, которая гладит белье, я говорила: «Ты гладь, гладь, да смотри — не спали. Присмолишь — как отдавать будем?»

А потом мы поставили «Тимура и его команду». Я играла Женю, а моя подруга Вера Шерина — старшую сестру. Мой брат Рем, сидевший среди зрителей, ужасно смеялся — то ли вообще над нашей игрой, то ли над какими-то накладками.

И вот воспитатели назначили меня на роль Снегурочки на новогодней елке. Сшили костюм, я выучила незамысловатый текст. Но у меня, кажется, с тех самых пор сложилась дурная традиция — под Новый год болеть. Примерно за неделю до Новогоднего праздника я каждый раз, как по расписанию, заболела. Поражал меня жесточайший стоматит, такой, что язык распухал и еле помещался во рту. Какая там Снегурочка! Говорить не могла совсем и ела с большим трудом.

А Деда Мороза должен был изображать мой друг Миша Сорокин, бывший воспитанник детского дома. Он учился в техникуме в городе Вичуга, а все каникулы — зимние и летние — проводил в детдоме. Его оформляли на работу в кузницу, и он жил с нами. Мне было лет 15, ему — 17 или 18. Мы очень дружились с ним, во всех театральных делах он участвовал, вместе выпускали новогоднюю стенгазету, я писала тексты — «кому что снится», очень была популярная рубрика, — а он рисовал карикатуры. Как я потом поняла, он немножко влюбился в меня. Да ведь война началась в том году, и мы никогда больше с ним не увиделись.

А тут, под Новый год, — такая незадача. Он готов Дед-Морозом выступать, а Снегурочку аж в кровать уложили, температура. И она еле говорит. А как лечить — никто не знает. Говорят — витамины нужны, а какие в разгар зимы витамины! Миша приходил ко мне каждый день, вздыхал, качал головой. Новый год приближался неумолимо. Я ему про витамины сказала. И тут он пропал, два дня не приходил.

А на третий день, 30 декабря, пришел. Помню огромную спальню, где нас помещается человек сорок. Кровати стоят рядами, по две рядом. Девочек никого нет — днем в спальне быть не полагается. Мне очень нехорошо. Температура не снижается, язык шершавый, как терка. И вот стук в дверь, входит радостный Миша — большой, чуть-чуть сутулый, расплывается в улыбке. В руках авоська, а в ней какая-то банка. Наклонился, вдруг поцеловал меня в щеку, сел, достал банку.

— Это тебе лекарство, — говорит.

В банке что-то плавает в мутной жидкости.

— Лекарство? — спрашиваю я, еле ворочая языком.

— Витамины, Светка, витамины. Я в Вичугу смотался, вспомнил, что в общежитии у одного парня есть соленые помидоры. Вот. Сейчас будем лечиться.

Миша принялся открывать банку, а я зажмурилась. Соленые...

— Миш, я не буду...

— Будешь, Светик, будешь, надо. И потом, ты что, помидоры не любишь?

И Мишка извлек из банки небольшой бледнозеленый помидор, такой помятый, из которого бледные зернышки выглядывали, и чуть не насильно сунул мне его в распухший рот.

Ух, даже слезы брызнули — так было больно. Но я проглотила помидор.

— Еще!

— Нет, Мишка, потом, поставь банку. Ты иди, я спать хочу.

Во рту все горело, и разговаривать было невозможно. Миша с некоторой тревогой посмотрел на меня. Я закрыла глаза, и он ушел.

Не суждено мне было выступить в роли Снегурочки, не выздоровела я к Новому году. Однако дело явно пошло на поправку, и к концу каникул я была в порядке. Я и сейчас уверена, что добытый Мишкой с любовью соленый помидор сыграл свою роль.

В последний раз мы увиделись с Мишей Сорокиным в том же 41-м году, весной, в мой день рождения. Он пешком пришел в тот весенний день километров за сорок из своей Вичуги и участвовал в общем празднике — мне исполнилось 16 лет, паспорт получила.

С войны Миша не вернулся, и никто не знает его судьбы — он был сирота, а жениться не успел.

Вот и все.

2011

Новогоднее воспоминание

У меня в руках чудом сохранившаяся самодельная елочная игрушка 1937 года, сшитая моей бабушкой. Как много воспоминаний вспыхивает и тихо гаснет...

В поисках одной старой бумаги я набрела на давно знакомую, но не привлекавшую особого внимания почтовую открытку 1941 года. На ней надпись: «Почтовая карточка, Carte postale». «Пользуйтесь авиапочтой». Это выглядит неуместно: открытка

послана из Москвы 25 октября 1941 года — какая уж тут авиапочта! Две марки — 15-ти и 10-тикопеечные. Адрес: «Почтовая полевая станция 473/21. Осинскому Валерьяну Валерьяновичу». К открытке приклеена маленькая бумажка со словами: «В Москву. Адресат Осинский ВЫБЫЛ НЕИЗВЕСТНО КУДА».

Открытку ему написала бабушка, мамина мама, Е.Н. Смирнова. Ей было 78 лет. Она писала внуку:

Дорогой Валюша, получил ли ты посылку, и если тебе что нужно, пиши. Как ты себя чувствуешь? Участвовал ли в бою и как твоё здоровье? Постоянно думаю о тебе и жду письма, от Рема получила письмо, Светлана все безмолвствует, от мамы тоже ничего нет. Грустно! Сейчас пишу тебе, а кругом стреляют зенитки. Раньше во время тревоги ходила в бомбоубежище, а теперь предпочитаю сидеть дома. Если будет время, напиши. Дина, Вера Михайловна и Илюша все уехали из Москвы в Мордовскую область, так что я в полном одиночестве.

Пожалуйста, если что нужно, пиши. По мере возможности исполню твою просьбу.

Целую тебя крепко-крепко.

25. X. 41

Е. Смирнова.

По-видимому, она по-настоящему не представляла себе сложившуюся ситуацию и не понимала, что происходит с ее внуком Валерьяном. Участвовал ли он в бою? Здоров ли? Не нужно ли ему чего-нибудь прислать? Как странно это звучит!

Бедная бабушка! Все родные уехали из Москвы, внучка Светлана (это я) молчит, дочка (моя мама) тоже молчит — из лагеря, где она третий год отбывает срок «члена семьи врага народа», в начале войны письма не шли. Из коммуналки, где жила бабушка, соседи уехали в эвакуацию.

Умерла бабушка через два месяца после того, как отправила открытку внуку, как раз под новый 1942 год, совсем одна, и никто не знает, где ее могила. Последнее, что я о ней узнала, — она разогревала себе еду на «подошве» слабо нагретого электрического утюга.

Бабушка моя, Екатерина Нарциссовна (по документам — Наркисовна) Смирнова, мало соответствовала общепринятому представлению о бабушках — добрых, ласковых, уютных. Бабушки рассказывают сказки, песенки поют.

Наша бабушка, молчаливая, суховатая, тихая, но в тишине своей твердая, невозмутимая, никогда никого из нас, троих детей, не выделяла. Главное мое впечатление о ней — холодок, достоинство, ровность со всеми, постоянная занятость ручной работой. Со спокойствием уверенного и неторопливого человека занималась домашними делами: варила варенье на даче, вызывая мое восхищение умением вынуть косточки из вишен с помощью шпильки, чинила белье, к елке готовила чудесные игрушки — крошечный саквояж с синей шелковой обивкой, маленькую кожаную сумочку, набитую конфетками-драже, пестрых куколок.

Жила она в двенадцатиметровой комнате в коммуналке на Красной Пресне вместе с племянницей, старой девицей, страшной, как ведьма, и чудовищно неряшливой. А бабушка была аккуратисткой, каких мало! При этом категорически отказывалась перебраться к нам, в Кремль, и только летом на даче жила у нас в своей комнате, избегая встреч с отцом, которого недолюбливала и побаивалась.

Небольшого роста, с мягкими седыми волосами, заколотыми роговыми шпильками, в длинной темной юбке и серой в полосочку кофточке, наглухо застегнутой у горла маленькой эмалевой брошкой с крошечными, меньше булавочной головки, жемчужинками.

Эта брошка теперь у меня. Много лет хранилась серебряная чайная ложка с выгравированной надписью МЖ — что значит Мария Жураковская, так звали рано умершую родную мать моей мамы. А Екатерина Нарциссовна была ей мачехой. Дело в том, что дед мой, Михаил Георгиевич Смирнов, женился четыре раза, последовательно на четырех сестрах Жураковских. Три первых умерли, оставив пятерых детей. Двух последних — мальчика и девочку, мою маму и ее брата — вырастила и воспитала Екатерина Нарциссовна, словно эстафету принявшая. Она и сама родила сына. В 1921 году он ушел с белой армией за границу и пропал — никто о нем ничего не знал.

В молодости бабушка училась рисованию. Во время Первой мировой войны она была сестрой милосердия. В советское время работала в поликлинике регистратором.

У меня сохранились два ее карандашных рисунка: автопортрет — небольшая точеная головка, склоненное лицо в профиль — и портрет ее мужа, моего деда — на носу пенсне, читает газету —

тоже в профиль. Судя по рисунку, красивый мужчина был мой дед. Я его не знала, он умер задолго до моего рождения.

Мама вспоминала, что мачехой Екатерина Нарциссовна была очень строгой и даже суровой, но заботливой и справедливой. Мама звала мачеху мамочкой, мы — бабушкой.

Сейчас я с трудом, с помощью лупы перечитываю два сохранившихся письма мамы из лагеря к бабушке — письма эти на полуистершихся клочках бумаги, чернила выцвели — и именно из этих писем яснее всего вырисовывается для меня образ бабушки. И вспоминаю, конечно.

Когда наших родителей арестовали, бабушка не побоялась ничего, пришла наутро после исчезновения отца и не ушла, не рассталась с мамой до ее ареста. Она ничего не боялась не потому, что была уже в очень преклонном возрасте и опасность ее ареста была невелика, а потому, что она вообще ничего не боялась, была человеком долга и выполняла его, как могла. Пока мы еще оставались в Москве, приезжала к нам с Красной Пресни почти ежедневно, потом проводила нас в детдом, писала нам регулярно, посылала немного денег — и маме и нам (а маме еще и посылочки) — и те, что в великой тайне передавал ей мамин сводный брат Борис, и свои копейки — сама она жила теперь только на свою нищенскую пенсию. Она выполняла все мамины просьбы — искала и покупала для нее нужную книгу (это было пособие для медсестер) и бытовые мелочи, стараясь найти подешевле; мама без конца ее благодарила и уговаривала не беспокоиться и умерить хлопоты.

Когда в 1943 году я приехала в Москву и поступила в институт, бабушки уже не было в живых. Ее похоронили соседи. В комнате бабушки стоял большой деревянный сундук, в котором лежали два маминых платья, мамино зимнее пальто и красивые мамины туфли, привезенные из Парижа в 1937 году. Бабушка хранила эти вещи, надеясь встретить маму после окончания срока заключения. Не дождалась.

Я держу в руках чудом сохранившийся крошечный саквояжик, обшитый синим шелком, и вспоминаю их всех — бабушку, маму, брата Валью. Увижу ли их в тех мирах, куда скоро предстоит шагнуть и мне самой?

Мы далеко от войны. Но война живет и здесь, в далекой глубинке. Ее тяжелое и жаркое дыхание врывается по утрам с бесстрастным голосом Левитана, возникающим в зловещей черной тарелке на стене, с появлением на улице почтальонши, идущей с пачкой треугольников в руке, в лицах женщин, поджидающих ее у крыльца. На лицах женщин написана мольба, как будто от этой девчонки в облезлой ушанке и больших валенках и впрямь зависят их судьбы.

Зима 1942 года. Маленький городок Ардатов, Мордовия. С высокого откоса гляжу вниз на замерзшую реку Алатырь, вижу ребят, несущихся с горки на санках, и кажущуюся игрушечной лошадку, тянущую воз сена, — мост далеко, вот и едет хозяин по крепкому синеватому льду. День солнечный, ясный, я иду в школу, учимся во вторую смену. Близится окончание десятого класса.

Немного воспоминаний осталось у меня о городе Ардатове, где я прожила полтора года у родственников, эвакуированных из Москвы, и об Ардаатовской средней школе. Самой лучшей там считалась учительница литературы Валентина Ивановна, молодая женщина, ни на шаг не отступавшая от школьной программы и даже вне уроков говорившая, казалось, все только в соответствии с какой-то строгой партийной программой. Миловидная, волосы затянуты в жидковатую косичку вокруг головы так туго, что кажется, от этого и кожа на лице натянута и блестит. Малейшее отступление от учебника и от ее объяснений она замечала мгновенно и тут же делала замечание. Но вообще-то она не злая была, скучно только было невыносимо.

А учительницы истории Ираиды Семеновны все ужасно боялись. Она была известна беспощадной требовательностью, касавшейся более всего знания исторических дат и цифр, с видимым

¹ Эрзя Степан Дмитриевич (1876—1959), настоящая фамилия Нефедов, скульптор, художник, род. в дер. Бaeво Ардаатовского района. Учился иконописному мастерству в Алатыре и Казани, затем учился в Москве в Училище живописи, ваяния и зодчества. В 1906—1914 гг. жил в Италии и Франции, затем был призван в армию и участвовал в Первой мировой войне.

В 1919 г. вернулся в Россию, участвовал в ленинском плане монументальной пропаганды и работал над образом Ленина. В 1926 г. уехал в Аргентину и работал там над скульптурами из особо твердой породы дерева. В 1950 г. Эрзя вернулся в СССР и последние свои годы жил в Москве.

удовольствием сыпала в ученические дневники колы и двойки. И вид у нее был устрашающий — высокого роста, сухая, всегда в черном, сильно поношенном, грубом костюме — юбка и пиджак, седые волосы подстрижены по-мужски, ходит широким шагом, как солдат. И на учеников смотрит зорким, насквозь пронизывающим взглядом.

Минувшей осенью историчка почти приказным тоном предложила нам прийти к ней домой и помочь выкопать картошку. Знающие люди сказали, что от участия в этом «субботнике» будут и четвертные оценки зависеть. И мы пошли и сделали то, что нужно, под присмотром хозяйки, пытавшейся с нами шутишь, открывая в улыбке длинные, желтые, прокуренные зубы.

А остальных учителей Ардатовской школы я и не помню — кроме одного, ворвавшегося в нашу скучную школьную жизнь и как будто взорвавшего запрограммированный порядок, который начальству представлялся, наверное, наилучшим способом собственного существования.

Он стал нашим классным руководителем — Давид Львович Перский, учитель математики, появившийся в школе в середине учебного года. Говорили, что он одинокий, эвакуировался с Украины. Он получил у нас прозвище «лев». Может быть, тому способствовала настоящая грива выющихся седых волос, — он был уже очень немолод, — беспокойные глаза и стремительные движения. Однажды я видела его на улице: в широко развевающимся неопределенного цвета плаще он почти бежал, нагнув голову и сжав кулаки, словно для удара, и что-то негромко угрожающе бормотал, не замечая окружающих.

В класс он влетал, не требуя, чтобы мы вставали по струнке, и прежде всего сообщал о том, что слышал сегодня по радио, иногда приносил газету и читал вслух.. Он повесил на стену карту СССР, велел сделать флажки на булавках и отмечал состояние на фронтах.

Как шла у нас математика, я помню плохо. Запомнился Давид Львович совсем другим. Однажды, начиная урок и рисуя на доске треугольник, он вдруг отложил мел, вытер руки тряпкой, с неудовольствием понял, что только испачкал руки, отбросил сухую тряпку и гневно сказал:

— Тряпку намочить не можете... Ну ладно, сегодня геометрия подождет, никуда не денется. Я о другом хочу поговорить. Ардатов — городок мордовский. В классе есть кто из мордвы?

Человек пятнадцать подняли руки.

— Культуру свою мордовскую знаете? Язык? Историю, обы-
чай? Вот вы, Девятаева, знаете?

Нет, никто мордовского языка не знал, Девятаева сказала только, что у ее бабушки есть национальный костюм, в сундуке лежит.

— Эх, вы! — возмущился Давид Львович, — имя хоть свое зна-
ете? Эрзя — так мордовский народ именуется. А слышали что-
нибудь про скульптора Эрзю?

Нет, никто ничего не знал ни про какого Эрзю.

— Эрзя — знаменитый ваш мордвин. Впрочем, откуда вам
знать — он же из СССР давно уехал, где сейчас — не знаю.
А про первые его работы знаю, он учился в России, писал ико-
ны, потом уехал в Италию учиться, занялся скульптурой — из
дерева делал. Так за границей и остался. И вот я слышал, что он
родился где-то здесь, недалеко от Ардатова, в деревне, и фами-
лия его настоящая — Нефедов. Я вам предлагаю — давайте разу-
знаем, поищем, где эта деревня, может, там что-нибудь найдем
из его работ. Они замечательные, я фотографии видел. Может,
музей удастся создать.

Все молчали. Потом подняла руку одна девочка:

— Давид Львович, но ведь он, значит, эмигрант...

— Так что из этого? — Давид Львович нахмурился.

— Ну, значит, предатель.

Учитель стукнул кулаком по столу:

— Да что вы понимаете? Предательство — свою культуру за-
бывать, своим народом не интересоваться. А он миру имя свое-
го народа открыл — взял себе псевдоним — Эрзя. Эх, да что с
вами говорить!

Но тут поднял руку Витя Филиппов. Он был старше всех в
классе, все знали, что он ходил в военкомат, просился на фронт,
но получил отказ. А недавно у него мать умерла, он остался с боль-
ной парализованной бабушкой. От отца с фронта вестей не было.

— Я согласен, Давид Львович. Надо сначала в городе попы-
таться разузнать. А весной отыщем эту деревню.

Витя неожиданно предложил мне пойти вместе с ним в рай-
ком комсомола.

— Я, — говорит, — сходил уже в краеведческий музей, это про-
сто комната одна. Сидит заведующая, замерзает — дров не дают.
Про Эрзю знает, но ничего сказать не хочет — идите, мол, в пар-
тийные инстанции, если они разрешат... Я спрашиваю: «Но у вас

есть что-нибудь?» Она свое: «Я вам сказала — идите в райком». Пойду в райком комсомола сначала, пойдешь со мной? Вдвоем как-то лучше.

И мы пошли.

В дальнем конце большого кабинета за обширным письменным столом что-то сосредоточенно писал хозяин кабинета, комсомольский секретарь. Мы стояли у дверей. Витя кашлянул. Человек за столом поднял голову, встал и приблизился к нам. Это был очень странный человек, ростом с тринадцатилетнего мальчика, а лицо его, круглое и какое-то помятое, было старообразное и совершенно бабье, без всяких признаков растительности. Пожал нам руки, предложил садиться и заговорил тонким голосом:

— Ну, что, друзья, о чем поговорить хотели?

Витя изложил наше дело.

— Эрзя? — пропищал комсомольский секретарь, — не слышал про такого. Я сам эрзя — засмеялся он, — но не тот, не тот. Молодцы, ребята, в такое трудное время о национальной культуре задумались. Но главное сейчас все же не это. Вот у нас на ватной фабрике не хватает политпросвещения, надо там политической информации организовать. Вы и взялись бы за это дело, вижу, что ребята грамотные. Да, — вдруг спохватился он, — а кто вам про этого скульптора рассказал?

— Наш учитель математики, — сказала я, — Давид Львович Перский.

— А-а, этот эвакуированный. Ладно, ребята, идите, я все разузнаю и вас вызову.

Давид Львович не слишком одобрил нашу инициативу, сказал, что другими путями надо Эрзю искать.

— Видите, ваша одноклассница думает, что он предатель, раз за границу уехал, а секретарь райкома, конечно, станет бдительность проявлять. Кстати, как его фамилия? Ширшов? Маленький такой?

— Да, — обрадовалась я возможности выяснить странность внешности этого Ширшова, — а что он — инвалид?

— Он гермафродит, — ответил Давид Львович, — ладно, дело сделано, ступайте.

На улице я спросила:

— Вить, а что это такое — гермафродит?

— А ты не знаешь? Ну, отклонение от нормы такое, — объяснил он непонятно и покраснел. — В другой раз расскажу. Сейчас давай о другом. Ты сходи в библиотеку, знаешь, на Кузнечной? Пспрашивай там про Эрзю. А я не могу, бабушке плохо.

Мы с Витей про Эрзю ничего не нашли. Сходили еще раз в краеведческий музей — комната, в которой он помещался, оказалась запертой на всякий замок, на двери висело объявление: «Музей временно закрыт». Прошло недели две. Уроки математики проходили по расписанию, как всегда. Но про Эрзю Давид Львович не заговаривал, а когда мы с Витей обратились к нему, махнул рукой и сказал непонятно:

— Мне бы до лета продержаться. Там посмотрим.

А нас с Витей вызвали, наконец, — но не в райком комсомола, а в райком партии, к первому секретарю. Директор школы сказал, что ему позвонили из райкома и попросили прислать нас ровно к 9 часам утра во вторник, не опаздывать ни в коем случае. Без десяти минут девять мы сидели у дверей кабинета. Мимо нас, не поздоровавшись, со строгим выражением лица прошел в кабинет первого секретаря райкома партии с папкой в руках гермафродит Ширшов, и там раздались звуки разговора. Наконец дверь отворилась, и Ширшов предложил нам войти.

У секретаря райкома времени, очевидно, было мало, и беседа вышла короткая.

— Сергей, — он кивнул на Ширшова, — рассказал мне о вас. Так вот: Степан Эрзя — известный скульптор, мордвин. Родился ли он здесь, в окрестностях Ардатова, или в другом месте — никто не знает. Да это и не суть важно. Важно то, что Степан Эрзя предал нашу родину и в такой трудный момент, когда наша страна героически борется с немецко-фашистскими захватчиками, проживает, кажется, в Аргентине. Подальше от войны укрылся. Его творчество нас интересовать не может, и никаких изысканий тут проводить не следует. Понятно?

— А Давид Львович рассказывал нам, — возразил Витя, — что Эрзя над образом Ленина работал, что его нарком Луначарский поддерживал, считал талантливым, гением называл.

— Много воды утекло с тех пор, — усмехнулся секретарь райкома, вставая, — вот, может, тогда он и решил из СССР бежать. А вашего Давида Львовича придется от школьной работы отстранить — не должен человек, не разбирающийся в таких фактах, с молодежью общаться. Вот так.

— Но Давид Львович, — встала я, — лучший учитель у нас и классный руководитель...

— Все! — оборвал меня партийный секретарь, — мое время истекло. До свидания, товарищи.

Давид Львович пришел только на наш выпускной вечер, мы его пригласили. Он выпил с нами и даже танцевал с девочками. Мы заговорили про Эрзю.

— Не пришло еще время Эрзи, — сказал Давид Львович, — а мое уж кончается. Не успею ничего сделать. Ну, вы вот и продолжите. Наплевать нам с высокой башни на всех секретарей всех райкомов, — крикнул он вдруг и поднялся уходить.

— Давид Львович, — удержала я его за рукав, — а вы то сами как?

— Как я, милая девочка? У меня дочка такая была, как вы, и сын постарше. Все вместе с матерью... Не будем про это. Я частными уроками кое-как пробавляюсь. Мечтаю свой Киев еще увидеть.

Выпускной вечер еще не кончился, но мы с Витей ушли. Он добился своего в военкомате, из деревни приехала бабушкина сестра, и на днях он уходил в Красную армию. Остаток ночи — светало уже — мы просидели с ним на высоком крыльце дома, где жила я. В городском саду играл оркестр, танцы, мы слышали далекую музыку и забывали, что где-то далеко идет война, не побеждавшая нашу тыловую жалобную молодость, говорили о будущем.

— Я тебе напишу, — сказал Витя, — а ты про Эрзю не забывай...

Он притянул меня к себе и поцеловал. Впервые в жизни я целовалась с мальчиком.

— Я про тебя не забуду, — прошептала я ему в самое ухо, — напиши непременно.

Больше я никогда не видела Витю Филиппова.

А работы гениального Эрзи я увидела на выставке в 60-х годах, сердце защемило: где Витя Филиппов? Где Давид Львович Перский — единственный учитель, запомнившийся мне из школьных лет? Вернулся ли он в свой Киев?

Все осталось в далеком прошлом.

9 мая 1945 года

Однажды мне сказали: «Если спросят: что для тебя 1945 год? Отвечать надо быстро, не раздумывая!» Даже смешно стало: кто из граждан нашей страны ответит иначе, чем я? Быстро, без раздумий? 1945-й — это конец войны, праздник со слезами на глазах.

Мне вообще теперь кажется, что год 1945-й начался 9 мая.

Под утро 9 мая не спали все жители нашей коммуналки. Я кончала 2-й курс Московского пединститута и жила в семье родного дяди, брата отца, и его жены. Никто не спал, мы сидели у стола, над которым висела черная картонная тарелка радио, слушали и молчали. Не спали и соседи — молчаливый, словно немой, повар из Кремлевской столовой со своей женой, не спали Циля Гроссман с мужем — рабочим-инвалидом и двумя мальчишками, не спал со своей женой и дочкой настоящий жулик Дворкин, рассказывавший о своих махинациях, довольно похохатывая, и всегда готовый всех угостить; не спала моя тетка Женя, бывшая актриса, враждовавшая попеременно со всеми соседями.

А радио передавало марши, один за другим, марши — и больше ничего. В этом чувствовалось что-то таинственное и прекрасное. Мне до сих пор кажется, что один из тех маршей я слышала тогда единственный раз в жизни, он был стремительный и прямо сверкал серебром. Кончится один — пауза, мы замираем, затаив дыхание, ждем каких-нибудь слов. Снова музыка.

Окна были открыты, на улице ни звука, ни шороха. Дом наш стоял на улице Герцена (Никитская теперь), в наших двух комнатах окна были на две стороны — на улицу Герцена, по которой тогда ходил трамвай, и в Собиновский переулок, прямо на красно-кирпичный театр Революции (ныне театр им. Маяковского). Вдали виднелся Гитис, а ниже по улице Герцена — консерватория.

И вот, когда уже наступил рассвет и отзвучал очередной марш, радио умолкло. Все замерли, тишина казалась нестерпимой. Она длилась с минуту, и — торжественный голос Левитана: «Говорит Москва...»

Гроссмановские мальчишки распахнули дверь: «Победа!» Они пробежали по всем комнатам, громко крича это потрясающее слово. Мой дядя Паша, инвалид, улыбнулся, тяжело поднялся со стула и молча проковылял в другую комнату, а его жена упала головой на стол и громко зарыдала — у них погибли двое сыновей. Один на Орловско-Курской дуге в 43-м, другой ровно год назад, в 44-м, в Белоруссии.

Постучался и вошел Дворкин с бутылкой вина, за ним другие соседи, и мы все выпили за победу. В наших стаканах вино мешалось со слезами — слезами радости и горя.

А на улице было так. Полную тишину, когда вся Москва слушала эти марши, разорвали крики: «Конец, победа!» Сверху, от Никитских ворот, от памятника Тимирязеву, двигалась группа людей, к которой по пути присоединялись все новые и новые, выходящие из подъездов, и под нашими окнами уже почти бежала настоящая толпа, громко кричащая, машущая флагами и просто какими-то красными полотнищами. Люди обнимались, плакали, смеялись. От Никитских ворот вниз по улице Герцена двигался трамвай, все медленнее и медленнее. Наконец, прозвенев несколько раз, он остановился. Пассажиры вышли, влились в толпу, затопившую улицу. Водитель и кондуктор стояли в дверях.

Я вышла на улицу, но там было даже страшно немного: все увеличивающаяся разгоряченная, гудящая, кричащая песни толпа двигалась к Манежной площади и там дальше на Красную площадь.

Часов в одиннадцать напротив наших окон в Собиновский переулок открылись двери на большом балконе театра Революции, и группа актеров с бутылками и стаканами высыпала на балкон. Тогдашний кумир, красавец Евгений Самойлов, стоял у перил и что-то говорил, наверное, тост.

А я вспоминала сына дяди Паши, своего двоюродного брата Олега. Год назад он приезжал в Москву в отпуск, мы подружись и стали переписываться, все ближе становился он мне, все ближе... А потом был ранен — в ногу, легко ранен. Но сердце у него оказалось слабое, он умер на операционном столе. Вспоминала и своего родного брата Валерьяна, безвестно пропавшего осенью 41-го на фронте под Ленинградом.

Зачем покинули нас эти мальчишки? Они были из лучших. На кого оставили они нас? С ними наша жизнь была бы другой, и сами мы стали бы, может быть, совсем другими.

Праздник со слезами на глазах...

2011

Волк

Типичный пейзаж среднерусского предимья — печальные поля, едва прикрытые грязноватым снегом, редкие голые кусты, сбившиеся в небольшую стайку черные деревья. А настоящий лес где-то сбоку, и он еще не одет пышной зимней

красой. К вечеру молчаливое поле начинает грустить, а с наступлением непроглядной ночной тьмы и вовсе погружается в депрессию.

Вот таким предстал нам с Леней этот пейзаж к концу хмурого ноябрьского дня. Он еле виден был из мутного окна старого, военных времен газика, застрявшего посреди плавающего в сумерках бескрайнего поля. Леня за рулем, я сзади — сидели, не произнося ни слова, словно зачарованные безмерностью пространства и времени. Справа глухой темной стеной рисовался лес. Он тоже погрузился в молчание. Ни ветерка, ни звука, ни огонька.

Мы возвращались в городок Западная Двина из деревни, где провели у моей подруги, а Лениной невесты Кати октябрьские праздники, то есть 7 и 8 ноября. Пили домашнее вино, ели пироги с капустой, соленые грибочки. Чай пили с сушеной малиной. Я спала на печке. Знаете, какое это наслаждение? Нагретые овчинные тулупы, покрытые простыней, подушки большие и маленькие, в ногах мурлычет кот, и спать можно, сколько хочешь, не думая о том, что к восьми — в школу. Все мы были учителя: Катя и я в западнодвинской средней школе, а Леня — в училище механизации.

Не помню, почему, но Катя осталась у мамы в деревне, а мы с Леней, на ночь глядя, отправились в город, в нашу Западную Двину, и вот застряли, не проехав и половины пути. Наш газик проломил запорошенный снегом тонкий ледок, затянувший глубокую лужу, прочно засел в ней, а после нескольких безуспешных попыток сдвинуться мотор заглох.

А у меня утром следующего дня, в 8 часов, урок в пятом классе. Леня меня стеснялся и чувствовал себя виноватым. Наверное, поэтому ничего не говорил, я же молчала, боясь помешать ему или как-нибудь раздражить.

Он опустил голову на руль, посидел так некоторое время, потом повернулся ко мне, посмотрел оценивающим взглядом, открыл дверь, вышел, закурил и сказал:

— Посиди тут.

Докурил свою беломорину и, не говоря ни слова, двинулся вперед. Через минуту его высокая фигура растаяла в темноте.

Мне давно уже требовалось выйти из машины, и я, сбросив прикрывавший меня овчинный кожух, открыла дверцу и шагнула в темноту. Хлюп! — я ступила ногой в лужу, такую глубокую, что ледяная вода залилась сверху в короткий валенок. Не удержалась, и вторая нога тоже погрузилась в ледяную воду. Еле

выбравшись, я отступила за машину, как будто кто-то мог меня увидеть. Обратно попыталась зайти с другой стороны, но и там была вода, пришлось с мокрыми насквозь ногами залезать внутрь. Стащив мокрые валенки и чулки, я укутала ноги в овчину.

Время пошло неспешным шагом. Часов у меня не было. Давно ли ушел Ленья, куда и зачем? Почему ничего не сказал?

Ноги, слава Богу, согрелись, и в надвигающемся сонном забытии вдруг почудился мне чей-то плач. Я привстала. Тихо. А потом этот плач, оказавшийся слабым воем, повторился. Снова тишина. И опять жалобный негромкий вой. Я определила: он доносился со стороны леса. Что это было? Собака? От Катинной деревни мы отъехали уже больше двадцати километров. Откуда тут собака? Я почему-то совершенно не испугалась. Сажу в закрытой машине, ночь все же кончится когда-нибудь. Да и Ленья...

Тут как раз и появился Ленья. Сначала я услышала характерный звукдвигающегося трактора, а потом Ленья направил в окошко газика свет электрического фонаря.

— Ну, как ты тут? Помощь пришла.

— А сколько времени? Долго тебя не было?

— Часа два с половиной.

Ленья, оказывается, зная дорогу, пошел вперед, к знакомой ему деревне Порядино, разбудил тракториста, крепко спавшего после вчерашнего праздника, и тот, матерясь на чем свет стоит, сдался на уговоры и поехал нас спасать.

Долго пытались чинить наш газик, потом прицепили его к трактору.

— Ну, Валерьяновна, держись, поехали.

Тут я вспомнила странный звук, доносившийся из леса. Говорю:

— Ребята, там в лесу кто-то есть, собака, наверное. Она иногда выть принимается.

— Да ты что? Если б собака, то лаяла бы уже вовсю. А волк если — так ушел бы давно от нашего шума.

— Ну, я вас прошу, ну, две минуты помолчите... Послушаем.

Матвей сплюнул, выругался и выключил мотор. Молчим, молчим. Матвей поднимается:

— Давайте двигаться.

И тут действительно раздается вой, слабый такой, жалобным мне показался.

— Идем посмотрим, что там, — говорит Ленья.

Тракторист решительно мотает головой:

— Да вы что, сбрендили?

— Светлана Валерьяновна просит, она твоего Степку в школе учит, нельзя отказать, идем, — сваливает Ленья все на меня.

А я и не просила, они сами пошли. И я в своих мокрых валенках.

Лес оказался совсем недалеко, это в темноте чудилось, что равнина перед ним без конца, без края. Когда мы подходили к опушке, вой повторился.

— Мать твою так, — остановился Матвей, — ружья нет, нож хотя бы надо было взять. Ну, ладно, пошли.

Нож действительно был бы очень полезен. Что-то большое, темное лежало между голых кустов около небольшой елки, а когда мы стали приближаться, с промерзшей земли, рыча, с трудом приподнялась фигура зверя.

— Волк, — отпрянул в ужасе Матвей, — волк, Леха.

Ленья быстро выхватил из кармана фонарь и направил на зверя яркий свет.

Волк еле стоял на подгибающихся лапах, а потом сел на задние. Узкие желтые звериные глаза, выражавшие ненависть, смешанную с бессилием, глянули на нас. Мы увидели, что шея волка оцеплена проволокой, а другой ее конец туго обмотан и узлом перекручен вокруг елки, метрах в двух от узника. Волк был невероятно худ. В том месте, где он лежал, снег стоял, чернела земля. Мне захотелось погладить его, но Ленька быстро схватил меня за руку.

— С ума сошла? — и к Матвею: — Ну, что будем делать?

— Кто же это его так? — почему-то шепотом сказал Матвей. — На шее кровь засохлая. Вырваться пытался. А вон смотри — у него и лапа сломана, вывернута как-то. Видно, в капкан попал. Так, — скомандовал он, — вы тут меня подождите, я щас. И пошел к дороге.

— Ты за ножом? — крикнул вслед ему Ленья.

Матвей не обернулся, только рукой махнул.

— Убивать будете? — спросила я.

Ленья помолчал, присел на корточки.

— Ты бы шла в машину, простудишься ведь насмерть.

— Значит, убивать будете, — повторила я.

Матвей вернулся скоро, и в руках у него был не нож, а здоровые такие кусачки.

— Пойдем, Леха, — сказал он, — как бы не кинулся все-таки. Сначала от елки освободим. А ты, — обратился ко мне, — вот тебе спички, ветку посуше найди и зажжешь, как я скажу.

Они подошли к елке, и Матвей с трудом перекусил проволоку у ствола, затем вытащил из кармана нож и передал его Лене. Волк лежал, не двигался.

— Ну, теперь держитесь. Как говорится, с Богом. Зажигай, Валерьяновна.

Мужики медленно пошли к лежащей темной фигуре. Еловая ветка горела плохо, больше дымила. Но волк, видно, был так истощен, что еле шевельнулся, когда они приблизились к нему.

— Свети сюда быстро, — дрожащим голосом сказал Матвей, и Лена направил свет фонаря прямо в морду зверя. Тот дернулся, отвернул голову, и в этот момент Матвей мгновенно перекусил проволоку, стараясь придвинуть кусачки поближе к шее волка. Затем оба парня отпрыгнули. Но волк как будто не обращал на нас внимания, еле-еле встал, постоял, опять упал, пополз, потом все-таки поднялся, почувствовал, что ничего его не держит, и, сильно хромая, заковылял в глубину леса.

А мы так и дунули к машине. Матвей держал в руке кусок проволоки.

— Ну, теперь до конца в этом ошейнике поганом будет. Ну, кто это такой гад, неужели у нас в Порядине? Пес е...ый, фашист! Ну, пусть волк, ну, убей его, застрели. Так нет, он его к медленной смерти приговорил.

Наконец мы уселись, и трактор двинулся. Газик резко дернулся, хлюпнула вода в луже, и мы поехали. Жарко стало ужасно, голова горела, а ноги не согревались. Добрались до Порядина, починили машину, а тут уж и утро — домой. Температура у меня прыгнула высоко вверх. В бреду все тот волк в ошейнике появлялся.

А кто был тот мерзавец, что привязал волка к дереву, и как ему удалось это сделать? Так мы этого и не узнали.

2011

Мой Чехов

Антону Павловичу Чехову 150 лет. А земной его жизни было всего сорок четыре года. Только сорок четыре! Говорят: в России надо жить долго. Чехов живет долго не только в России, но и во всем мире.

Я очень люблю Чехова. Если бы меня попросили назвать самого любимого писателя я бы, возможно, назвала Чехова. Нет, самых любимых несколько, но среди них, конечно, Чехов.

Всю жизнь в трудные или тоскливые или скучные минуты прибегала к Чехову, и он никогда, ни разу не обманул меня и на протяжении жизни постоянно открывал новые и новые свои стороны.

Мое первое знакомство с Чеховым — в детстве. Смешные рассказы «Лошадиная фамилия», «Хирургия», «Злоумышленник», «Экзамен на чин». Еще — «Каштанка», «Детвора». Потом, но тоже еще в детстве, — любимая на всю жизнь «Степь». И дальше, дальше — рассказы, потом повести — «Моя жизнь», «Три года», «Скучная история», «Дуэль». Да мало ли — всего не перечтешь. Правда, пьесы никогда не любила.

Я помню, что прочитала, кажется у Мережковского, такое рассуждение. Толстой и Достоевский всю жизнь заняты были поиском смысла жизни. Писали об этом, старались что-то изменить в своей жизни. Чехову это не нужно было. Не задавался он специально такими кардинальными вопросами — и они сами собой находили решение в его творчестве. И каждый мог черпать из него то, что ему нужно.

Мало от чего в литературе получала я такое наслаждение, как от чтения рассказов Чехова и его замечательных писем. А один его рассказ оказался для меня в какой-то мере спасительным в тяжелый момент жизни. Это один из любимейших моих рассказов Чехова «Студент».

Это было в начале 90-х годов. Мне разрешили прочитать следственные дела расстрелянных в 1937 и 1938 годах отца и брата. Дело брата Вадима было для меня как удар молнии. В первых же прочитанных протоколах допроса на Лубянке — признание всех обвинений: заговор против Сталина, замысел его убить, восприятие от отца антисоветских идей... И вдогонку к протоколам — письмо с мольбой не винить ни в чем жену и мать, которые ничего не знали о его мыслях... Диму расстреляли очень быстро, через два месяца после ареста. У него остались жена и сын, которому было к моменту ареста три недели. Самому Диме было 25 лет.

Понимая, что признания любой вины можно было добиться и пытками и угрозами в адрес жены и сына, я все равно никак не могла смириться с мыслью, что Дима, человек военный, любимец друзей, говорил что-то против отца, называл фамилии не известных мне людей... На столе лежал зеленый томик Чехова. Я открыла его и перечитала рассказ «Студент». Напомню: студент ночью у костра рассказывает двум простым женщинам евангельскую историю предательства Петра. Позволю себе цитату:

«Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом», то есть что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: «Я не знаю его». Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Он в третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...»

Станным (а, может быть, и не странным) образом этот рассказ лег мне на душу и успокоил. Я знала, конечно, Евангелие и то, что сказал Иисус Петру на Тайной вечери, но у Чехова это подано так просто и так по-земному, как будто рассказывается простая человеческая история.

Петр оказался таким слабым. А ведь его даже не били. «И исшед вон плакася горько». Так же, наверное, «плакася горько» и бедный мой брат.

Иисус простил Петра. Как же я могу не прощать своего брата?

Мне стало легче.

2010

Страх и выбор

По правде говоря, я никогда не испытывала по-настоящему сильного страха. Мне не довелось бывать в ситуациях, которые могли бы вызвать настоящий мгновенный страх. Во время войны я не пережила ни одной бомбежки, не была ни в зоне военных действий, ни в оккупации. Не приходилось попадать и в криминальные ситуации.

Вспоминаю только один случай. Ехала в метро. Вошла в вагон, народу мало, спокойно села. Напротив меня — молодой здоровый парень, ничем не выделявшийся среди других, разве что крепостью сложения и небрежной одеждой. Я глядела

на него бездумно и вдруг увидела, что у него в рукаве спрятан большой нож, острием смотрит наружу. Улыбаясь в пространство и думая о чем-то своем, парень, играя, вытягивал нож из рукава, осматривал его, трогал лезвие большим пальцем и снова засовывал в рукав. Все у меня внутри похолодело. Кто-то встал и пошел в другой конец вагона. Я тоже. Едва дождавшись следующей станции, я пулей вылетела из вагона и даже не сообразила, что надо бы сообщить обо всем дежурному.

Несколько раз в жизни можно было бы серьезно испугаться, поскольку перспектива попасть в зловещие коридоры Лубянки временами обретала осязаемую реальность. Когда весной 1941 года мне исполнилось шестнадцать лет, и я, Светлана Осинская (это была партийная кличка моего отца), явилась получать паспорт, выяснилось, что в метрическом свидетельстве моя фамилия — Оболенская. Милицейский начальник смотрел на меня с подозрением и обещал выяснить, почему я скрывала свою настоящую фамилию. Но все обошлось, паспорт выдали.

Когда мама после восьми лет заключения в лагере освободилась, приехала в Москву, где она не имела права находиться, мою подругу вызвали на Лубянку и подробно расспрашивали обо мне. И позже были доказательства внимания со стороны «органов». Мама очень боялась за меня и давала мне советы насчет того, как вести себя, если меня арестуют. А я смеялась, не верила в такую возможность. Уже пришло понимание сталинского беспредела, но я не боялась. Не боялась, думаю, исключительно по идиотической наивности, а, может быть, благодаря дарованному свыше внутреннему ощущению, что ничего со мной не случится. И не случилось. Результат налицо. По Бродскому: «Что сказать мне о жизни? — Что оказалась длинной...» А могла ведь моя жизнь запросто оборваться — несколько раз за долгие годы возникала такая возможность.

Но сегодня я думаю о другом виде страха. Он всегда со мной. Это страх перед собой, перед своими возможными поступками, перед тем, что, оказавшись в ситуации рокового выбора, поступишь не так, как считаешь нужным.

Этот страх приобретает особенно рельефные и осязаемые очертания в снах.

Вот нелепые, но мучительные сны. Я в гостях. Потихоньку беру деньги, лежащие на виду, рассчитывая, что хозяйка не заметит. Между тем, она пропажу заметила, но меня не подозревает, и

я выражаю ей сочувствие. Она уходит. Думаю: отдам ей эти деньги, скажу, что взяла на время. Говорю появившейся приятельнице, что оставляю деньги, а она мне: «Да не нужно, у нее деньги есть». Я колеблюсь и решаю деньги не возвращать. Но страшно. На стене висит портрет ребенка. Он улыбается так, словно знает про мой поступок.

Еще. Я на каком-то большом приеме. Появляется актриса Людмила Гурченко. Она принесла большую красивую жестяную банку дорогого чая. Когда она выходит из комнаты, я беру эту банку, будто бы полюбоваться, отхожу в уголок. Быстро открываю банку и отсыпаю себе в карман много этого чая. Внезапно Гурченко возвращается и застает меня на месте преступления. Я что-то бормочу, пытаюсь оправдаться, а карман у меня отвис под тяжестью украденного.

Просыпаюсь в ужасе. Затем наступает несказанное облегчение от сознания, что это был всего лишь сон. Но вместе с чувством освобождения от кошмара рождается неотвязная мысль — а что, если обнаружившиеся во сне тайные намерения и совершенные действия дожидаются в подсознании своего часа и в реальной ситуации воплотятся в действительность? Может быть, именно в этих снах и выявляется истинная сущность личности, скрытая от меня самой; то, что в реальной жизни прчется за сменяющимися масками?

Страх и выбор. Мы ежеминутно стоим перед выбором, это наше перманентное состояние, касающееся прежде всего мелочей повседневного существования. Но порой проблема выбора приобретает важный, а иногда роковой характер. И я боюсь, что когда придет момент важного выбора, я поступлю недостойно. Я этого очень боюсь.

Помню, какое впечатление на меня произвел замечательный фильм Золтана Фабри «Пятая печать». Я смотрела его впервые в 70-х годах. «Пятая печать» — о страхе и выборе. 1944 год. Будапешт. В городе хозяйничают венгерские фашисты. Четверо мужчин по вечерам собираются в кабачке за кружкой пива. Это столяр, часовщик, книготорговец и хозяин кабачка. Однажды в кабачок заходит знакомый фотограф и подсаживается к ним. Часовщик, подозревая недоброе и желая понять настроения пришедшего, рассказывает притчу о хозяине и рабе, представляющих как палач и жертва, и спрашивает товарищей, какую участь каждый избрал бы для себя. Фотограф без колебания говорит — только не палач! Остальные сомневаются; они тоже вовсе не хотели бы стать жертвами. И вообще это их не касается.

Фотограф предал их, сообщив фашистам, что эти четверо ведут рискованные разговоры. Вечером следующего дня являются фашисты и ведут мужчин в камеру, где на стене под потолком распят узник, окровавленный, умирающий. Офицер предлагает каждому из приведенных ударить несчастного. Того, кто это сделает, отпустят. Перед ними смертельный выбор. И тот, кто во вчерашней беседе выглядел как настоящий обыватель-конформист, в ужасе говорит растерянно: «Нет, это нельзя, нельзя этого делать». Его тут же пристреливают. Уводя и двух других, отказавшихся выполнить требование. Но последний подходит и ударяет распятого. Его отпускают, и в тоске он спешит домой по пустынному ночному городу. Он не мог поступить иначе. Он прячет в своем доме еврейских детей, спасая их от расправы фашистов. Как труден был его выбор...

Фильм был потрясающе трагический, а мне он подарил какую-то надежду. Образ того из них, кто накануне высказывался весьма цинично, чуть ли не высмеивал необходимость жертвовать собой, а в решающую минуту не смог противостоять голосу совести, говорившему ему, что он не может в жизни так поступить, утешал меня. Я думала: может быть, в решающую минуту мне удалось бы все-таки поступить достойно?

А сны не оставляют меня. Неправ тот, кто не придает им значения. Что они открывают нам в нас самих? Об этом стоит задуматься.

2008

Сон в ноябрьскую ночь

Настал самый мрачный месяц года, наглядно и безапелляционно свидетельствующий, может быть, о безнадежности бытия, а может быть — лучше — о потере надежды надолго, надолго. Впрочем, не так уж надолго: скоро рождающий надежды Новый год с его запахами, красками — золотыми, серебряными и зелеными; звуками, напоминающими о приближении Радости; с его таинственным жаром свечей — все, что заменило нам надолго утраченные звуки, запахи и краски святых и радостных дней Рождества, о которых мы только в книгах читали. Но до Нового года столько еще воды утечет, воды зимней — холодной, темной...

А пока — еще день, а уже темно, уже сумерки, а во дворе скользко и неудобно. Вот если бы в лес сейчас — это совсем другое.

Наверное, снежные лапы уже укрывают ветви елок, скоро наступит темно-зеленое и ослепительно белое великолепие, здесь и звуки и свет — совсем другие, скрипит снег под ногами, вдруг короткий таинственный шум — то ли птица пролетела, то ли снег упал с не выдержавшей его тяжести ветки...

Войти в настоящий лес, почувствовать себя внутри леса, его частью — в любое время года: тревожной весной, сияющим летом, полной красок осенью или вот белой зимой — это кажется мне исцеляющим средством, но это ведь несбыточная мечта. И все думается: если слягу, неужели моим вечным пейзажем будет одно — то загорающиеся, то потухающие окна 16-этажного дома напротив?

И вот что привиделось мне поздней ноябрьской ночью, когда я засыпала, и впрямь видя эти окна и в который раз удивляясь, зачем это под самой крышей шестнадцатизэтажки, на ровной, без окон и дверей стене, прямо над балконами 16-го этажа возведены никому не нужные пустые балконы?

* * *

Привиделся мне двор в форме чуть вытянутого четырехугольника, замкнутый с трех сторон высокими, глухими, без окон, то ли выкрашенными в серый цвет, то ли просто грязными стенами; у подножья их засыхает жалкая травка, а кроме нее никакой растительности во дворе нет. Четвертая же его сторона — открытая, недалекий вид на поросший уже облетевшим кустарником невысокий обрыв. А за тем обрывом — плохо различимые, серые, печальные дали.

А мне предстоит в этом дворе расстрелять уже умершую близкую мою подругу, и она, понимая, что это неизбежно, спокойно соглашается. Расстрелять за что? Почему? Вопрос не обсуждается, вообще не стоит; всем, однако, ясно, что это простое дело должно произойти обязательно, и выполнить этот тяжкий, но естественный долг, непонятный с точки зрения здравого смысла, но абсолютно понятный а priori всем вокруг, в том числе и жертве, и палачу, должна на сей раз именно я.

Непонятно только, как это сделать: мне протягивают большой тяжелый пистолет; я никогда не держала в руках пистолета, он светло-серого цвета с желтой деревянной рукояткой, и я не понимаю даже, как спустить курок, потому что он плотно прижат к стенке спусковой скобы. Еще мне дают две пули, небольшие,

вытянутые, и я не знаю, куда именно нужно будет их вложить. Как целиться, и сумею ли я попасть в цель? Может быть, надо, как я видела в кино, держать пистолет обеими руками?

Но кто же все это мне дает? И кто принимает роковое решение? Вокруг нет никого, но невидимо присутствуют многочисленные «судьи», действующие решительно, не сомневаясь в своем праве, и заинтересованные в том, чтобы все произошло как можно скорее.

И вдруг по стенам этого мрачного двора мгновенно вытягивается, повторяя их изгибы, длинная очередь полусогнутых серых людей, которые не смотрят по сторонам и беззвучно поспешают друг за другом в строгом порядке, не перегоняя друг друга и не отставая. Там, за углом стены, что-то либо продают, либо «дают». Очередь движется быстро, но совершенно не убывает, и становится ясно, что стрелять в этом дворе нельзя, потому что даже если раздвинуть людей у одной из стен и поставить туда казнимую, возникнет «пробка», ибо люди в очереди движутся хотя и медленно, но не останавливаясь.

Но есть ведь и четвертая, открытая сторона двора. Может быть, стрелять в эту сторону? Мы оборачиваемся к ней, и я с облегчением вижу, что солнце уже зашло, если, впрочем, оно вообще показывалось сегодня на низком небе, кусты потемнели, сумерки почти что скрыли и обрыв, и печальные дали. С облегчением, проистекающим не из сознания, что подруга не умрет, во всяком случае сегодня, а из сознания, что сегодня не придется выполнять работу, которую делать не умеешь, я отдаю пистолет, а две длинненькие гладкие пули заворачиваю в носовой платок и кладу под подушку. Поздно, пора спать, и во сне я начинаю засыпать...

И вдруг словно яркий луч прорезает не осознаваемые до конца ужас и безнадежность: да зачем же мне делать это! Есть же простой выход — отказаться от участия в расстреле, отдать эти две гладенькие пули, лежащие под подушкой, освободиться от не сознаваемого до этой минуты кошмара. Это первое. А второе: убедить подругу дать объяснение (кому?), что на ней нет ни малейшей вины (в чем же ее обвиняли?), и все будет решено до конца. И это так просто!

И тут я проснулась — уже не во сне проснулась, а в действительности, но во власти еще не ушедшего сна пребывая. Уже и окна шестнадцатизатяжки привычно потухли, уже за дверью слышались негромкие звуки и пахло утренняя кофе, а у меня не было

ощущения, что все уже кончилось. Я размышляла о том, почему же мне раньше не пришло в голову такое простое решение — отказаться от роли палача. Боялась я, что ли? Нет, страха не было, а было сознание простой, безусловной и всем понятной неотвратимости намечавшегося действия и главное — глубоко спрятанная уверенность в бесполезности каких-либо усилий и в том, что настанет и мой черед, и все будет так же ясно и просто...

Набоков и его «Приглашение на казнь»? «Процесс» Кафки? Или просто уходящая уже в небытие жизнь людей моего поколения, протекшая в этих сумеречных замкнутых серых дворах и в очередях покорно двигавшихся друг за другом полусогнутых людей? Наши безнадежные ноябрьские пейзажи и сознание, что неотвратимый грустный ноябрь и есть наше главное время года?

2004

Что наша смерть...

Мне все чаще снятся вариации одного и того же сна. Я захожусь не дома, иногда в гостинице, иногда в санатории, иногда где-то на даче, и пришла пора уезжать. То ли к поезду надо спешить, то ли машина сейчас придет, а у меня ничего не готово, вещи не собраны, не сделаны какие-то предотъездные дела, а внутри все время звучит мотив: скорей, скорей! Не успеешь, опоздаешь! Этот навязчивый мотив связан, мне кажется, с тем невероятным ускорением течения жизни, которое каждый человек начинает ощущать довольно рано, скорее всего с того момента, когда его покидает молодость. Дело известное.

Дальше — больше. Возникает странное ощущение, со временем превращающееся в некую константу: жизнь одновременно и на месте стоит, ничего в ней не меняется и меняться уже не может, и в то же время летит со все увеличивающейся скоростью, которая со временем становится просто бешеной. Мелькают дни, недели, месяцы, годы. Помню, давно уже слышала выступление по радио покойного Ролана Быкова, остроумно сетовавшего: «В детстве — поужинал, и еще можно во двор выбежать. Думаешь: как много еще времени, пока мать домой позовет. А теперь что? Лёг-встал, лёг-встал — Новый год!»

И в этом беспощадном, свистящем беге времени не замечаешь того момента, когда наступает старость. Все знают, что это произойдет с каждым, но никто не ожидает, что это будет так

скоро и так неожиданно. «У природы нет плохой погоды...», «надо благодарно принимать...» Да знаем мы все это, знаем...

Все знают также, что старики — кладезь сведений о простых вещах земной жизни, исчезающих вместе с ними, сокровищница воспоминаний о мыслях и рассуждениях простых людей, которые ничем, может быть, не прославились, но составляли соль земли.

Но это знание ничего не меняет — трудно любить стариков с их физическим несовершенством, с их старомодными взглядами, неспособностью присоединиться к жизненным играм молодых и уверенностью, что раньше все было лучше, с их невольной сосредоточенностью на собственных проблемах, что предстает как старческий эгоизм.

Отвлекаюсь от внешней стороны жизни — болезни, немощь. Но внутренняя жизнь — казалось бы, она-то должна стать легче: отпадает множество обязанностей, утихает головная боль по поводу окружающих неурядиц — все равно, ты с ними справиться не можешь. Успокойся, утихомирься... Но нет, ничего подобного не происходит. Старость наступила, болезни на месте, а ты парадоксально не чувствуешь себя старухой, не чувствуешь — и все тут. Голова работает, г-н Альцгеймер еще очень далеко и заменяется пока что почти веселой поговоркой: «ма-разм нам заменяет память». Ты отвергаешь снисхождение, хочешь равенства с молодыми, но разве оно возможно?

И ты очень часто думаешь о смерти.

* * *

Когда перед человеком впервые возникает вопрос о смерти? Вот прекрасные строки Самуила Маршака:

Года четыре был я бессмертен.
Года четыре был я беспечен,
Ибо не знал я о будущей смерти,
Ибо не знал я, что век мой не вечен.

Всего четыре года или пять лет было Самуилу Яковлевичу, когда его, может быть, как и всех в свое время, пронизал холод предчувствия смерти.

Помню, как однажды, когда мне было лет семь, поздно вечером, лежа в постели и простившись на ночь с мамой и папой, я услышала, что за неплотно прикрытой дверью в соседней комнате говорят о чьей-то смерти, обсуждают предстоящие похороны.

Ни с чем не сравнимый ужас испытала я. Впервые в маленькой моей жизни вдруг отчетливо поняла, что умрут все — и мама, и папа, и братья, и все, все, все. До осмысления собственной смерти дело, помню, не дошло, потому что заворочался и засмеялся во сне спавший в одной комнате со мной брат, старше меня на два года. Он проснулся, сел, пробормотал: «Фу, чепуха какая...», повалился на подушку и тут же снова заснул. И я стала думать, как завтра попрошу его рассказать свой сон. Назавтра он ничего не помнил. А меня мысль о смерти наутро уже не занимала.

Лет шесть спустя я оказалась в детском доме, жизнь шла без родителей, и все тайны бытия, общечеловеческого и женского, приходилось открывать самой. В эти годы смерть однажды косвенным образом близко подошла ко мне. Вместе со мной в шестом классе училась девочка не из детдома, а родительская. Худенькая, тихая, много, гораздо больше, чем я, как теперь я понимаю, размышлявшая о жизни, Оля все заговаривала со мной и явно хотела подружиться. Мы, детдомовские, держались обособленной группой и свободное от школы время проводили только дома. Но Оля не раз приглашала меня к себе, и один раз я зашла к ней ненадолго. Олина мама очень радушно угощала нас яблоками из своего сада.

Мы не успели подружиться с Олей, потому что вскоре она тяжело заболела и умерла. Из детдомовских девочек никто ее не навещал, у нее свои подруги были, наверное. Но мне одна девочка из класса передала, что Оле совсем плохо, и она просит меня прийти к ней. А я не сделала этого, боялась. Побоялась и на Олины похороны пойти (никто из детдомовских не пошел), и сейчас вспоминаю все это, как свой грех.

И тогда же я впервые увидела покойника. Умер мастер ткацкой фабрики, находившейся рядом с детдомом, в фабричном клубе была гражданская панихида. Я зашла туда, протиснулась сквозь толпу. На высоком столе, накрытом черной материей, стоял гроб, обитый черным и красным, а в нем лежало нечто, что было и человеком и в тоже время уже совсем не человеком. Я заметила — черный костюм и красные цветы. Это было очень страшно, и я в ужасе убежала, преследуемая запахом еловых веток.

И еще много лет я боялась покойников, боялась смерти. Мама в своих письмах из лагеря уверяла меня, что в молодости смерти бояться все, а потом это проходит. Она была права: я перестала бояться смерти, когда вышла замуж и родила дочку, а покойников, их страшного вида, совсем перестала бояться,

похоронив маму. Это произошло как-то само собой, без долгих размышлений, без чтения философских сочинений, где обсуждается эта великая тема. «Когда мы есть, смерти еще нет, когда смерть наступает — нет уже нас». Эти слова Эпикура, пожалуй, лучше всего определяли мое отношение к смерти.

* * *

Но мысли стариков о смерти совсем другие. По большей части они не боятся ее, но думают о ней все. Смиренно или не смиренно, спокойно или тревожно, готовясь к ней или, наоборот, всячески пытаясь оттянуть ее и внутренне не принимая — все старики понимают, что, в сущности, единственное новое, что им предстоит, — это смерть. И с нею — разгадка величайшей тайны, которая предлагается каждому, сколь бы ни была его судьба отлична от других. В молодости ощущение таково: да ладно, это будет так не скоро, может быть, никогда... Но миллионы стариков — в жалких богадельнях и в богатых домах, где они окружены заботой; те, кому посчастливилось иметь любящих детей и ласковых внуков, и одинокие, бездетные в своих отдельных квартирах; и бомжи, не имеющие пристанища, — миллионы стариков понимают, что смерть — единственная реальная для них перспектива. Иногда желают ее, иногда — нет, но думают о ней, ожидают ее — все.

Счастлив тот, кто с детства впитал в себя божественные истины, в ком живет простая и непререкаемая вера в Бога. А я? Вспоминаю не только себя детских и юношеских лет, вспоминая своих детдомовских подруг, ставших мне почти сестрами. Шли 30-е годы. Никто из взрослых с нами никогда не говорил о том, что Бога нет. Но мы и так это знали с детских лет, это как бы не стоило разговоров, когда кругом было столько проблем. Все это изменилось для меня лишь много лет спустя. И вот я, как и многие, искренне желающие обрести веру, подхожу уже к завершению жизни, а все еще пребываю на полпути к храму. И о смерти думаю, конечно, не совсем так, как думает настоящий верующий человек.

Мысли мои убоги и банальны, но они мои. Я вовсе не жажду смерти, но думаю о ней прежде всего как об избавлении — от физических немощей и от бесчисленных проблем, не желающих отступать ни на шаг; как о настоящем, глубоком успокоении, которого не хватает старикам, не смирившимся с действительностью. Недавно прочитала в письме немецкого писателя Теодора

Фонтане к жене, как он, думая о смерти, спокойно вспоминает присловье, которое повторяли актеры, чтобы в день предстоящего спектакля справиться с боязнью рампы: «В 9 все будет уже позади» («Um 9 ist alles aus»).

А если шире — я думаю, что жизнь и смерть человека — это нечто единое, и последняя точка — не конец, а завершение, венце всего, что пережил и сделал человек за годы своей долгой или недолгой жизни. Не обрыв надежд, мечтаний, не обрыв того, что удалось сделать в жизни. Нить не порвалась. Земные дела, земные чувства завершены, мы на пороге разгадки величайшей божественной тайны! И никогда не покидает меня простодушная мысль о том, что, может быть, я смогу обнять потерянных в детстве любимых людей, и они будут меня любить.

И какая же все-таки это удивительная история — жизнь и смерть всякого человека!

2011

«Ганю моя...»

Лежу на больничной койке, поглядываю в окно, там виднеется кромка жидких деревьев лесопарка, слабо дымит труба прачечной, медленно движется трактор, прокладывающий в глубоком снегу путь между больничными корпусами. Моя соседка бабушка Анна Захаровна стоит у окна, всматривается в лес и углядывает на опушке, между деревьев, маленькую покосившуюся избушку. Прямо из сказки. Что за избушка? «У нас таких нет, — говорит она, — у нас на Украине хаты большие, вот хотя бы и у меня — и дом большой, и двор большой».

Два дня назад открылась дверь, и в кресле на колесиках в палату въехала маленькая худенькая старушка, сопровождаемая двумя мужчинами. Они осторожно пересадили ее на кровать, помогли разобрать вещи, поговорили с доктором, почтительно попрощались и ушли. Старушка повернулась ко мне и сказала:

— Ну, здравствуйте, сусідка. Надо нам познакомиться. Вас как зовут?

Я назвала себя.

— А вас?

— Меня — Анна.

Сусідка моя говорила, смешивая родной украинский язык с русским, порой я не понимала ее и просила повторить. Иногда к ней приходила ее невестка, украинка, жена одного из тех двух

мужчин, которые обращались к ней на «вы» и были, оказывается, ее сыновьями, и тогда неспешный разговор двух женщин на украинском звучал просто как музыка. Сыновья говорили по-русски.

На тумбочке рядом с ее кроватью в порядке разложены мелочи, с краю лежат очки, которые она всякий раз заботливо укладывает в футляр, а рядом — небольшая потрепанная книжка.

— Что вы читаете? — спрашиваю я Анну Захаровну.

— Это «Кобзарь», хотите, Светочка, почитать? Тут и по-украински, и по-русски.

Анна Захаровна маленького роста, миловидное лицо с небольшим аккуратным носиком и серыми глазами излучает доброту и внимание к собеседнику — это очень редкое и очень важное качество. Ей 83 года, а выглядит она гораздо моложе, несмотря на морщины. Она еле ходит: ноги двигаются совсем плохо и быстро устают. На ней всегда халат — ну, какая еще одежда в больнице для старого человека, на ногах — красивые полосатые шерстяные чулки до колен, на голове — неизменный платок домиком. Она снимает его только на ночь, после того, как, став где-нибудь в уголке, спиной ко мне, тихо прошепчет недолгие молитвы. Рука ее, как я видела, привычно поднималась и опускалась в крестном знамении.

Анна Захаровна приехала в Москву к сыновьям издалека. Ее деревня находится в западной части Украины, от Жмеринки добираться до райцентра, а оттуда еще километров 15 до деревни. Она живет там у себя дома совсем одна — все лето до поздней осени, а затем сыновья приезжают за ней, и зиму она проводит в Москве.

— Анна Захаровна, — спрашиваю я, — а что же, совсем в Москву не хотите перебраться? Сыновья-то зовут?

— Как не звать? Уговаривают. Да что я тут делать буду? Там у меня дом, шагну — и во дворе. У меня кухня летняя, баня. Ступлю на порог — сверху виноград кистями, он у меня вьется, над кухней тоже. Огород, куричек держу, гуси были...

— А вы можете сами в огороде работать?

— Да нет уж, только так, для видимости. Наймаю людей. Корову давно продала. Младший мой очень зовет сюда, вот его жена — украинка. Говорит: «Будешь с нами по-украински болтать». А я — нет, там у меня дом, там батьки лежат, муж тоже рядом с ними, куда ж я от них... Я и то боюсь — вдруг здесь помру, отвезут ли они меня в деревню? Светочка, — она вдруг

переходит на шепот и даже наклоняется ко мне, — а правда, что здесь покойников палят?

Я не сразу поняла, о чем она спрашивает, потом кивнула. Говорю, что если умершего кремируют, то сначала отпевают в церкви. Можно покойника и в земле похоронить.

— Знаю я. Только дорого это очень. Нет, пусть домой, в деревню везут. У меня там все припасено, уж лет двадцать собираю.

— А что собираете-то?

— Ой, вы думаете, только то приготовлено, что на меня наденут? Нет, у нас, знаете, как хоронят? Я уж полные две наволоки собрала...

— И что в тех наволоках?

— Ну вот, — начинает она с видимым удовольствием. — Проводить-то придут и родственники, и вся деревня, она у нас большая. И из других деревень придут. Столы накроют в доме, а по летнему времени — во дворе. Сколько скатертей нужно! Вот они лежат в тех наволоках. И всех гостей нужно одарить. Станут гроб выносить. Это шесть мужиков здоровых. Каждому надо рушник и калач дать. Крышу от гроба шесть баб понесут, каждой — платок и калач. Певчие идут. Каждому мужику — рушник и калач, бабам — платок и калач. А в могилу опускать да закапывать? А кто дома кухарит, поминки готовит? Всем нужно. И платки, Светочка, не такие, как вот сейчас у меня — простой, а китайские, цветные. Вот все это у меня заготовлено. А только, — смеется она, — все время обновлять надо. Вот сюда поехала, у меня 6 внуков и 14 правнуков, так всем девчонкам платки привезла, из наволочек тех достала, теперь докупать буду.

— Прямо как к свадьбе готовитесь.

— А что же? Так и есть. Праздник последний...

Анна Захаровна много рассказывала о своей жизни в деревне. В моей передаче всю свою прелесть теряет ее певучая украинская речь, хотя и перемежаемая русскими словами.

Тяжелая работа и постоянное недоедание — полжизни так прошло, говорит она. Настоящий голод переживали три раза — 30-е годы, 1943-й и 1947-й. Рассказывала, как в колхозы загоняли, а «куркулей» увозили куда-то, говорили — в Сибирь. А хлеб отбирали у всех до зернышка, и у них нашли и отобрали, как мать ни прятала. Вспоминала невыносимо тяжелую работу в колхозе «за палки», сиречь за пустые трудодни. «И все руками, руками вот этими».

Но не сразу рассказала она про самое, может быть, яркое в ее жизни, но и самое трагическое. Это было, может, и подзабыто в долгой супружеской жизни, в постоянной работе, в заботах о том, как вырастить и довести до ума троих сыновей (старший, вспоминала она с горечью, «с шести років» работать пошел — пас двух соседских коров).

Я все расспрашивала Анну Захаровну, как пережила она войну. Мать ее, рассказывала она, тогда давно уже умерла, отец вскоре женился и привел в дом, к четверым своим детям, мачеху. «Ух, и злыдня ж попалась! — говорила Анна Захаровна, — а я старшая была. На мне вся работа и за все в ответе. А в 42-м тиф всех косил, тут и батька моего Господь прибрал, и сестру младшенькую.

— А немцы были у вас? Много вы от них потерпели?

— Нет, немців не было, у нас румыны стояли, это не то, что немці, все же полегче было. От нас и в Германию не угоняли. И потом...

Она почему-то еле заметно улыбается и крестится.

— Ну, расскажите, — прошу я.

— Ой, Светочка, знаете, в деревне враг — румыны стоят, а ночью партизаны приходят. Стукнут в окошко потихоньку, мы открываем, они заходят — из лесу, грязные, вшивые да и голодные. Помыть надо, накормить. Сварим картошки, в темноте едят. У нас в доме румын не поставили, потому что отец сказал, будто у младшей девочки поганая болезнь. Партизаны эти валются поближе к печке и как захрапят. А мы дрожим — не дай Бог кто услышит да заявится. Еще до рассвета они уйдут, конечно, а заберут не хуже, чем те румыны, — яйца, сало, пару-тройку курок — шеи свернут и в мешок. Мы уж молчим, девчонки мои на печке лежат, только смотрят. Я, бывало, сердилась очень, до одного случая думала — не лучше они румын.

— А что за случай?

— А вот оказалось, зря я про партизан так думала. Румын зайдет в дом, заберет, что ему надо, так ведь он и с автоматом, мало что ему в голову взбредет. А некоторые, дурные, любили детей пугать — автомат наставят и смеются. И говорят по-своему, а что он себе думает — кто ж его знает. И вот один раз, это в самом конце августа было, сразу два случая. Партизаны мост взорвали, а у нас за околицей румыны нашли убитого своего солдата. Кто убил, когда — так и не дознались, да недолго они и

старались-то узнать. Утром слышу — по всей деревне крик, бабы голосят. Солдаты идут, подойдут к избе, стекла выбьют, дальше идут. Баб, дедов старых и ребятишек гонят на скотный двор, от нашей хаты далеко. Ну, не очень они старались всех загнать, мы вот в подпол спрятались, нас и не погнали. Согнали они так людей, переводчик ихний спрашивает: «Кто убил солдата? Где партизаны? Последний раз спрашиваю». Все молчат. Тогда всех в коровник затолкали, выходы закрыли, тащат бензин. Тут все поняли, что жечь будут. Такой вой поднялся, что и мы в подполе слышали. Потом слышу — два выстрела, и тишина. Я вылезла, поглядела в окно потихоньку, вижу — стоят румыны кучкой, а перед ними на коне офицер, какую-то бумагу им читает и рукой машет — отпускайте, мол. Коровник открыли, все как побегут по домам, только старики еле ковыляют. Мы вылезли, я вышла, спрашиваю, как и что. Сказали, что румынский офицер прискакал с приказом отменить «екзекуцию». А потом оказалось, что это наш партизан был, в румынскую форму переодетый. Так партизаны нашу деревню спасли.

— А что за выстрелы были? Все же убили кого-то?

Анна Захаровна крестится и утирает слезы кончиком платка.

— Это румыны двух своих застрелили — они не захотели поджигать. Царство им небесное.

И Анна Захаровна вдруг заливается слезами. В этот момент открывается дверь палаты, заглядывает сестра: «Шведюк, на блокаду!» Анна Захаровна утирает слезы, берет палочку и, держась за стенку, отправляется на уколы. Возвращается не скоро, ложится, прикрыв глаза. Я не решаюсь возобновить разговор.

Но вечером, в тот невеселый больничный час, когда все дневные дела уже позади, а спать ложиться еще не время, она говорит:

— Так я вам не договорила. А вот вспомнила все и из головы не выходит.

— Ой, Анна Захаровна, расскажите. Только вы не плачьте...

— Вот, Светочка, почему я заплакала-то. Каждый раз плачу, как вспомню. Застрелили они двоих. Наши бабы, что в коровнике заперты были, все видели в щели. Притащили солдаты бензину. Офицер что-то говорит по-ихнему и указывает двоим зайти с двух концов и запалить. Один из них Ион был, ну, по-нашему, Иван. И вот Иван опустил голову и что-то говорит, что начальнику не нравится. Тот как закричит! А Иван только головой мотает — нет, не буду. Второй молчит, рядом стоит.

Тогда офицер этот махнул рукой, и их двоих поволокли за сарай, а там два выстрела и хлопнули. Вернулись расстрельщики — то эти, один весь трясется, белый, как полотно, и вывернуло тут его. Офицер сплюнул, выругался по-нашему, это они быстро научились, повернулся снова команду давать, а тут по дороге к деревне конь прямо летит, а всадник рукой машет. Я уж говорила. Всех и отпустили.

И вот когда бабы домой шли мимо нас, подруга моя к окошку подошла и говорит: «Ганна, твоего убили... Засараем лежит». Светочка, ведь это он, Иван, нас предупредил, что палить будут, мы с девчонками и попрятались. Ночью я пошла потихоньку за сарай, луна полная была, вижу, лежат они двое, у Ивана нога подвернута, глаза открытые. Я им глаза закрыла, думаю — похоронить? А тут голоса, я за сараем сховалась, смотрю — идут солдаты, человек пять. Вырыли могилу глубокую, завернули каждого отдельно и положили — бережно так, видать, что жалеют. Закопали, холмик насыпали, молитву прочитали, перекрестились по-нашему, они ведь православные, румыны эти, поклонились могиле и ушли. Я к холмику этому прижалась, посидела немножко да и поплелась домой. Слез тогда не было у меня. Ужас только и страх.

А дело-то в том, Светочка, что я беременна была от Ивана этого. Мне двадцать лет сполнилось, когда они пришли, в 41-ом. А что я до этого видела? Работа, работа, мачеха злая, три девчонки на мне, уже невеститься мне пора, да о чем тут думать — война, оккупация. В начале 42-го тиф покатился, отец умер, мачеха ушла в свою деревню, больше мы ее и не видели, слава Богу.

И вот в начале лета этот Ион проходил мимо, а я дрова колола и топором себе по пальцу на ноге попала, чуть ли совсем не отрубила. Кровища хлещет. Сестренка побежала, тряпку принесла, замотали, а тряпка уже вся в крови. Ион вдруг как кинулся бежать, возвращается с бинтами. Йоду притащил, поливает, а сам дует мне на ногу, забинтовали, кое-как кровь остановилась. Ион не уходит, улыбается, за руку взял. Был он невысокий, но ладный такой, черный, как цыган или же молдаванин. Зубы блестят, глаза черные. Потом ушел, а когда стемнело, вернулся, принес нам хлеба, колбасы, сала ихнего, нам незнакомого, сахару. Вывалил все на стол, а в руке книжку маленькую держит и мне показывает. На обложке написано что-то не по-нашему, а ниже — «Разговорник». Там еще карта Украины была. Смотрит в книжку эту,

пальцем себе в грудь ткнул: «Ион». Я говорю: «Иван?» Засмеялся: «Иван, Иван. А ты?» «Ганна». Так мы и познакомились.

И вот дня не проходит, чтоб нам не увидеться. То он просто мимо двора идет, а я увижу и скорей на крыльцо. С отцовой смерти или даже еще раньше только темное да ветхое на себя напяливала — и настроения не было, и боялась, конечно, чтобы солдаты не глянули. А тут вытащила из сундука нашу украинскую кофту, знаете — без ворота, спереди расшитую и по рукавам; красиво очень, монисты нацепила. Ион зайти не может, а улыбнется так, что зубы сверкают. Потом стал и поздно вечером приходить. Сперва все тот разговорник в руках держал, а потом уж книжка нам не нужна стала: и я несколько словечек запомнила, а он еще лучше меня запоминал. В хату зайдет, продукты выложит, девчонкам улыбнется, потом меня за руку тянет, пойдем, мол, погуляем. Бывало, сядем в стог, а как луна выйдет, передвигаемся, чтоб нас не видать было.

Дело молодое, сами знаете, Светочка, как бывает. Он такой горячий был, такой ласковый. Обнимет меня, сначала все повторял: «Ганю моя...», потом, видно, выучил из книжки, говорит: «Беленькая ты у меня, сахарная», косу просит распустить. А у меня, правда, лицо белое-белое было, а коса черная ниже задницы. Я косу расплету, а он волосами моими свое лицо закроет и целует. Разговоров между нами мало было, а полюбила я его крепко, хотя и страсть как боялась. А ну как узнают? А уж узнать неминуемо было, потому как к концу лета поняла я, что понесла. Я плакала — от страху, конечно, что с нами будет. А он радовался, смеялся, слезы мои косой утирает. «Войне скоро конец, — говорит, — уедем мы с тобой. Да нет, я тебя раньше увезу — мне скоро отпуск положен. Мама у меня в деревне живет, недалеко от города Яссы. Она тебя как родную примет, внук ей в радость будет. Я ей сейчас напишу, солдат один домой едет, он передаст. А сестры твои — ну, что же, хватит ты на них поработала. Теперь пусть сами. Правда? Поедешь?» «Ну, как не поехать!» Надежде, сестре моей, девятнадцать было. В деревне это уж и работница, и невеста. Но им я ничего не говорила. Думаю, только бы уехать, пока живот не начал расти.

— Иван, — говорю, — родимый мой, только бы ребеночек здоровый родился. И уж не здесь.

— Не бойся, Ганю моя...

А я с той поры стала всего бояться. Партизаны пришли на ночлег, спрашивают:

— А откуда сахар у тебя?

И смотрят так это подозрительно.

— Выменяла, — отвечаю, — вон младшая девка совсем худая у меня... Захряпят они — боюсь, румыны услышат, прибегут. Ивана-то я всегда предупрежу, когда партизаны в доме. Вот так из огня да в полымя. Боюсь, тошнить начнет — соседи все поймут. Про нас ведь некоторые догадывались. Только с Иваном не страшно мне было. Он уже матери письмо отправил, ждали ответа. Как увидимся, все живот мой гладил и ухо прикладывал. А я смеюся — рано слушаешь! Так мне с ним спокойно было, хорошо...

Вот тут и пришел тот страшный день. Как я его пережила — не знаю. Нет больше моего Ивана... А дитя? Что с ним-то будет, а что со мной сделают, как узнают? И вот плакала я, плакала, и решила, чтобы ребеночку не родиться. Не судите вы меня, Светочка, Господь мне судья. Всю жизнь страшный свой грех замаливаю. Пошла я в дальнюю деревню к старушке одной, которая заговоры знала и травами лечила. Она меня и научила, что делать, отвар травяной дала, живот помяла до боли, пошептала надо мной. «Выкинешь, девка, — говорит. — Ну, ничего, Бог простит». Пришла я домой, все сделала, как она научила, на третий день рано утром в огороде картошку копали, живот так схватило, что все я бросила и в баню бегом. Надюшке говорю: «Никому ни слова, и ко мне не заходите». Там и пролежала весь день и всю ночь, стонать боюсь, зубы сжала, губы покусала. На другое утро воды нагрела, вымылась да и в огород — картошку надо выкопать или нет? Так и обошлось.

В 43-м румыны из деревни ушли, наши уже наступали. Вот как-то из другой деревни крестная ко мне пришла. «У нас, — говорит, — двое раненых мужиков вернулись, один без руки, но мужик сильный, хороший. Может, сладитесь? Ему жить негде, дом спалили, а тебе всё полегче будет». Ну, там разговоры, смотрины. В общем, приняла я его к себе, кое-как обустроились, и в 44-м у нас уже старший сынок родился. Хозяин мой говорит: «Давай Иваном назовем». У меня сердце прямо зашло. Я ведь мужу про Иона ничего не сказала. Ну, время идет, заботы да хлопоты. Война кончается, наши пришли.

В конце мая 45-го еще переживание мне вышло. Муж в райцентр уехал, я одна с Ванюшкой годовалым во дворе была. Слышу — стучат в калитку. Открываю — стоит женщина, вся в черном, и голова черным покрыта. Бледная, худая. Спросила

она Ганну, меня в жар бросило. Я сразу догадалась, кто это. «Я мать Иона, — говорит, — а это внук мой?» — и на Ваню указывает. Я ей все рассказала, как могла, — и про то, как сын ее погиб, и что со мной было. Ничего от нее не утаила. Она очень хорошая женщина оказалась. Поплакали мы с ней вволю, пошли туда, где сын ее похоронен был. Я холмик-то поправляла и цветочков, бывало, принесу. Помолились мы с ней, и она ушла, не захотела остаться. Да и то — как бы я мужу все объяснила?

Но все же на другой день я рассказала Петру, как этих двоих убили и за что: «Давай, — говорю, — крест на могилке поставим. Они нам не враги были». Сделал он крест, покрыли его лаком, поставили там, и стали иногда даже и другие бабы приходить туда — ведь те двое, может быть, деревню от смерти спасли — дело затянулось, а тут и конь примчался. Креста этого теперь уж нет, не знаю, что с ним стало. А я, как в храм иду, всегда Ивана своего поминаю. Ой, Светочка, девять часов!

Анна Захаровна, при всей своей мягкости, почему-то проявляла большую твердость в соблюдении больничного режима: в девять вечера она требовала погасить свет и спать. И мы всегда это выполняли, хотя ни она, ни я так рано заснуть не могли. Так и в тот вечер долго ворочались.

— Не спите, Анна Захаровна? — спросила я.

— Да вот все думаю: вся жизнь семейная у меня спокойная вышла, а как вспомню Ивана — редко приходится, ведь никто этого не знает, сестра только, — так будто звездочка загорается, долго не гаснет.

2005

Рассказ эстонской бабушки Аманды

Иосиф Бродский, вспоминая о том, как его везли по этапу в архангельскую ссылку, рассказывал о встрече с сидевшим напротив него в вагонзаке пожилым крестьянином, осужденным за кражу мешка овса. Слушая его нехитрый рассказ, поэт подумал, что за него, Бродского, станут хлопотать, и судьба его еще переменится, а вот этот сидящий напротив него никому не известный человек будет забыт и канет в Лету.

И вот — мы, кому повезло, несмотря на все выпавшие на нашу долю испытания и пережитые трагедии, выжить и выстроить более или менее нормальную жизнь, пишем воспоминания о себе и своих несчастьях, а сотни тысяч людей, которым

повезло меньше, хотя наши жизни были сломаны одной и той же чудовищной машиной советской власти, так и останутся неизвестными и будут поминаться только как составные цифры безумного числа убитых, искалеченных физически и душевно или же сумевших выжить и продолжить свою жизнь, несмотря ни на что. И воссоздание жизни любого из них — хотя бы прозрачное, на листе бумаги, представляется мне не менее важным, чем обширные воспоминания о собственной судьбе. Тем более, что наши судьбы перекликаются. Страдания, пережитые семьей эстонской крестьянки, и гибель моей семьи — это звенья одной цепи чудовищных Сталинских репрессий.

Во время счастливого отпуска, который в середине 70-х годов я проводила в маленьком эстонском местечке Хяэдемеесте, близ Пярну, мне довелось познакомиться с восьмидесятилетней эстонкой Амандой Ивановной, которая однажды рассказала нам кое-что из истории своей жизни. В этой истории нет, вероятно, ничего особенно отличающегося от историй тысяч эстонцев, попавших в имперскую мясорубку, но подробности, переданные рассказчицей бесхитростно, беззлобно и без всякого нажима, делают эту историю совершенно живой.

На маленький хутор Аманды Ивановны мы шли сухой лесной дорогой, по краям которой цвел вереск и виднелись заросли черники и малины. Она жила одна в доме, в незапамятные времена построенном ее мужем. После трудной батрацкой юности там начиналась ее счастливая семейная жизнь и жизнь ее троих детей — сыновей Энделя и Юло и дочки Хелле. У Аманды Ивановны живое и доброе лицо, загорелое, все в светлых лучах морщин, которые нисколько ее не портят. Веселая и лукавая улыбка, длинный нос. Она похожа на Буратино, — говорит моя спутница, знакомая с ней уже несколько лет, и это верно. А ведь Буратино был очень милый. Аманда Ивановна высокого роста, худая, прямая, ноги чуть искривлены, но видно, что это от тяжелой работы всю жизнь. И руки как у всех крестьянок — толстые жилы, кривые пальцы с короткими ногтями. Но их движения точны и выразительны. Она всегда красиво одета; помимо того, что обладает вкусом — это видно по убранству ее комнаты, — дочка ее вышла замуж в Англию (эстонец, перемещенное лицо, решил жениться только на эстонке, живущей у себя на родине, несколько раз приезжал в Таллинн в поисках невесты и, наконец, нашел-таки Хелле и увез ее с собой), она и посылает матери красивые одежды.

В Аманде Ивановне живет истинная интеллигентность и природный ум; она очень любит читать и петь песни и жалеет,

что мало приходится петь — в редкие дни, когда приезжают к ней сыновья со своими семьями. По-русски говорит свободно, иногда только употребляет свои, эстонские, слова.

«Дочка просит, — говорит Аманда Ивановна, — напиши для меня о своей жизни. А я написала бы так: детство, рабство, замужество, ссылка, старость». И она начинает рассказывать. Я слушаю, стараясь не пропустить ни слова, принимая душой к судьбе этой старой женщины в платочке домиком. Вот ее рассказ, как я его запомнила и записала тем же вечером.

Это было 15 июня 1941 года, в воскресенье. В четверг у моего деверя умерла жена, она долго болела, ее маленькая девочка давно уже у меня была. В воскресенье похороны назначены, ждали людей. Но в субботу пришел деверь и говорит: «Что делать будем, не долежит она до воскресенья, она ведь полная». В субботу утром стали рыть могилу, похоронили только своей семьей. Деверь говорит: «Я не могу один в своем доме, пусто, страшно». Остались все у нас.

В воскресенье утром милый мой муж Юхан ушел рано утром к морю, он там на берегу работал. Я встала, выгнала коров, приготовила еду Энделю, старшему, он в лес собирался — там работал, там и жил всю неделю. Нажарила ему салаки, молока приготовила, копченую свинину положила. Он уехал на велосипеде. Сама прилегла опять. Вдруг стук в дверь:

— Открывайте!

— Так что же открывать? Там все открыто.

Опять стучат громко:

— Открывайте!

Я встала, открыла. Стоят трое с оружием и двое соседей. Один русский, маленького роста, достает бумагу, говорит:

— Вы такая-то?

— Я.

— А где ваш муж?

Пошли за ним на берег.

— П. Эндель, П. Юло, П. Хелле — здесь?

Хелле маленькой было два года, Эндель в лесу, Юло дома. Пришел Юхан. Стали читать бумагу, я плохо понимала, но поняла, что будут увозить.

— Собирайтесь!

— Что собирать?

— Что можете. На скотину, дом, вещи напишете бумагу кому-нибудь из родственников, они могут продать и вам выслать деньги.

Послали в Хяздемеесте за моей теткой. А ведь мы уже выбились тогда из последней нужды, с мужем вдвоем раскорчевали участок, у нас поле было, построили этот дом, имели двух коров, коня, овец, кур. Не знала я, что собирать. Русский тот хороший был, он нас жалел, объяснял: «Берите еду, сколько можете. Возьмите котел, там, где жить будете, можно будет в нем еду варить».

Пришла тетка, на нее написали бумагу об имуществе, за Энделем деверь поехал. Он уж понял, что нас увозят, хотел сказать Энделю, чтобы в лесу спрятался, да ведь и там найдут... Я собрала крупу, копченую свинину, муку, сахар — что было, немало. Стали выводить во двор, велели залезать в грузовик. А там уже двое сидят — муж и жена, недалеко жили, на своем хуторе. А кругом люди стоят — на похороны ведь пришли! На нас смотрят, кто плачет, кто ничего не понимает.

Повезли нас в Пярну, прямо на вокзал. Там уже нас таких много, были тут знаменитые пярнуские богачи — Ерик, например. У него магазины были богатые, просто миллионер был; жена у него украинка, ко мне прибивается; еще и другие, с женами и детьми. У одного жену взяли из родильного дома, у нее на руках был мальчик трех — четырех дней от роду и еще рядом девочка.

Разделили нас с мужиками: их в один вагон, нас в другой. В нашем вагоне несколько нар в углу, туда я прошла с детьми и другие, у кого маленькие дети. Посредине вагона в полу дыра, в нее ходили по нужде, а из вагона не выпускали. Есть, кроме хлеба, ничего не давали. Сами готовили кое-как — у кого примус, у кого спиртовка. Я матери маленького мальчика давала манну, сахар, она кашу варила. Но ребеночек ее дней через пять умер. Она ничего, но как же муж ее убивался! Его пустили к ней, как же он плакал и все повторял имя жены: «Сусанна, Сусанна!» В Новосибирске ей разрешили выйти и похоронить мальчика.

На одной остановке говорю солдату:

— Пустите поговорить с сыном и с мужем.

— Знаешь, в каком вагоне?

— Знаю.

— Ну, иди.

Подошла к вагону, где Эндель, зову его к себе, ему было 14 лет. Он не хочет, говорит:

— Не пойду.

— Ты что, с ума сошел, от семьи хочешь отделиться?

Взяла его. Юхан в своем вагоне к двери так и кинулся:

— Живы? — говорит.

Я говорю:

— У нас денег совсем нет.

Дал он мне денег, тут уже гонят в вагон.

Ехали мы восемь суток, не знали, что война уже началась. И вдруг говорят: «Отцепляют мужиковские вагоны!» Девки выставили в щель зеркальце и смотрят в него, что в хвосте делается. Нет мужиковских вагонов! Как тут закричали, заплакали, в двери стучим. А что сделаешь? Никто не отвечает. На остановке посмотрим — и правда нет. Так и попали они совсем в другое место, далеко от нас. А Юхана, моего милого мужа, я больше не видела, он вскоре же умер, мне один мужик рассказал, что Юхан тогда только о нас и печалился.

А нас привезли в Сибирь, выгрузили на площадь у вокзала. Объявляют: поедете в деревню Петровка, будете все работать в колхозе. Опять на грузовик, да не посадили, а всех поставили: сесть нельзя было, так набито, вещи в ногах, дети на руках кое-как.

Приехали на место. Сначала давали хлеб из сельпо по 400 г, у меня с детьми получалось 1600. Работать гоняли, как скотину. Все лето я так работала, что бригадир мне говорит: «Ты, девка, не старайся так, все равно ничего не получишь». Но я другому не могла, так с детства приучена. А осенью вызвали в сельсовет и сказали: «Всё, хлеба вам больше не будет, хлеб фронту нужен, а ваш хлеб в поле остался, вы его не убрали». Все закричали, заплакали. Вера Ерик кричала, что утопится, — чем же детей кормить? Но у наших эстонцев, богатых, все же еще было, что продавать, а у меня трое ребят, молодейшей (*так говорит А.И.*) Хелле — 3 года. Как жить?

Зимой один мужик из соседней деревни говорит: я куплю костюм для мальчика. А у меня был костюм Юло. Я и пошла с этим костюмом и с санками. Мужик посмотрел, говорит:

— Дам пуд овса.

— А куда же мне с овсом? Мельницы же нету, что я буду с овсом делать, дай муки.

— Нет!

Не продала я костюм, к вечеру собралась обратно, путь далекий, всего семь километров. Одна баба дала мне несколько вареных картошек, я их за пазуху — детям. Когда выходила из деревни, одна баба говорит: «Тетя, не ходи, буран начинается». А я думаю: семь километров, я быстро, и пошла. Буран начался, но я видела дорогу по столбам. А недалеко от Петровки я решила пойти покороче и свернула в низкое место. Метель все

сильнее, снег уже по пояс. Потом по грудь, дороги нет, и столбы я потеряла. Уже вдали огни, а идти не могу, снег уже по шею, не могу двинуться, санки замело. Думаю: всё, сейчас заметет, замёрзну, и хорошо. Но дети, дети! Мои дети, они же ждут! Слава Богу, слышу чей-то голос, все силы собрала и сама подала голос. И он услышал, это был пасечник, ехал из лесу с дровами. Он ко мне свернул: «Что же ты, тетка, ведь ты умрешь, вот же дорога рядом». Вытащил меня, санки прицепил к возу, меня посадил и довез до дому. Я вошла, дети ко мне. Я им картошки сую, а сама стала так громко плакать, не могу остановиться. Плакала всю ночь, не могли меня успокоить.

А что мы ели? Иди в поле — осот, крапива — все твое. Из осота лепешки делали — животы болели страшно. Из крапивы щи, но ведь одна крапива, ни одной картули (картошки). Но, правда, сыновья уже работать начинали, как могли. Эндель даже приладилась стричь деревенских, он, когда отправляли нас, в карман стриженую машинку сунул и теперь ходил стричь, придет с баночкой молока. А хлеба у тамошних не было. Когда мы приехали, они говорили: «Мы два года уже хлеба не видели, у нас дети, когда есть хотят, хлеба не просят, как ваши, а говорят: дай картули, каши дай...»

Конечно, и я, и дети мои умерли бы, нас то спасло, что я умела сети плести. Пришли как-то, говорят: «Кто умеет сети вязать?» А меня свекровка научила, я не хотела учиться, а она говорит: «Учись, в жизни пригодится». Вот она нас и спасла. Я говорю: «Я умею». Стали смотреть, как я вяжу. А вязать надо так, чтобы узел не двигался. И я вяжу не так, как они, — они два движения делают, а я одно. Позвали стариков, спрашивают:

— Годится?

Те посмотрели, говорят:

— Хорошо.

Дали мне вязать сети и за это платили деньгами и хлеб давали. Другие эстонки приходили ко мне, просили научить, я учила. Но тут ведь и скорость нужна — метры, метры! Так я одна и вязала. Тут и Юло стал работать, а было ему 15 лет.

Я вижу, что Аманда Ивановна, хотя и говорит спокойно, глядя куда-то вдаль, все-таки начинает волноваться, и мы попросили ее не рассказывать дальше.

Так прожили они в Сибири 15 лет, Юло и Эндель оба женились там на русских девушках, и в 1956 году все вернулись в Эстонию,

в тот чудом сохранившийся дом, в котором мы слушали рассказ бабушки Аманды Ивановны.

Я слушала ее и испытывала неопределенное чувство вины. Думала и о своем, и даже попыталась сказать, что и я, и многие русские испытали нечто подобное. Но она была так захвачена своим, что моего воспринять, конечно, совсем не могла...

2011

Кремлевские отцы и кремлевские дети

В отличие от тех представителей славного племени интеллигенции, которые смотреть телевизор считают дурным тоном и, кажется, опасаются, как бы не зомбировал их этот вредоносный «ящик», я смотрю его, не слишком много и выборочно, но смотрю. Как-то нажала кнопку — по первому каналу идет передача «Малахов +». Тема: «Тайна кремлевской таблетки». Ах, как жаль, что не с начала смотрела, может быть, разгадку этой тайны узнала бы! Но мне хватило и того, что увидела.

На экране известный политолог Вячеслав Никонов. В этой передаче он — внук долгожителя В.М. Молотова (умер в возрасте 96 лет!) — рассказывает об образе жизни своего деда. Говорит: дед питался просто, на обед любил молочный суп с лапшой, на третье всегда одно и то же — компот или кисель. Много ходил, много работал, писал, все это и позволило ему надолго сохранить здоровье.

Присутствующие аплодируют внуку, аплодисменты относятся и к дедушке, такому скромному: компот или кисель на третье...

Слушаю и поражаюсь. Ну хорошо, он рассказывает о своем дедушке, о родном человеке. Но дедушка этот подписал сотни расстрельных приговоров. Среди расстрелянных были люди, которых он хорошо знал и о которых не мог предполагать, что они изменили его родине, его партии. С легким сердцем отправил их на смерть. Внук, историк, пишущий книгу о дедушке, рассуждающий о его руководстве внешней политикой, он что, не знает о его палаческой роли? Забыл?

Я и прежде видела Никонова в роли воспоминателя о своем замечательном дедушке и поражалась спокойствию рассказа о простых привычках и интеллектуальной полноценности престарелого деда. Слушала и думала неизменно: ну, замолчи ты лучше,

я понимаю и признаю твои личные чувства, но замолчи, не надо. Или скажи всю правду об этом любителе молочной лапши.

Но я, наверное, ошибаюсь. Сказать всю правду о преступной деятельности своего дедушки или даже отречься от него, как в сталинские времена требовали от детей врагов народа публичного отречения от родителей? Нет, это было бы неестественно и бесчеловечно.

Разоблачать преступления — не дело детей и внуков. Вот почему я всегда с опаской воспринимала и воспринимаю появление таких книг, как записки Светланы Аллилуевой или книгу Сергея Берия, выступления детей А. Микояна или детей Н.С. Хрущева. Чтобы сохранить достоинство и в то же время не покривить душой, им требуется величайшая тактичность, и не все они ею обладают.

Я не раз размышляла о судьбе потомков сталинских припешников, о том, каким образом им следует себя вести, если их жизнь становится публичной, или если их донимает писательский зуд и невыносимо хочется написать что-нибудь про своих предков, или хотя бы с экрана телевизора рассказать про них всю правду-матку, как они ее понимают.

Я сочувствую этим людям: их положение нелегко, невольно хочется — ну, очень хочется если не обелить перед историей и перед людьми своих родных, которые их в младенчестве на руках качали, то хоть обойти то ужасное, что составляло немало-важную сторону жизни отцов, и рассказать что-нибудь самое простое и безобидное, ну вот, например, касательно их повседневных привычек.

Но это, по-моему, тоже неестественно и выглядит просто смешно, как выглядело упомянутое мною выступление Никонова.

Как же быть?

Лучше всего — промолчать. Выступить только в случае клеветы на отцов и дедов, если у тебя есть неопровержимые доказательства, что это клевета.

Но если уж не получается промолчать, то прежде чем поведать о молочной лапше, следует не просто сказать, как это делает Никонов, что он пишет не о члене Политбюро ЦК ВКП(б), а всего лишь о своем дедушке, но выразить совершенно определенное, твердое отношение (если оно у внука, конечно, есть) к темной стороне его деятельности. Можно к этому не возвращаться, но придерживаться такой позиции надо неизменно, и она должна чувствоваться всегда.

Вернусь к телепередаче. Дальше речь пошла о Сталине. Ведущая передачи актриса Е.Проклова рассказывала, что было, когда вождя народов свалил инсульт. Со всех концов страны посыпались советы, как лечить вождя народными средствами. Какой-то человек даже поспешил в столицу с настойкой трав и публично отпил глоток, чтобы чего не подумали. Наверное, так оно и было, но с каким благоговением говорится об этой противоестественной любви людей к кровавому палачу! И зал опять аплодирует...

Посмотрела я все это, не зомбировалась аплодисментами тиранам и убийцам, а еще раз поняла свою оторванность от тех, кто не желает ничего помнить и понимать.

И еще одно краткое примечание я должна сделать, потому что предвижу возможные упреки в том, что и сама я отношусь к тем «детям и внукам», которым хочется рассказать о своих кремлевских предках. В своих воспоминаниях я пишу о моем отце. Относившийся к партийной и государственной элите 20–30-х годов, занимавший ряд государственных постов, он не входил в «ближний круг» Сталина, не был его приспешником, не был членом Политбюро и даже членом ЦК не был (был кандидатом в члены ЦК и по распоряжению Сталина лишен этого поста в 37 году, незадолго до ареста). Я люблю и жалею своего расстрелянного отца, но в своих воспоминаниях сказала, что считаю его безусловно причастным к преступлениям революции и советской власти — но только в общем смысле.

2008

Ностальгия, ностальгия...

В очередной раз в поле моего внимания попали трогательные ностальгические строчки об утраченном счастье времен брежневского «застоя». Теперь чаще добром поминают уже не сталинские времена, а именно «спокойные» 70-е годы минувшего столетия, когда люди были уверены в завтрашнем дне, не боялись внезапных ночных звонков, дружно жили в коммунальных квартирах, а то и перебрались уже в отдельные — во вновь отстроенных уютных «хрущобках». Когда можно было надеяться на то, что, пробыв лет десять в очереди (только аккуратно отмечаясь в ней ежегодным обновлением документов), получишь от государства бесплатное жилье; когда, как говорили, пусть магазины пусты, а холодильники-то у всех забиты продуктами.

Нарушу идилличность этих представлений, добавлю ко всему вышеперечисленному неприятное слово «якобы». Но феномен человеческого сознания, по крайней мере в нашей благословенной стране, таков, что и сейчас, и тогда, в 70-х годах, представления людей об окружающем почему-то существенным образом отличаются от действительного состоянии окружающего.

Ясно уже, что я не разделяю ностальгии по тем временам. О них можно сказать гораздо более страшные вещи (аресты диссидентов, психушки как способ борьбы с инакомыслием и пр., и пр.), чем то, о чем хочу рассказать я. Это будет всего лишь маленькая черточка.

Защитив кандидатскую диссертацию, я работала старшим научным сотрудником Института истории АН СССР. По роду работы вообще и в связи с конкретными темами, составлявшими тогда предмет моего исследования, главным источником для меня были немецкие журналы и газеты последней трети XIX века. В Ленинской и Исторической библиотеках, в Библиотеке иностранной литературы немецких газет было не сыскать. Зато известно было, что богатейшая коллекция германской прессы хранится в Институте марксизма-ленинизма КПСС.

Я уже знакома была с этим заведением, посещала Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма (он и сейчас находится в мрачном темно-сером здании, виднеющемся позади памятника Юрию Долгорукому, только называется по-другому). Однажды, стоя в небольшой очереди в тамошний буфет, я видела там убийцу Троцкого Рамона Меркадера. Невысокий brunet стоял в очереди, беседуя с соседкой. И, может быть, не все присутствующие знали, что этот скромный человек был убийцей. По заданию НКВД он сумел проникнуть в ближайшее окружение Троцкого в Мексике и однажды, оставшись наедине с ним, подошел сзади и вонзил в его череп острие ледоруба.

Институт марксизма-ленинизма, по-видимому, вообще принимал на себя функции некоего отстойника. Вот еще пример. Сотрудником этого Института был Андрей Свердлов, сын известного большевика и соратника Ленина Я.М. Свердлова. Я хорошо знала Андрея в детстве, потому что он был близким другом моего старшего брата, расстрелянного в 1937 году. Андрей в совсем еще молодом возрасте был завербован НКВД и в страшные годы репрессий в качестве следователя вел многие дела политзаключенных, в том числе и своих товарищей, не подозревавших о его службе в «органах». После смерти Сталина быстро устро-

ился в Институт марксизма-ленинизма, где и работал до самой смерти. Он не забыл традиции сталинских времен. В 1966 году именно он написал в ЦК КПСС донос о порочности вышедшей в свет книги А.М. Некрича «1941. 22 июня», где впервые профессиональный историк попытался по-новому, следуя исторической правде, осветить историю начала Отечественной войны 1941—1945 годов. В ИМЛ было организовано обсуждение этой книги, после чего последовали санкции: автора книги исключили из партии, перестали печатать его исследовательские работы. В середине 70-х годов Некрич эмигрировал.

Но я отвлеклась. Я хочу, собственно, рассказать всего лишь о буфете и столовой Института марксизма-ленинизма. Волнующая тема.

Институт марксизма-ленинизма располагался в Сельскохозяйственном проезде, напротив Всесоюзного института кинематографии — ВГИКа, на огромной территории, окруженной бетонным забором. Пройти на территорию Института можно было только по специальному пропуску. Разрешение работать в библиотеке этого Института требовалось испрашивать у заместителя директора. В проходной охранник проверял документы и, сравнив фотографическое изображение в паспорте с лицом посетителя, звонил куда-то в недра Института и, получив разрешение, пропускал.

Я явилась к зам. директора и объяснила, почему именно в этой библиотеке мне нужно поработать..

— Ну, хорошо. А в других московских библиотеках этих материалов разве нет?

— Нет, я проверила всё.

— И сколько вам нужно времени для работы у нас?

— Месяца два-три.

— Ну, что вы! Так долго мы не можем разрешить. Уложите в две недели.

— Нет, это просто невозможно!

— Ну, хорошо. В виде исключения — месяц. Вы член КПСС?

— Нет.

— Удивительно. Вы же историк!

Укоризненно покачала головой.

Библиотека ИМЛ работала очень хорошо. К счастью, она сохранилась и поныне, когда Института марксизма-ленинизма давно уже не существует. И прежних препон в ее посещении

больше нет. Фонды богатейшие, очень удобные каталоги. Найти нужный материал было легко, и выдавали его быстро.

Поработав несколько дней в этой прекрасной библиотеке, я пришла к выводу, что Институт в лице зам. директора защищает от сомнительных посторонних посетителей не столько библиотеку или, может быть, какие-то мифические тайны партийно-государственного значения, заключенные в недрах Института, но гораздо более прозаические и важные для человека вещи — столовую и буфет.

Посидишь над пожелтевшими страницами старых газет несколько часов, и, естественно, захочется есть. Если выйти в коридор и спросить у сотрудников Института, где здесь столовая, они, скорее всего, ничего не скажут, не откроют своей тайны. Но «посторонние» посетители, которые здесь уже бывали, знали местоположение этого заманчивого места. Туда пропусков не требовали.

Входишь в большой светлый зал. Столики с чистыми скатертями, справа прилавки раздачи. К кассе вытянулась очередь,двигающаяся, впрочем, довольно быстро. Я становлюсь в эту очередь, и на меня обращаются удивленные взоры окружающих. В чем дело? Может, что-то в одежде у меня не так? Нет, все в порядке. Запасишься подносом, беру листок меню, и тут удивление на лицах окружающих сменяется холодным презрением. Читаю меню. Севрюга, судак. Свиные отбивные. Котлеты пожарские. Взбитые сливки. И цены... Цены! Они сказочно низкие! Но почему меня тут презирают? Ладно, плачу за еду по этим сказочным ценам, ем севрюгу, завершаю обед взбитыми сливками и выхожу из зала.

Слева от выхода из столовой открыта дверь, откуда выходят люди, нагруженные большими пакетами. Заглядываю туда. Это буфет! Подхожу к витрине. Мама миа, чего только тут нет! Разнообразные колбасы и сыры, пачки лучшего чая и кофе. Конфеты — такие, каких мы давно уж не видели. Ну, думаю, сейчас куплю. Устремляюсь в конец короткой очереди. И вот тут понимаю, наконец, почему меня здесь так презирают. Подходит молодая женщина и спокойно становится в очередь передо мной. Вторая, третья делают то же самое, окидывая меня убийственно пренебрежительным взглядом. И одна из них говорит: «Ну, когда же это кончится — посторонних сюда пускать? Нужно требовать, чтобы пропуска ввели».

В конце концов очередь моя подошла, и я таки купила то,

чего хотелось, — ерунду какую-то. Это были сливочные помадки — конфеты трех сортов — сливочные, розовые и шоколадные с цукатиком наверху. Когда-то эти конфеты назывались «Мальта». Но в годы высокоидейной и высоконравственной борьбы с космополитизмом и преклонением перед иностранщиной это чужеземное название убрали, и конфеты стали называться просто и по-русски — сливочные помадки. Вот такую коробочку я, помнится, и купила.

И в другие дни на протяжении месяца, отпущенного мне в виде исключения, я посещала столовую и буфет и неизменно встречала в лучшем случае удивленные, в худшем — презрительные взгляды и речи. И покупала в ихнем буфете то, чего никогда не было на прилавках наших магазинов, по ценам, которые и не снились нам вне стен этого Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Мелочи все это, конечно. Кончился месяц, кончилось посещение сказочного буфета, и никакого урона в повседневной жизни я не почувствовала. Да наплевать мне на все это было! Мы потешались над нравами ИМЛовцев, и только. Но как в капле воды отражается океан, в этом отражалась та безмерная ложь, которая окутывала нашу жизнь и делала ее какой-то фантастической. Ложь была и вокруг, ложь была и в нас самих. Потому что, понимая уже всю порочность окружающего, мы прятали кулаки в карманы и ни на какой протест не решались. Да уж ладно — протест! Мы не ужасались тому, что рядом с нами процветают убийцы и заплочных дел мастера, спокойно и безнаказанно доживающие свою преступную жизнь. Мы радовались, когда удавалось воспользоваться привилегированными кормушками тех, кто творил и поддерживал окружавшую нас ложь.

Все это происходило в середине 70-х годов прошлого века. Моей дочери было тогда лет 25-26, она кончила институт и работала школьной учительницей. Когда я спросила ее недавно, что она помнит о тех временах и как бы она определила их общий облик, она ответила мне: «Ложь. Невыносимая ложь во всем. Она отравила нашу молодость».

Почему же сейчас и те, кто находится на излете молодости, и даже те, кто времена застоя не застал, говорят о них с придыханием, вспоминая советские времена, как потерянный рай? Ностальгия? Хочу надеяться, что это ностальгия по детству и юности. Не более того.

Содержание

<i>От автора</i>	3
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ	
Детство	5
В Кремле	7
Отец	11
С любовью и жалостью... ..	17
Отец и мы	20
Большой театр	24
На даче	25
Дима Осинский	26
Московская школа	27
Прощание с отцом	31
Эпилог детства	36
Арест	38
<i>Первое отступление</i>	
О моей матери	40
После ареста	54
Тетя Галя	55
Последние дни	56
В детский дом	58
Первые месяцы	63
<i>Второе отступление</i>	
Встреча в Шуе в 1985 году	65
Детдомовские будни	71
Швейная	74
Мамины письма	77
Музыка	80
Дружба	81
Война началась	84
Памяти брата Вали Осинского	87
Ардатов	95
Снова в Москве. У Оболенских	99
В институте	105
<i>Третье отступление</i>	
Памяти Альберта Захаровича Манфреда	110
<i>Четвертое отступление</i>	
Туся Разумовская	118
Кончаю институт	138
Олег	140

Начало самостоятельной жизни	142
Западная Двина	150
Школа	153
Радости западнодвинской жизни	158
Мой милый дядя Боря	161
Реабилитация	167
РАССКАЗЫ И ЭССЕ	
Бифуркация	173
Песнь о Гайавате	176
Дети Большого Террора	181
Соленый помидор	188
Новогоднее воспоминание	190
Эрзя	194
9 мая 1945 года	200
Волк	201
Мой Чехов	205
Страх и выбор	207
Сон в ноябрьскую ночь	210
Что наша смерть... ..	213
«Ганю моя...»	217
Рассказ эстонской бабушки Аманды	225
Кремлевские отцы и кремлевские дети	231
Ностальгия, ностальгия... ..	233

Оболенская Светлана Валериановна

ДЕТИ БОЛЬШОГО ТЕРРОРА

На обложке картина *Александры Экстер*
«Цветовая конструкция», 1922

Редактор *И. Парина*
Компьютерная верстка *Т. Носовой*

Подписано в печать 15.10.2012. Формат 84х108/32
Печать офсетная. Гарнитура «NewtonС»
Усл.-печ. л. 12,6. Тираж 1000 экз. Заказ № 7006

Издательство «Аграф»
e-mail: post@agrafbooks.ru
<http://www.website.ru/agraf>
т./ф. (495) 926-25-48
т. (495) 926-25-46
т. (495) 926-25-47



9 785778 404335

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных материалов в ОАО «Первая Образцовая
типография», филиал «Дом печати – ВЯТКА».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.
Факс: (8332) 53 53 80, 62 10 36
<http://www.gipp.kirov.ru>
e-mail: order@gipp.kirov.ru



5-й класс школы № 32 им. Лепешинского.
Света Осинская в 1-м ряду третья слева.
Москва, 1936 г.



Последняя фотография с отцом.
Валдай, лето 1937 г.



После ареста родителей и брата.
С женой брата и их ребенком.
Москва, март 1938 г.



В детдоме, Света Осинская (справа)
и Вера Шерина. Шуя, 1938 г.



В детдоме с братом Валей.
1938 г.

Директор детдома
Павел Иванович Зимин



Утренняя линейка в летнем лагере.
Света Осинская (впереди) – дежурная по лагерю.
Лето 1941 г.



В летнем лагере.
Детдомовцы везут бочку
(лошадь забрали на нужды армии)



В.Оболенская (в первом ряду вторая справа) любимым классом. Западная Двина, 1960 г.



Школа на первомайской демонстрации. Западная Двина. 1955 г.



Музыкальный урок. 1957 г.



Орест Кириллович Станков с дочкой Леной. Западная Двина, 1957 г.



На Фофановом озере



С Борисом Михайловичем Смирновым (дядей Борей)



На встрече бывших детдомовцев в Шуе. 1985 г.

Слева направо: Р.С.Евсеева (Гарницкая), М.Э.Бауэр, В.И.Гнатовская (Гоминова), Р.В.Смирнов, С.В.Оболенская, В.М.Шерина



воды
Лето 1941 г.